КРАСНАЯ НОВЬ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И НАУЧНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ

ЖУРНАЛ

1926

КНИГА
ДВЕНАДЦАТАЯ
ДЕКАБРЬ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

КРАСНАЯ НОВЬ

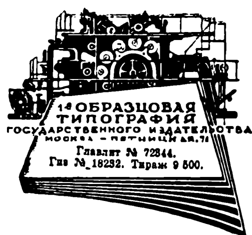
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И НАУЧНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

№ 12

ДЕКАБРЬ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА 1926 ЛЕНИНГРАД


1ª ОБРАЗЦОВАЯ
ТИПОГРАФИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЗДАТЕЛЬСТВА
МОСКВА — ПЯТНИЦКАЯ, 71
Главлит № 72344.
Гиз № 18232. Тираж 9 500.

Разин Степан.

Роман.

(Окончание).

А. Чапыгин.

XXVI. Лазунка в Москве.

IV.

В царской палате у окна в углу — узорчатая круглая печь; дальше под окнами — гладкие лавки без тюфяков на точеных ножках, у лавок спереди деревянные узоры, похожие на кружево. Потолок палаты золоченый, своды расписные узорами. На потолке писаны угодники — иные в схимах, иные с раскрытыми книгами в руках. На стенах в сумраке по тусклому золоту — темные головы львов и орлов с крыльями. Выше царского места за столом, крытым красным сукном с золоченой бахромой, образа на стене с дробницами [1]) кругом венцов в жемчугах и алмазах. От зажженных лампад пахнет деревянным маслом и гарью — из крестовой тянет ладаном: царь молится. На царском столе часы фряжские — рыцарь в серебряном шлеме в латах; часы вделаны в круглый щит с левой руки, в правой рыцарь держит копье. Тут же серебряная чернильница, песочница такая же и лебяжьи очиненные перья, да вместо колокольчика «позовного» золотой свисток. В стороне по левую руку стол дьяков, покрытый черным; над столом согнулись к бумагам: дьяк Ефим, питомец боярина Киврина, с длинной светлорусой бородой, такими же волосами, расчесанными в пробор. Кроме Ефима еще три дьяка. Дьяк думной в шапке, похожей на стрелецкую с красным верхом, верх в жемчугах, шапка опушена куницей. У думного дьяка на шее жемчужная тесьма с золотым орлом. Остальные дьяки без шапок, лишь у Ефима на шее такая же тесьма с орлом, как и у думного. На лавках ближе к царскому месту два боярина в атласных ферязях с парчевыми вошвами на рукавах узорчатых, шитых в клопец [2]). Один боярин в голубой, другой — в рудожелтой ферязи, оба в горлатных [3]) шапках, вышиной около ар-

[1]) Множество мелких иконок.

[2]) Особая вышивка узорчатая золотом.

[3]) Горлатная — из меха с горла куницы или других.

шина, шапки с плоским верхом, верх шире, низ у̂же. Ближе к царскому месту боярин, сутулый, широкий, длиннобородый с посохом, боярин Пушкин, другой новый любимец царя «новшец» — любитель иноземщины с короткой бородой и низко стриженными волосами. Полумрак палаты рассеял вошедший со свечей в руках, одетый в бархатный кафтан боярин, стольник. Он медленно, лениво и торжественно зажег на царском столе свечи — три толстых восковых, да одну приземистую, сальную. Гордо, как и вошел, не взглянув ни на кого, так же вышел. В палату слышно заглушаемое гудение причетника, да редкие приторно-вдохновенные возгласы царского духовника, без очереди взявшего сегодня службу, иначе служат очередные попы.

Боярин в голубой ферязи повернул голову к другому, согнутому с руками и бородой на посох.

— Ты, боярин Иван Петрович, остоялся бы и не сходил от дела?.. Великий государь твоей службой много доволен. — Боярин в рудожелтом молчал. — Ужли боярину прискучило ежедень видеть государевы светлые очи? — Боярин над посохом мотнул высокой шапкой, крякнул; другой не унимался. — И не возноситься бы князю Одоевскому родом? Нынче род в меньшей чести пошел, против того, как преже... я чай — выслуга да ум дале заскочат?..

Боярин закачал шапкой, отделив бороду от рук и посоха:

— Был я, Артамон Сергеич, много надобен, да вишь есть нынче те, что застят мою службу перед великим государем!..

Спешно из крестовой в палату вошел причетник, широко шагая под черной рясой пудовыми сапогами, да чтоб не стучать, норовил встать на носки, срывался, шлепал; от него пахло дегтем и винным перегаром с редькой. Причетник, багровея широким лицом, пихал за пазуху богослужебную книгу, он быстро прошел. Бояре встали. Вышел царь из крестовой с духовником, говорил шутливо:

— Уж нет ли, отец Андрей, у тебя прибавы семьи?. Охота есте воспринять твоего младенца. Да жди, — приду! К куме протопопице приду — знатно она у тебя изюмную брагу сготовляет.

— Пожалуй, великий государь, приходи! И как рады-то с протопопицей будем, несказанно рады солнышку!.. даром, что крестить стало некого, зато крестнички твои, великий государь, растут, порадуй, окинь оком?

— Твой причетник, отец Андрей, от редьки крепко запашист, духовному оно и подобает, но пошто еще дегтем? Уж придетца разоренье взять на себя — дать ему новые сапоги из хоза [1])...

— Пропойца он, великий государь, — всяк дар в кабак волокет, за голос держу — глас редкостной.

— А ты б его, Савинович, яблоки кислыми врачевал, кормил — сказывают, иным помогает?

---

[1]) Хоз — выделанная козья кожа, иногда из нее делали сафьян.

— Исполню, великий государь, — спробую!

Царь прибавил:

— Иди, отец! вишь дела ждут.

Протопоп, поклонясь низко, ушел. Царь, входя на свое место, сказал:

— Садитесь, бояре! оба вы нужные. И перво, Артамон Сергеевич, скажи-ка мне — когда пригоднее будет нам учинить воинский смотр, а пуще — ладно ли съезжаютца на Москву дворяна, жильцы и дети боярские?

— Великий государь! Окладчики доводят, что находятца в «нетях» многие дворяны новгороцкие и ярославские.

— На то, боярин, есть указ воеводам, и тот указ здесь имеется, а будем ли дополнять его, про то обсудим... Теперь же послушаю Ивана Петровича.

Пушкин встал:

— Я, великий государь, буду сказывать тоже, что ближе к делу...

— Добро нам, боярин!

— Седни, великий государь, довели мне стрельцы, а сказывали: «вот-де не по один день, ходя по утренной смене с караула, чуем мы бой с пищали, аль-бо из пистоля на устороньи стрелецкой слободы, коло анбаров купца Шорина». Дознавал я, государь, не мешкая мало, и сыскал: на пустошном месте за анбарами есть дом с виду пуст... по обыску писцовых книг ведаетца тот дом тяглой за посацкой жонкой именем Ириньицы... С видов ничего, смирна, на торги и в церковь ходит, живет с сыном... Я же свое мыслю... есаулы богоотступника вора Стеньки Разина, когда пришли на Москву бить головами тебе, государь, и мы их по твоему указу свели на земский двор и разобрали, да сослали в иные городы... мне до сей поры кажется, великий государь, что один из них или два, того не досчитался, когда вели их от караула, сошли...

— Сказывай, боярин — добро!

— Так и мыслю я, государь, про ту жонку, не становщица ли она ворам? Люди мои всю Москву перерыли — нет таких, а мне сдаетца есть! Стрельба же кому дозволена? едино лишь тобой, государь, и на воинском ученьи... в городе, в слободах никто стрелит...

— Сыскать надо про жонку, боярин!

Боярин не ответил царю. Молчал и царь. За столом дьяков встал степенный дьяк Ефим, поклонился, сказал царю:

— По памяти к моему благодетелю боярину Киврину, царство ему небесное, прошу говорить перед великим государем о той жонке!

Царь махнул рукой:

— Дьяче! сядь, жди поры.

Дьяк сел и взялся за бумаги.

Пушкин снова заговорил:

— Еще, великий государь, не дале как за вчера поутру пришел в разбойной ко мне казак, назвался Шпынь, а сказывал: «Я-де из-под

Астрахани»; подал тот казак мне цедулу малую от воровского есаула Васьки Уса: «что-де молю великого государя ему, Ваське, и тому казаку Шпыню прежние разбойные дела спустить и место дать в войске донском служить головой государю, а за то-де вора Стеньку Разина я изведу!».

— С собой, боярин, та воровская цедула?

— Нет, великий государь! казак имал ту цедулу со стола и подрал, а когда я к нему с гневом обратился он ответил: «Я ничего не боюсь! — то, что довел, знай, иного не проси, если хочешь, чтоб мы с Васькой послужили государю», и ушел... Я же про Ваську Уса, государь, казаков опрашивал, да в посольском приказе нашел грамоту старую, то правда, досюльную — в ней же указано, что Васька Ус своровал против старшины войсковой и государя — «шел-де на государеву службу, да деревни и села в пути зорил»... Когда тот казак Шпынь подрал цедулу, тут мне, государь, сумнительно стало и довожу тебе, чтоб знать, как быть с казаком?

— Время тяжелое, боярин! Кто против вора Стеньки Разина теперь объявитца, всякого лаской брать — казак ли, есаул ли или татарин ли, черемисин... И ты того казака Шпыня вели поставить на двор и корм чтоб ему дали, и коню против того, какой даетца донским станишным людям... О службе того Васьки подумаем со многими бояры особо...

— Будет все то справно, по слову твоему, государь!

— Еще бояре — советовал я ныне со святейшим патриархом, и святейший отец наш указал, «что время то, когда надо предать богоотступника Стеньку Разина анафеме»! Как вы думаете о том?

— Что постановлено, великий государь, тобой и святейшим патриархом, по-иному и быть не может...

— Святейший патриарх указывал мне: «собрать бы де иных мудрых людей и опросить».

— Дело это, великий государь, устрашенное для черни, а потому мыслю я: Артамон Сергеевич — боярин книгочей... и что по тому делу в книгах указано и как то у иноземцов бывает, ему ведомо...

— А, ну же, Артамон Сергеевич! правду Иван Петрович указывает...

— Государь! Коли-ко позволено сказать мне, то читал я книги многие о народах, верах, обычаях их и расспрашивал коих иноземцов и не нашел нигде сугубее устрашения, как у персов...

— Они же бусурмане, боярин! Какая же анафема у бусурман?

— А вот, великий государь, — на празднике Байрам Ошур или «День убиения пророка», «День мухаррема» и еще как? — при многом стечении народа персы везут на коне одетого болвана с луком, саадаком и стрелами — и тому болвану всяк плюет и заушает его... Потом же, после многих заушаний болвану, везут подобие убийцы пророка в поле, сжигают всенародно; — уж не подобно ли сие анафеме?

— Подобно, боярин Артамон, но это есть лицедейство? Патриарх же претит такое.

— И патриарх, великий государь, узрит в болване образину проклятого, попираемого попами...

— Духовенством, Артамон Сергеевич! и думаю я — скаска твоя о болване не лишня будет? Что ты скажешь, Иван Петрович?

— С болваном анафема, великий государь, черному народу устрашеннее...

— И, так! да создадим болвана, одетого бунтовщиком. Тебя же, Артамон Сергеевич, спрошу, когда созовешь меня с царевнами на свои лицедейные потехи?

— В скорости, великий государь! в селе Коломенском строят того для палатку и устроюют не мешкотно...

— Сядьте, бояре! ты, Иван Петрович, и ты, боярин Артамон, да послушаем, что доведет нам дьяк о воровской жонке.

Дьяк Еф м встал:

— Великий государь! Благодетель мой, Пафнутий Васильевич боярин Киврин, сказывал мне про тое жонку Ириньицу и было то в памятной день его смерти, когда шел он, великий государь, стоять с правдой противу покойного Квашнина, Ивана...

— Ой, старину вздымаешь, дьяче!

— А тако говорил благодетель мой: «иди, Еф м, в стрелецкую к жонке, зовомой Ириньица — ту, на пожаре ще вросл҃ой дом, и сыщи — не стоят ли у ее кои воровские люди? и нет ли корней с теми ворами, что седни взяты на пустом немецком дворе в слободе за Никитскими вороты?». И я, великий государь, в горе да хлопотах о панафидной памяти Пафнутию Васильевичу, то дело забыл и воли его не исполнил... Всякую же просьбу благодетеля моего я, государь, исполнял необлыжно и немешкотно... повели, великий государь, нынче мне исполнить волю покойного боярина! Многажды с укором и помаванием главы видался он в снах мне и не ведал я, чем согрешил? а ныне знаю все! я сыщу про жонку и кому укажешь, государь, дам о сыске том полную скаску...

— Не поздно ли оное, дьяче? Я тут не мешаюсь, а вот, что заговорит боярин Иван Петрович, на том и дело станет.

Пушкин, не вставая, сказал:

— Великий государь! Моего запрету к сыску дьяком Ефимом Богдановым, сыном Кивриным, нет, дело с жонкой недознанное — стрелы быть могут пьяными рейтарами, аль-бо драгунами, благо место пустошное. Пущай дьяк возьмет городовых стрельцов, да сыщет — бумагу на подъем стрельцов дам... Дьяк же поруху свою покроет, а память боярина Пафнутия Киврина стоюща: много любил старик государя и Русию. Да заедино к слову — спусти меня, великий государь, от разбойного дела — ищет таковое место князь Одоевской, да и Ромодановской туда ж глядит!

— Нет, боярин! пожди с уходом... Одоевскому князю приберетца свое дело... Время нынче нужное, не то время, чтоб воевод из приказов снимать.

Боярин встал, упрямо тыча головой в высокой, тупой шапке, кланялся много и твердил:

— Не гневись, государь! спусти холопа своего — спусти, государь!

— Пора мне, бояре! идите со мной откушать... и ты, дьяк думной, с нами будь! Да вот оповестите иных ближних бояр, думных — много еще дел воинских, обо всем говорить надо.

Царь, подбирая полы своего пространного парчевого наряда, медленно стал выходить из-за стола.

Лазунка перешел Москворецкий мост.

— В кремль — на Иванову? там народ гудит обо всем.

Оглянулся боярский сын, увидал знакомую баню — сруб еще более покосился, окна, заткнутые вениками, почти сравнялись с землей — «здесь меня батько Степан боем сабли встретил, теперь же иное... соскучал поди обо мне? За лиходельницу бабу заступился тогда и в пяту пошел»...

За баней недалеко по берегу — кабак. Люди из бани с вениками под пазухой мимоходом сворачивали в кабак, и те, которые шли за мост в слободы, тоже не миновали кабака.

— А тот кабак чем плоше Ивановой? В ем узнаю то, что надо мне и атаману.

Одетый у Ириньицы посадским, в полукафтанье сером и фартуке, Лазунка походил на мелкого торгаша.

Было хотя рано, только день без солнца хмурый, а потому на стойке большого кабацкого помещения горели свечи. Иное сам целовальник не любил сумрака. Боясь просчета, близорукий, он, давая сдачу, долго около огня свечи крутил и мял в руках монету.

— Ты-ба ее кусом?

— Запри гортань, советчик! чай, ведаешь, что всяк прощет целовальнику у приказа «Большой казны» батогами в спину дуют?..

— Тебе ни што... черева отрастил и мяса много, да и как не прощитаться, когда в свой прируб напихал баб?..

— Ты кто будешь? — голова кабацкой, што ли? Да и тот про меня слова худа не кинет!

— Я питух... я говорю тебе, едино чтоб язык мять...

— Так не кукарекай — петух ли, кочет, чорт те в глотку скочит! Два алтына! Два, два давай, бес!

— На, возьми! ишь какой норовистой...

Лазунка, усевшись за питейный стол, оглядывался любопытно — давно не был в Москве, народ ему казался новым.

В чистой половине кабака в прирубе широко распахнуты двери, — там около топившейся печи с черным устьем сидели на шестке и скамьях кабацкие жонки — те, что помоложе и чище одетые. Горожанки, зайдя в кабак искать мужей, шли туда же; найдя в кабаке мужей, брали от них хмельное, несли в прируб, пили. Кабацкие гадали горожанкам по линиям рук, иные на картах. Пели песни. Лазунку попросили двинуться на скамье — за длинным столом делалось тесно, и древние скамьи трещали

от вновь прибывающих питухов. На столе от разлитых питей становилось мокро.

За спиной Лазунки кто-то тоненько звонко голосил:

— Эх, браты! винопийцы! и места за столом Ершу нету.

— Сыщем место, Ершович Ерш! пожмись, народ! Ерш дьяком не был, а из подьячих выгнали — дай место хоть в кабаке...

На скамье за столом против Лазунки питухи с красными лицами двинулись плотнее, — за стол сел человек с быстрыми, вороватыми глазами, с усами, как живые тараканы шевелящимися. На голове Ерша клочья русых волос.

— А, ну, виночерпий, дай-кось нам пенного кукшинчик малой!

Служка кабацкий, получив деньги, принес вино.

— Где, Ерш, плавал, каких щук глядел?

— Ох, браты! Изопью вот, а сказывать зачну, без перебою чтоб — хто видал, и тому хто не был вчерась в кремле...

— Не всем досуг быть!

— Иным быть боязно — на Ивановской крепко бьют!

— Боязно тому, кто казну крал...

— Ну, слушьте! На постельном вишь крыльце государевом кричали, что атаман-от Стенька Разин богоотступник... и седни попы будут говорить ему анафему.

— Ой, ты?

— Чул!.. А еще чул, как зазывали бояр, князей, биться с Разиным — иттить на Волгу!

— Эй, не любят дворяны на войну быть!

— Угрозно им теперь говорено! Дьяк читал: «Идите-де сражаться за великого государя и за домы своя; а те дворяны, кои-де не поедут в бой, да учнут сидеть в домах и жить в поместях, то у тех «нетчиков» вотчины отбирать, отписывать тем челобитчикам, кто будет стоять на войне противу воров!».

— Эй, кто ходил на смотры? Седни государь на Девичем поле войска глядит!

— Чего туда ходить? близ не пущают — да сегодня не дворяны, князи — все рейтары, да люди даточны [1])...

В кабаке от боя из пушек затряслись полки, зазвенела кабацкая посуда.

— Вишь вот! Пойдем, робята?

— То на Девичем пушки бьют!

Иные ушли из кабака, только за столом питухи не тронулись.

— Поспеем!

В углу кабака за бочками стоял хмельной, высокий человек в монашеском платье в мирской валеной шляпе. Отдирая непослушные руки от винной посуды, забасил:

---

[1]) Даточные — ратники.

— Братие! битием и ранами, не благодатию христовой увещевают никонияны народ! Русь древнюю, православную-у, попирают рылами свиными... Оле! будет время в куцое кукуево рухло загонят верующих — тьфу им!

Целовальник крикнул:

— Ярыга! беса гони, пущай замест кабака на улице блудословит.

— Умолкаю аз!

Высокий, шатаясь, вышел из-за бочек, шагал к дверям. У порога сорвал с головы широким размахом руки шляпу, крикнул, переходя с баса на октаву:

— Братие-е! Кто за отца нашего Аввакума протопопа, тот раб христов; иные же — работающие сатане никонияны-ы! — и вышел на улицу.

— Штоб-те завалило гортань, бес! — крикнул целовальник.

Лазунка, не спеша, тянул свой мед, разглядывая баб. В прирубе кабатчика становилось все шумнее. Бабы не гадали больше, а говорили, пели и спорили. Одна унылым голосом пела свадебную песню:

К нам-то в дом молодую ведут.
К нам-то в клеть коробейки несут!

Хлестала в ладоши, заплетаясь языком, частила, мотая головой в грязной кумачевой кике:

Кони-то накормленные,
Сундуки железом кованые,
Замки жестяные,
Ключи золотые!
Чулки бумажные,
Башмаки сафьянные!

Другая маленькая, сухонькая и столь же пьяная, как поющая, рассказывала толстой и рослой мещанке с кувшином в руках:

— И поверь, голубушка, луковка моя! как запоезжали мы с невестой...

— С невестой? хорошо!.. с невестой.

— Ужо, луковка! а были мы в сватьях, а подобрано нас две сватьюшки, луковка, и к нам пришла в клеть сама колдовка.

— Бабы! пасись о колдунах сказать... — крикнул целовальник.

С окрика баба понизила голос:

— Так вот, луковка! завела она в клеть... пришла да велела сунуться нам в растяжку на пол — в углу же свечу прилепила, зажгла, а образа и нету... суморочно в клети, у ей же, луковка, колдовки, топор в руках...

— Бабы! сказываю — чтите у печи — грамота есть! — повторил свой окрик целовальник.

— Едино что не лги — пей вот!..

Лазунка давно собрался уходить, он подошел только еще послушать баб, встал у дверей и боком, прислонясь, заглядывал в прируб. Целовальник, выходя, ткнулся в Лазунку, закричал, тараща блеклые глаза с красными веками, тряся козлиной бородой:

— Нехрещеная, черная рожа! Чего-те надо тут, шиш? вор, разбойник экой!

Лазунка решил нигде не ввязываться в ссору, — ничего не ответив, отошел. Питухи теснились вон из кабака. По мосту шли попы с крестом, образами, ехал царь впереди войска, кончившего воинский строй на Девичем поле.

Боярский сын пролез на улицу, встал у угла кабака. Попы шли мимо. За попами в светлых ризах шел хор певчих. За певчими, в сиреневых подрясниках, шли два рослых боярских сына в панцырях и бумажных [1]) шапках. Они били в литавры, повешенные на ремнях с боку, литавры в бахроме, кистях и позвонках. За литаврщиками ехал дебелый царь в ездовой чуге червчатого бархата, нашивки на рукавах, полах и подоле чуги — канитель [2]) из тянутого золота. Кушак золотой, на кушаке нож в кривых серебряных ножнах с цветами из драгоценных камней. На царе шапка стрелецкого покроя — шлык из соболиных черев. За царем справа и слева по чину ехали два воеводы, главный, князь Юрий Долгорукий, и помощник его по левую руку царя, князь Щербатов. Оба седые, в синих тяжеловесных коцах [3]), застегнутых на правом плече аламами. Позади воевод выборные, конные жильцы в красных скорлатных кафтанах с воротниками за спиной в виде крыльев. За жильцами на белых лошадях двигался стремянной стрелецкий полк в малиновых кафтанах, в желтых сапогах с перевязями на груди крест-на-крест. К седлам стрельцов приторочены ружья, сбоку сабли, а с другого саадаки с луком и стрелами, шапки рысьи — шлыки шапок загнуты на бок. За стремянным полком выборные из детей боярских, рейтары в латах, бехтерцах и шишаках. За рейтарами драгуны, так же вооруженные, как рейтары, шпагами, мушкетами, только у драгунов были пики и топоры у седел. За драгунами на разномастных лошадях ехали даточные люди — солдаты из городов и волостей: каждый с саблей и парой пистолетов у седла, с карабином. Сзади даточных конных шли пешие даточные люди в сермягах, однорядках и лаптях, кто с пищалью, иной с рогатиной, с топором, луком и стрелами. Сзади войск везли артиллерию — десять медных пушек и три железных. Станки к пушкам тащились сзади на отдельных, больших телегах. Пушкари в синих кафтанах шли пешие за подводами. Всю артиллерию провожал бородатый, тучный пушкарский голова в синем кафтане с серебряными боярскими нашивками поперек груди, с золочеными каптургами [4]) по кушаку — на нем

---

[1]) Шапка бумажная — стеганая, сверху прикреплялись металлические пластинки.

[2]) Канитель — особого рисунка вышивка.

[3]) Коц — плащ старинный.

[4]) Каптурга — украшение в виде подвесков.

лихо сидела бобровая шапка: ехал голова на вороном коне. Артиллерия у моста задержалась, поджидая телеги со станками. Лазунка с толпой пробрался до моста, а к мосту, где остановился голова, подъехал на коротконогом плотном бахмате рыжем полковой подьячий в таком же рыжем, как его конь коротком куяке [1]) с карабином у седла. Он крикнул голове, подъезжая:

— Чуй-ко, пушкарской вож!

— Чего надо?

— Учини леготу? мало время, чтоб ехать к вам в приказ!

— Какая та легота?

— Свези наказ — сдай дьякам!

— А ты мне его ту чти! с иным наказом улипнешь! знаю.

— Дело видимое — хорошее...

— Чти! так не приму.

Подьячий снял бумажную шапку, вынул из нее лист, держа шапку в одной руке, лист в другой, читал:

— «Принять в пушкарском приказе наряд и к тому наряду зелье и свинец, и ядра, и всякие пушечные запасы, и пушкарей».

Голова спросил:

— Роспись есть?

— А вот! — «Под сим наказом роспись, а подводы взять у дьяка Григорья Волкова».

— Дьяка знаю.

— «Дьяк знает, с каких ямских дворов подводы брать, а класть на всякую подводу по пятнадцети пуд»!

— И не ладно в пути брать листы, да давай! дело это к нам идет...

— Вот-те благодарствую много!

Подьячий, передав голове наказ, надел свою в круглых блестках шапку, поехал за Москворецкий мост.

Горожане спешили в кремль. Лазунка услыхал:

— Анафема зачнется — Разину!

Боярский сын стал пробираться обратно.

Вечерело. В кремле зазвонили; народ все гуще шел в кремль. В кремле, у соборов, по рундукам от царских теремов покрыто красным сукном — по площади чавкала и липла к ногам грязь. У всех приказов было пусто, только у Разбойного били на козлах двух татей [2]), — да у приказа Большой казны стояли гуськом четверо кабацких целовальников и поочереди спускали штаны, их били плетьми стоя. Подьячий, заменяя дьяка, считал удары, он же вычитывал преступления. На козлах палача лежали книги «отчетные по напойной казне». Палач в полукафтаньи плисовом последний раз ударил заднего в ряду целовальника.

---

[1]) Куяк — металлические бляхи по кафтану. Сл. татарское.

[2]) Воров.

— Эх, бородатые! задали мне урочную работу... глянь уж все палачи домой сошли...

Целовальники, подтягивая штаны, забрав книги, шатаясь, уходили на Красную площадь; один сказал:

— В полу напойных денег не достало, да голова виновен, а дьяки верят голове, не нам!

— Меня тоже били ни за что — молчу!

Третий проговорил:

— Знать буду Иванову — первый раз секся!

Четвертый, последний, ежась, прибавил:

— Не хвались! в нашем деле сдерут шкуру зря — воевода разогнал народ поборами, а где их питухов набратца? — вот и недочет на кабаке!

Лазунка пропустил битых кабатчиков, прошел к соборам. По рундуку к Успенскому шел древний боярин. Бирюч с литаврой, озираясь кругом, сдерживал шаги, чтоб не наступить на ноги старику. Боярин остановился, сказал:

— Поведай народу!

Бирюч забил в литавру. Когда прекратился трескучий звон, выкрикнул:

— Люди православные! в соборе Успения сегодня предадут анафеме богоотступника Стеньку Разина, вора-грабителя; да указует великий государь вам, весь народ — иттить и на рундуки не ступать замаранными улядями и тож сапогами! да указал великий государь холопям конным, боярским и княжецким, чтоб отъехали чинно за Иванову колокольню и там стояли, пока не истечет время службы, и не чинили народу озорства и не кричали матерне! Кто же ослушник воли великого государя Алексея Михайловича скажется, того будут бить кнутом нещадно против того, как бьют воров!

Бирюч с боярином ушли в собор, вскоре вышел из теремных палат царь с боярами. Лазунка перелез рундук, пробравшись на паперть Успенского собора, затерся в толпу нищих и всяких людей, прижатых боярами, детьми боярскими, головами и подьячими в темный угол. За царем и боярщиной стали пускать в собор иных людей. Староста церковный не пускал народ без разбора, но в собор прошел любимец царя боярин Матвеев, строго сказал старосте:

— Поди прочь! народ черный пусть видит и слышит...

Лазунка, отжимая крепкими локтями толпу направо и налево, пролез до половины собора, хмурого, с ликами угодников на стенах и сводах. В соборе от густой толпы стоял пар, мешаясь с дымом ладана. Свечи едва мерцали там и тут, лишь в алтаре толстые свечи у креста сыпали огни, широко отсвечивая в золоте и серебре паникадил, крестов и риз. Царские врата собора затворились. Служба притихла; лишь причетник читал псалмы, и голос его тонул в сумраке, вздохах, молитвах, с жужжанием произносимых теми, кто не ждал, а молился. Кто-то прошептал близ Лазунки:

— Переодеваютца!

Царь стоял на возвышении царского места в стороне к правому приделу; ниже царского места, но выше толпы стояли бояре и князья.

Из алтаря, с той и другой стороны, стали выходить попы, одетые в черное со свечами в руках — за ними выдвинулся хор монахов в черном, в черных колпаках. На попах были черные камилавки. Народ отодвинули к входу и на стороны, посреди собора попы встали, образуя круг. Лазунка не видал, откуда появился в самой средине болван, одетый в казацкое платье с саблей, сделанной из дерева, раскрашенной. Лицо болвана намалевано, усатое и безбородое, ничуть не похожее на атамана. Один из попов прочел громко псалом — все попы опустили свечи огнями вниз, закапал воск — хор монахов запел мрачно и протяжно:

— «Донскому казаку богоотступнику, вору Стеньке Разину-у...»

— Ана-фе-ма!.. громко в один голос сказали попы.

Царские врата растворились, из них вышел архиерей в черном, с черным жезлом, в черной камилавке. Медленно и торжественно прошел в круг попов и хора — все расступились. Архиерей ткнул концом жезла чучелу-Разина в грудь и крикнул на всю церковь:

— Вор Разин Стенька проклят!

— Анафема! Анафема! Анафема! — три раза повторил хор.

— Отныне и во веки веков — вор Разин Стенька проклят!

— Анафема! Анафема! — повторил хор.

Епископ снова ударил чучелу в грудь жезлом.

— Вор, богоотступник Разин Стенька проклят! анафема!

— Анафема!.. — мрачно запел хор.

Архиерей ударил жезлом подобие Разина третий раз и с отзвуком под сводами собора выкрикнул:

— Сгинь, окаянный богоотступник, еретик, вор Стенька Разин — анафема!

Хор запел:

— «Днесь Иуда оставляет учителя и приемлет диавола!»

Попы и хор повлекли чучелу Разина на Иванову, — там уж горел огонь за рундуками — в сторону Ивановой колокольни. Волосатый палач в красной рубахе поднял чучело над головой и бросил в огонь.

Колокола звонили протяжно, в сумраке видно было толпу бояр, идущую с царем по рундукам из собора. Лазунка, пробираясь к ночлегу, слышал в разных местах возгласы:

— Проклят?

— Отрешен от церкви Разин!

— Всего хрестьянства отрешен!

— Уй! не приведи бог до того-о!

— Страшно сие, братие!..

Лазунка не стал ни пить, ни есть. Ириньица лежала на своей постели бледная и слабая. Сын был в соборе, хотя и не видал Лазунки. Сын, не

знaя ничего, рассказывал матери, называя Разина вором и бунтовщиком, говорил, как жгли болвана, как проклинали богоотступника. Ириньица плакала, но сыну не сказала правды. Сын Ириньицы ушел. Лазунка сидел у стола, повесив голову.

— Чуй, голубь! Худо, как народ кинет Степанушку, от анафемы он кинет, побоитца попов... И знаешь ли старой мой дедко Григорей не раз про то сказывал ему...

— Народ кинет — ништо, хозяйка! Худо, как Яйк, да донские казаки учуют попов и отложатся разинцев...

— Худо, голубь!

— Покуда поповской рык дойдет до Яйка и Дона — мы с атаманом на Москву придем!

— О, дай-то бог! салдат, вишь, у царя много копитца и немчины строю, да бою ратному ежедень, Васютка сказывал, учат...

— Видал я!

— Вот я опять грозу на милова чуя, прахотная стала и ноги не идут... Ты испей чего хмельного, коли же не хощца еды.

— Мало время, хозяйка! чую я, кто-то незнаемой лезет сюда.

— А ты в ту горницу, голубь!

Боярский сын быстро шагнул за печь и исчез в подземной горнице, где негасимая лампада ровно лила желтый свет; при свете том Лазунка поднял дверь на место, с лестницы не уходил, лишь сел на ступени, разулся и стал слушать, что будет вверху.

— Ну-ка, детина, веди! — заговорил в подземных сенях чужой властный голос.

— Жди, дьяче, мало... матка недужит и часто спит — я ее взбужу!

— Эх, вишь не один я! — веди... тихо буду, не напужаю...

— Ну, ин добро! гнись ниже...

— Живут крещеные замест покоев в яме — порубе...

Ириньица дремала, когда грузный сел за столом, против нее. Сын сказал:

— Мама, тут дьяк со стрельцы! Очкнись...

Ириньица вздрогнула и медленно повернула голову с испуганными глазами. Дьяк — в черном кафтане с жемчужной широкой перевязкой в виде ожерелья, по груди вниз висел золотой орел с раздвинутыми на стороны лапами; в руках дьяка посох; шапка бобровая с высоким шлыком. Дьяк сказал юноше:

— Подит-ко, парень, к стрельцам на двор, заведи их в сени, ежели сыщешь что хмельное в дому — дай им, пущай пьют, нам помехи чинить не будут, да и ночь надвигаетца... А мы ту с Ириньицей побеседуем.

Юноша, уходя, спросил:

— Ты, дьяче, лиха какого не учинишь? мама болящая...

— Не учиню, детина, поди справь, как указано! Стрельцам не кидай слов, что есть в дому. Отмалчивайся...

— Ладно! — юноша ушел.

Дьяк снял шапку, поставил на стол, задул одну из ближних свечей в трехсвещнике, чтоб не резала глаза. Разгладил длинные волосы, начавшие на концах седеть, сказал:

— Ты, Ириньица, не сумнись! чуешь ли меня?

— Чую, дьяче.

— Ты меня узнаешь, ай нет? Я тогда в пытошной спас тебя от боярина Киврина, от сыска дьяка судного приказу тож оборонил... и нынче упросил государя придти к тебе замест других дьяков с сыском!

— Ой, дьяче! чего искать у хворобой жонки?..

— Искать место корыстным людям найдетца! Дошли, вишь, слухи, что у тебя скрыты люди Стеньки Разина — так ты тем людям закажи к себе ходить... Я обыщу и отписку дам, что-де ничего не нашли, но ежели моей отписке не поверят, и сыск у тебя иные поведут, не замарайся... нынче время тяжелое. В кайдалах сидеть скованой, да битой быть мало корысти...

— Ой, дьяче! спасибо тебе.

— Спасибо тут давать не за что... Сама знаешь, ай може и нет — полюбил я тебя тогда... давно, ты же иным была занята. А как покойной боярин груди тебе спалил... и стала ты мне много жалостна, по сие время жалостна. Я же к боярину за добро его и науку память хорошую чту, и ты его за зло не проклинай, а молись!..

— Не проклинаю я, дьяче Ефим... не ведаю, как по изодчеству?

— Пафнутьич! Бояре меня кличут Богданыч — бог-де дал... Бояр я не люблю.

— Ой, ты! а коло царя сидишь?

— Сижу, да с опасом гляжу! дьяков не мало от царя бояра взяли, угнали — кого на Бело-озеро, кого в Сибирь... кого под кнут... сунули.

— Царь-от-государь не даст тебя в обиду!

— То иное дело? Налягут бояра, — что дьяк, патриарху худо бывает, гляди Никон, уж на что царский дружок был — угнали на Белоозеро, а слух есть еще дальше угонят... Бояра чтут своих, от своя — мы из народа им враги завсе... Меня бояра не любят, что я прижитой от дворовой девки; едино — лишь к памяти моего благодетеля Пафнутия Васильевича приклонны, так до поры терпят... И дело кое нынче Стенька Разин завел... — Дьяк помолчал, заговорил тихо: — Мне угодно... иной бы, зная, что сын твой от Разина прижитой, обнес тебя, потому воровских детей всех изводом берут... Да бояра того не ведают, я же греха на душу не возьму! Ненадобен будет тебе парнишка, дай мне его... обучу, на боярскую шею грозу от него сделаю... Добра-богатства на мою жисть хватит; семья моя — я, да жена, а парень твой не помеха.

— Ой, ты, дьяче — спасибо! О сыне — уж думаю денно и нощно, прахотная я... и ежели помру, куда детина малой на ветер пойдет?.. и все-то сумнюсь об ем!..

— Дай его мне? едино лишь добро будет.

— Коли ты, дьяче, за ним по смерти моей — приглядишь, да поучишь — мое тебе вечное благодарение, а пока жива, буду молить бога за того боярина, который груди мне выжег...

— То надо, — молись! Сына твоего не оставлю — грамоте и воинскому делу обучу, усыновлю, а то как меня бояра выбледком считают, так и его будут — и таким нигде места нету...

— Уж и не знаю, как тебе сказать благодарствую! Он же, Васютка, у меня не голой — есть ему рухледь и узорочье многое — есть!

— У меня своего довольно.

— Как ты думаешь, дьяче, придет на Москву Разин?

— Народ ждет и не один черной народ, посацкие, купцы и попы мелкие — все ждут. Только Разину на Москве не бывать! Не бывать, потому что с кем он идет на боярство? С мужиками, у мужика и орудья всего — кулак, вилы да коса... У царя, бояр запасов боевых много; а пуще иноземцов много с выучкой заморской, и все они на особом государевом корму, знают же они только войну, то и делают, что во всяких государствах на войну итти нанимаются... — Дьяк надел шапку, встал: — Теперь, Ириньица, не пугайся! придут стрельцы — зачнем делать обыск.

Дьяк, постучав в двери посохом, громко крикнул:

— Эй, стрельцы!

Дверка распахнулась, в горенку Ириньицы полезли синие кафтаны, засерели стрелецкие шапки, сверкнули бердыши.

Дьяк изменил голос, приосанился, сказал стрельцам:

— Оглядывайте жило, государевы люди! — Бабу допросил.

Один из стрельцов сказал:

— Парнишку, дьяче, позвать, чтоб не сбег?

— Кличьте! Пущай будет за караулом в горенке.

Другой стрелец заступился:

— Он, дьяче, смелой — не побегет!

Дьяк ответил:

— По закону должен парень быть тут!

Юношу зазвали; он сел на лавку, два стрельца сели с ним рядом. Еще трое начали обыск.

Ириньица сказала:

— Там, дьяче, шкап большой у окошек, так тот шкап отворите, запону отдерните, за ней прируб — ищите! Никого нету у меня и запретного я не держу.

В горенке пахло хмельным, табаком и дегтем. Долго длился обыск; дьяк, наконец, со стрельцами вышел из прируба. В передней горнице сняли образа с божницы, оглядели, ошарили под лавками.

— Никого и ничего! — сказали стрельцы, которые ходили с дьяком.

Дьяк, садясь к столу, развернул лист, писал из чернильницы, висевшей под кафтаном на ремне; спросил, не глядя на Ириньицу:

— Ям каких тайных, баба, у тебя в дому нет ли?

— Есть, голубь, яма, погреб — там, в сенях.

— Стрельцы! обыщите тот погреб.

— Мы, дьяче, погреб давно обыскали, уж ты не сердись — хмельное было кое испили. Хошь и тебе найдетца?

— Не хочу! пейте мою долю.

Дьяк, исписав лист, спросил:

— Кой от вас, робята, грамотен?

— Трое есть — Гришка, Кузька, Иван Козырев тоже!

— Приложите к листу руки да пойдем! время поздает.

Стрельцы подписались — ушли.

Дьяк Ефим, уходя, погладил рукой по волосам Ириньицу, сказал:

— Помни, Ириньица, парня обучу. Когда надо будет, дай весть о том... да вот... лихим людям закажи ходить! Сказываю, могут еще прийти искать.

Он покрестился, сняв шапку, и, взяв посох, ушел, провожаемый сыном Ириньицы. В сенях матерились стрельцы, ища выхода. Юноша со свечей в руке вывел их за амбары; шаря в сенях, в темноте стрельцы забрали два боченка с брагой, унесли.

— Все ж, браты, не зря труд приняли! — сказал кто-то.

Другой голос сзади ответил, болтая в боченке хмельное:

— Кабы чаще так! Худа нет в дому, а браги много.

— Парнишка у бабы хорош!

— Гришка летник кармазинной упер, браты!..

— Тише! — дьяк учует.

— Ушел дьяк!

— Летник взял, зато пил мало!

— А, ну, молчите, иные тож брали.

Голоса и люди утонули в черноте слободских улиц. Сын Ириньицы долго прислушивался к шагам стрельцов, вернулся. Войдя в горницу, подошел за печь, крикнул:

— Ушли! Выходи, гостюшко!

Лазунка вышел, одетый в дорогу.

Ириньица сказала слабым голосом:

— Ночью, я чай, не придут... Ночуй, голубь — и сторожа, гляди, уловят, решетки заперты.

— Москва меня замками железными не удержит, не то воротами! Спасибо, хозяйка, пожил. Сказывай поклон Тимофеичу.

Ириньица, не меняя положения, заплакала, сквозь слезы ответив:

— Соколу, мой гостюшко, снеси слова: «люблю до смерти». И пошто не кушав идешь? Отощаешь в пути...

— Москвой сыт! Прощай.

— Гостй, ежели будешь!

Сын Ириньицы проводил Лазунку до амбаров; они обнялись.

— Учись рубить, стрелять, будь в батька — люби волю!

Боярский сын быстро исчез.

Юноша думал:

«Кто ж такой мой отец? Так и не довел того».

Ходя по Москве, Лазунка узнал, что решетки в Немецкой слободе не запирают. Пьяные немчины военные не раз били сторожей. Царь приказал «не стеснять иноземцев», сторожа перестали ходить к воротам. Лазунка прошел в Слободу. У ворот с открытой, из долевых и поперечных брусьев, калиткой, в свете огней из окон опрятного немецкого домика, где шла пирушка, звучали непонятные песни под визг ручного органа. Боярский сын встретил казака; казак, увидав идущего, ждал, не проходя ворот.

Лазунка было-обрадовался своему, но, разглядев упрямое лицо со шрамом на лбу, признал Шпыня и насторожился: «На Москву батько его не посылал». Боярский сын, дойдя ворот, тоже не полез в калитку.

Шпынь, не умевший таить злобу, крикнул:

— А ну-ка, вор, шагай!

— Чего попрекаешь? И ты таков! — Чувствуя опасность, Лазунка всегда старался быть особенно спокойным.

Шпынь, которого кормили, поили водкой от царя на постоялом, решил больше не показываться Разину:

— Я — государев слуга!

«Смел, ядрен — да худче ему — упрям», — думал Лазунка, мысленно ощупывая под рукой пистолет.

— С ких пор царев? Прош!

— Тебе в том мало дела!

— Лезь первой! Ты нашему делу вор!

— Гей, стрельцы! Разин...

— Сшибся, чорт!.. — Лазунка быстро шагнул к Шпыню.

Бухнуло — Шпынь упал, не успев выдернуть клинка, мотался на черной земле. Звенело в ушах, усы трещали от огня пистолета, изо рта текло. Казак одеревенело цеплялся руками за брусья калитки; пока жило сознание, в голове стучало: «Не бит! Бит...». С окровавленным, черным от мрака лицом, Шпынь откинулся навзничь в грязь. Правая рука не выпускала сабли, левая тянулась к калитке.

Исчезая в ночи, Лазунка, щупая на ходу пистолет, думал:

«Сплошал. Мелок пал в руку пистоль — изживет поди сволочь!»

Возвращаться к Шпыню было некогда: из веселого домика вышли под руку высокий военный в мутно-желтеющем шишаке, с боку сверкали ножны шпаги, на черном мундире желтели пуговицы. В пятнах огней из окон женщина казалась пестро одетой. Обходя Шпыня, крикнула:

— Ach, mein Gott!.. Was ist das? [1].

— Nichts Schreckliches, liebes Fräulein! Der Dragoner hat sich seine Fratze verdorben... der Besoffene... Die Russen sind anders als wir... sie sind feig... und flüchten sich vor dem Krieg in die Wälder, oder wälzen sich trunken und ziehen Hiebe und Kerker dem Kriege [2].

---

[1]) — Ах, мой бог!.. Что это?

[2]) — Ничего ужасного, дорогая фрейлейн! Драгун испортил рожу, пьяный. Русские — не то, что мы: они трусы и от войны бегут в леса или валяются хмельные, ждут побоев и тюрьмы, чтобы не итти в поход.

— Er hat, Kapitän, einen Säbel in der Hand? [1])

— Auch das ist erklärlich! Die Russen, wenn besoffen, sehen neckende Teufel um sich springen... verfolgen die Teufel, und wenn der besoffen Dragoner oder Reiter ist, dann haut er mit dem Säbel auf Tische und Bänke los, bis er hinfällt, wo er steht [2]).

— Ach, die Aermsten!.. [3])

— Liebes Fräulein, nur kein mitleid mit den Bestien... dieses Volk ist dumm, faul und grausam... [4])

Черный капитан увел в тьму улицы за ворота свою подругу.

XXVII. Суд-расправа.

На крыльце часовни Троицкого монастыря Разин сидит с есаулами, пьет. На площади кремля города только что кончилась расправа с дворянами, детьми боярскими и подьячими — били ослопами, прикладами мушкетов, бердышами; от раннего солнца в кровавых лужах белые отблески. Площадь дымится неубранными телами уб..тых. У раската лежит сброшенный Разиным с вышины воевода Прозоровский Иван; князь раскинул руки, посеребренный колотарь в крови, часть головы князя в мисюрке-шапке отскочила далеко в сторону, из-под бровей тусклые глаза вытаращены на солнце. Разин в черном бархатном кафтане подпоясан синим кушаком с кистями, на кушаке сабля, на голове — красная запорожская шапка с жемчугами. Стрельцы приносят и ставят на широкое крыльцо часовни боченки с водкой:

— Пей, батько!

— Здоров будь, Степан Тимофеевич!

Не далеко от собора женский плач.

Женщины в киках жемчужных, иные в бархатных с золотом повязках, то в волосниках, унизанных лалами и венисами. Все они у стены собора лежали, стояли, иные сидели рядом со старыми боярынями, устремившими глаза в небо. Старухи шептали не то заговоры, не то молитвы.

За распахнутой дверью, за спинами атамана и есаулов, в глубине часовни у мощей Кирилла два древних молчальника-монаха в клобуках с крестами и черепами белыми, вышитыми по черному, в ногах и головах преподобного, зажигали свечи в высоких подсвечниках; монахи, крестясь, были спокойны, медлительны и глубоко равнодушны к тому, что творилось за стенами часовни. Держа серебряную чашу в руке, Разин поднял голову;

---

[1]) — У него, капитан, сабля в руке?

[2]) — О, я объясню и это! В пьяном сне русские видят чорта, он их злит, они гоняются за ним, и если пьяный — драгун, рейтар, то в бреду рубят столы, скамьи, пока не свалятся куда пришлось.

[3]) — Несчастные!

[4]) — Дорогая фрейлейн! Они не стоят сожаления — это глупый, ленивый и жестокий народ.

левой свободной рукой двинув на голове шапку, крикнул стрельцам и казакам:

— Гей, соколы! кончи бить, волочи битых в одну яму на двор Троецкого, — да сыщите в монастыре моего посла попа, кому брошенный с раската воевода забил перед приходом нашим на Астрахань в рот кляп и в поруб кинул!

— Троецкой поп, батько, жив! с тюрьмы его монахи, убоясь, спустили, когда ты в город шел.

— Добро!

Подошел стрелец, лицо и руки в крови.

— Битых, батько, мы волочим в Троецкой, да там над ямой стоит старичище монастырской, битым ведет счет — то ладно ли?

— Наших дел не таимся! занятно старцу, пущай запишет, кого поминать, а ну, Чикмаз, — пьем!

— Пьем, батько!.. ладно справились... почаще бы так дворян да подьячих?

— Пущай им памятна Астрахань, за отца Тимошу, да брата Ивана... Гей, соколы! кто есть дьяки, те, что с народа не крали... коли таковые приказные есть, зовите ко мне?

Трое дьяков в синих долгополых кафтанах подошли к часовне, сняли шапки.

— Дьяки?

Пришедшие закланялись;

— Мы дьяки, атаман батько!

— Садитесь на свои места в приказной избе — ведайте счет напойной казне, приказывайте на кружечном курить вино, готовить меды хмельные... В Ямгурчееве городке, когда казаки раздуванят товары и рухледь, а мое атаманское отделят прочь, — мой дуван опишите и пусть снесут в анбары... После того — перепишите людей градских, кто целоможен и гож к оружию... перепишите домы тех с виноградниками и погребами, кто бит, учтите хлеб на житном дворе и харч, да торговлей ведайте, берите на меня всякую тамгу!

— Чуем, атаман!

— Готовы все справить!

Дьяки поклонились радостные, крестясь, торопились уйти из кремля.

— Еще, соколы! закрыть все ворота в городе, оставить трои — Никольские, Красные — в кремль и в город отворить Горюнские, кабацкие, пущай горюны на кабаки идут по-старому... Гей, Федько самарец!

— Чую, Степан Тимофеевич!

— Поди с дьяками! учти напойную казну, сыщи прежних голов кабацких и целовальников — спознай, кто расхитил что, того к ответу? замест их стань кабацким головой, а кои целовальники честными скажутся, тех приставь к прежнему делу.

— Будет так, атаман!

Черноусый есаул самарец, поклонясь, ушел.

Стучали топоры на площади, таскали бревна. Плотники мастерили виселицы — вкапывали бревна торцами в землю; верхний торец, похожий на большущий глаголь, делался с перекладиной. Привели к атаману переодетого в нанковый синий кафтан избитого любимца воеводы подьячего Петра Алексеева без шапки. Рыжевато-русые волосы приказного взъерошены, лицо в слезах.

— Вот, батько, доводчик воеводин, казной его ведал!

— Ты есть Петр Алексеев?

Подьячий дрожал, едва говорил:

— Я атаман, батюшка, ась, не Петр!.. я Алексей... с чего-то так меня дьяки кликали и воевода по ним — Петр да Петр, а я — Алексей!

— Где казна воеводина?

— У воеводы, ась никой казны не было — отослана государю... стрельцам и тем жалованное митрополит платил вон ту на дворе Троецком..

— Я твою рожу в моем стану видал, а был ты тогда в стрельцах — помнишь жареные бугры?

— Помню, атаман, ась, чего таить?.. я человек подневольный, какую бывало службу воевода сунет — в ту и лез...

— А помнишь ли подьячих, они мне служили, ты их хотел в пытошную наладить, да сбегали в казаки?

— Это Митька с Васькой, ась — так они путаные робята, атаман!.. и не гожи были в подьячие, едино что по упорству воеводы сидели — грамотой оба востры, да ум ихний робячий есть.

— Всем бы ты хорош, Петр Алексеев...

— Алексей, ась, атаман!

— Пущай Алексей! даже имя твое и то двуелишное — на Москву хочешь спущу?

— Ой, кабы на Москву! никогда ее не видал — поглядеть ась, охота до смерти...

— До смерти наглядишься!

Атаман, чокаясь с есаулами, видел работу плотников, знал, что виселицы справлены. Он двинул на голове шапку. Подьячего подхватили стрельцы; Разин крикнул:

— Покажите ему Москву! за ребро крюк, взденьте да повыше!

На площади с Алексеева содрали кафтан, сорвали рубаху и, в голый бок воткнув железный крюк, вздернули. К виселице кинулась старуха в черном, всплеснув руками, закричала:

— Дитятко-о! Алексеюшко?

— Ой, мамонька, — проси у них хоть тело мое похоронить! о-х, тошно-о!

— Дитятко!

Атаман крикнул:

— Соколы! гоните старуху — пущай завтра придет — хоронить воеводину собаку.

С Волги в кремль казаки привели молодого персиянина, он ругался по-персидски, грозил кому-то кулаками, тыча в сторону на Волгу:

— Педар сухтэ!

— Этот, батько, с немчинами бежать ладил на корабле «Орел» царевом — мы того «Орла» сожгли... немчины кое в паузках, кое в лодках уплыли карабузаном в море, а этот на берегу сел и плачет...

— Царевич он, сын Гилянского хана! судьба его висеть там же на крюку, где Алексеев — гей, повесить перса!

Молодого перса раздели догола, пинками подвели к виселице и, воткнув крюк в ребро, подтянули на ту же вышину, как и подьячего.

— Еще, батько, персицкой — купчина должно?

Стрельцы и казаки вытолкнули перед атаманом человека в бархатном голубом халате, шитом золотыми арабскими буквами — в голубой чалме с пером.

— Его я знаю! — засмеялся Разин и, подняв чашу с вином, сказал: — За твое здоровье, перской посол!

— Кушаи-и...

— Ты бился в пытошной башне, против нас сидел, со своими слугами?.. — и надо бы за то тебя повесить!

— Иншалла! атаман — если так хочет бок...

— Бог ничего не хочет, а вот хочу ли я? то иное — я не хочу тебе худа — соколы! тут где-то его сабля?

Чикмаз достал с крыльца саблю посла с золотой рукоятью в ножнах, по серебру украшенных финифтью.

— Хороша сабля! да коли Степан Тимофеевич велит — вот, бери, кизылбаш.

Посол взял саблю.

— Поезжай ты в Персию к шаху, скажи ему — атаман меня отпустил, ты же отпусти пленных казаков — я знаю, они там у вас горе мычут?

Посол принял саблю, поклонился, сказал персу толмачу, который стоял сзади:

— Спроси у атамана мои пожитки!

Толмач перевел слова, атаман ответил послу, не глядя на толмача:

— Пожитки твои, посол, казаками разделены по рукам—я не волен брать у своих то, что они взяли с бою... Поезжай так! жизнь дороже рухляди!

Посол еще раз поклонился и ушел.

— Гей! стрельцы! теперь подавайте мне воеводино отродье — сынов князя Прозоровского.

Голубые и розовые кафтаны стрельцов затеснились к крыльцу часовни, сверкая бердышами.

— Ени, батько, у митрополита кроютца.

— Подите на двор к митрополиту, приказую ему дать парней!

Стрельцы ушли. Спустя час, старший Прозоровский смело вышел к атаману. Был он в голубой измятой чуге, с гладко расчесанными длинными волосами, без шапки:

— Куда делся твой меньшой брат?

— Мой брат идет с монахами.

— Добро! теперь скажи мне, княжеское отродье — где твоего батьки казна скрыта?

— Казну ведал подьячий Алексеев!

— Теперь не ведает — гляди!

Юноша Прозоровский обернулся к виселице — подьячий, скрючась, держался посиневшими руками за веревку; на крюке, впившемся в ребро, застыли сгустки крови.

— Видишь?

— Чего мне видеть? — знаю!

— Знаешь, так говори, где казна твоего отца?

— У моего отца казны не было, рухлядь батюшкину твои воры-есаулы всю расхитили — повезли в Ямгурчеев! Чего ищешь у нас, когда оно добро у тебя?

— Ты княжеский сын?

— Ведомо тебе — пошто спрос?

— Мой род бояра выводят до корени, я ж вывесть умыслил род боярский до земли — эх, много еще вас! гораздо вы расплодились, едино, как черные тараканы в теплой избе — гей, повесить княжеское семя за ноги на стене городовой!

Встал Чикмаз:

— Я, батько, эти дела смыслю, дай княжича вздерну?

— А ну — Григорей — делай!

Чикмаз шагнул, обнял юношу, закрывая его голову большой сивой бородой, сказал:

— Пойдем, вьюнош, кинь чугу, легше висеть, а чересла повяжи ремнем туже: не так кровь к голове хлынет.

— Делай, палач — да молчи!

— Ого, вон ты какой?

Монахи привели младшего княжича в слезах, а чтоб не плакал, старцы дали ему медовый пряник. Русый мальчик в шелковом синем кафтанчике, в сапогах сафьянных, красных испуганно таращил глаза на хмельных есаулов, страшных казаков с пиками, саблями и не замечал Разина. Взглянул на него, когда атаман сказал:

— А ну и этого! за работой Чикмаза вслед.

Мальчика к стене повели монахи. Палач с веревкой шел сзади.

— Кличьте попов! пущай все здесь станут.

Попов собирали из всех церковных домов, а который не шел, тащили за волосы, пиная в зад и спину:

— Батько зовет!

Попы толпились перед часовней. Разин встал, упер левую руку в бок, спросил:

— Все ли вы, попы?

— Все тут, отец!

— Гей, батьки! нынче венчать заставлю вон тех боярских лиходельниц с моими казаками, кто ж из вас заупрямитца венчать без времени, да разрешения церковных властей — того упрямца в мешок с камнями и в Волгу! она, матка, попа примет едино как и убиенного казака — слышали?

— Чуем, атаман!

— Подите к старым боярыням здесь у церкви, кои негодны в жены, заберите их на девий монастырь, отведите и дожидайтесь зова к венцу... вы же, казаки и братцы, стрельцы, киньте жеребий, какая из молодых боярынь, аль-бо боярышень кому придетца — тот ту бери, к себе веди!

— Ай да батько!

— Спасибо, Степан Тимофеевич!

— О жонках много скучны!

Разин, слыша слезное лепетание оставшихся у церковной стены молодых боярынь, крикнул:

— Эй, жонки боярские! голосите свадебное, то ближе к делу. — Спросил есаулов:— Что ж я боя часов не слышу?

— Батько! — сказал есаул Мишка Черноусенко: — в пору, как сбросил ты с роската воеводу Астраханского, сторож часовой в тое время в ужастии бежал за город и нынче время знать будем лишь по часам солнечным, кой на другой башне...

— И то добро!

У собора спорили стрельцы с казаками, по жребию уводя боярынь и боярышень из кремля. Уходившие кричали хвастливо:

— Седни мы разговеемся!

Есаулы с атаманом продолжали пирушку на крыльце. В часовне жидко зазвонили ко всенощной, молельщики собирались кругом часовни, но внутрь итти не смели.

Разин заметил, сказал:

— Эй, есаулы! тащи боченки в сторону крыльца — пустим скотов на траву.

Боченки с крыльца часовни убрали, молельщики наполнили часовню. Пришел поп и начал службу... Послышался топот лошади; в кремль, через Пречистенские ворота въехал на хромой белой лошади запыленный человек в синем жупане.

— Кто-то наш, поспешает к пирушке?

— Кто такой?

— Лазунка, батько! с Москвы, то-то порасскажет.

— Ну, други — радость мне! откройте собор — тащите хмельное к алтарю — там буду пить, а попов оттеле гоните.

Лазунка слез с лошади, подошел к атаману.

— Здорово-ко, батько Степан!..

— Здорово, дружок! дай поцолую?

— Избился я весь в дороге! грязи на мне в толщу — ну и путина, чорт ее...

— Ах, ты сокол мой! каков есть — ладно.

Разин обнял Лазунку, они расцеловались.

— Куда-ба мне коня сбыть? хорош конь попал, да вишь, и тот с ног сбился — путь непереносной.

— Стрельцы! приберите коня, напойте и подкормите.

— Справим, батько!

Коня увели. Боченки с водкой, медом и брагой перетаскали в собор. Разин с Лазункой под руку пошли вслед утащенному хмельному, обернулся к стрельцам атаман — крикнул:

— К собору — где буду пить, караул чтоб стал! — кому надо молиться — тот молись в часовне, а городским у вознесенских ворот молитва — у Сдвиженья, да в Спасском, а то в кремле — кой хочет бьет поклоны Богослову, — в соборе буду пить с Лазункой, да вот младшего Прозоровского снимите со стены, дайте матери в память того, что любой мой есаул из царского пекла жив оборотил... со старшим завтра порешу!

— Чуем, атаман! караул наладим и с мальчонкой дело сполним.

— Да, еще! берегите дом князя Семена Львова, он не стоял на нас с воеводой и не лихой люду был.

— Князя Семена не обидим!

В куполе собора, в узкие окна, сквозь синий сумрак, крадется лунный серебристо-серый свет. Он обрывался, не достигая противоположных окошек, обойденных луной, в тусклых нишах.

Внизу собора у дверей, закинутых железным, поперечным заметом, поет не громкий, приятный голос, и голос тот слышнее вверху, чем внизу, среди позолоты, церковных подвесков, паникадил, подсвечников и люстр. Дальше от дверей входных, перед царскими вратами в пятнах золотой резьбы — за столом, крытым парчевыми антиминсами с крестами, Разин. Атаман черпал из яндовых ковшом мед, иногда водку — по бороде атамана текло, он время от времени проводил рукавом кафтана, стирал хмельную влагу и снова остервенело пил, не закусывая, хотя на столе кушаний было много. Церковные свечи, перевитые тонкими полосками золота, толстые, были косо вдавлены в медные и серебряные подсвечники. Светотени колебались по темным враждебно глядящим образам. От далеких алтарю входных дверей все так же звучал голос. Там за простым не крытым столом сидел Лазунка, гадал в карты, раскинув их, вглядывался, покачивая черной курчавой головой. Собирал спешно карты в колоду, тасовал и снова раскидывал карты. От его движений шибался на стороны робкий огонь тонких восковых свечек, прилепленных к голомени кривой татарской сабли, лежавшей на столе в виде большого полумесяца. Атаман бросил на стол ковш, недопив, хмельное брызнуло, Разин тяжело, но не шатко поднялся. Деревянные большим полукругом ступени возвышения к алтарю затрещали от шагов, однозвучно отражая стук подков

на сапогах, зазвенели плиты под тяжкой пятой. Лазунка поднял голову, оглянулся на атамана и перестал петь:

— Что ж ты смолк, Лазунка? играй ту песню.

— Сам я, батько, уклал песню, да вишь худо...

— Играй!

Лазунка запел:

Ты пойдем-ко со мной, дочь жилецкая.
Кинь отцову нову горенку,
Промени на житье беспечальное.
С вольной волей, девка, мы спознаемся,
Во сине море разгуляемся...
И на Волгу-реку в кораблях придем,
На Царев ночевать со стругов уйдем...
На Царевом-то нет цветов во век
Проросла лишь травинка невысоконька...
То-ли горе нам?
А на Волге-реке острова-цветы,
Паруса белеют, ладьи бегут,
Угребают, поют лодки с челнами...
Коль захочешь цветов, чернобровая,
Я из паруса в шатре размечу цветы.
Все веницы, перлы-жемчуги,
Златоглав парчу-узорочье.
Со лесов, с курганов, с берегов реки —
Ты услышишь соколиный свист,
Эх, не ветер с бурей тешатся!
Молодецкий зык по воде идет!

— Хорошо, Лазунка! оно можно и бахвалить в игре... Можно... ты гадал о чем?

— Гадаю, батько!

— У кого ворожбе той обучился?

— У молдавки, атаман! у старой экой чертовки... сидела в Москве на площади, христарадничала, а был я хмелен — кинул полтину, она руку целовать — я не дал и говорит: «Боярин! хошь, обучу гадать?» «Учи!» Она мне раскинула карты раз, два — я и обучился. Карты дала, велела берегчи — не расстаюсь с ними...

— Чего нагадал?

— Эх, батько! все неладное — заупрямятся карты, тогда лучше не гадать...

— Что ж худое тебе?

— Будто смерть мне... ей-бо, я их мешал, путал, а все смерть! я же ушел с Москвы без смерти, сказывал тебе лишь, что убил я Шпыня лазутчика, да кажись не до смерти — зашиб?

— Шпынь попадетца мне — повешу!

— А думаю я, батько, Шпыня на Москву слал Васька Ус?

— Ну, полно, Лазунка! какая ему корысть?

— Васька Ус тум — «у тумы бисовы думы» — чорт его поймет?.. вороватой есаул.

— Эн, Лазунка! думаю я про него худое — да брат он мне названной и за княжну персиянку зол... только не он Шпыня наладил к боярам, сам Шпынь вор!.. Сам ли ты видал на Москве болвана, коего проклинали попы?

— Сам — я, батько! прокляли и сожгли на Ивановой в кремле.

— Так вот! иные из мужиков, что пришли к нам — отшатнулись, прослышав анафему, бегут... кто же не знает проклятия, тот идет к нам, татарва, чуваша и черемиса худо оружны — луки, топоры и те не на боевых ратовищах дровяные, еще вилы да рогатины — в том много беды, а пуще... меж собой несговорны! казаков коренных мало... стрельцы наполовину ладны к бою, иные двоелишны... а ты дал ли дьякам писать к Серку в Запорожье?

— Дал, батько! исписали грамоту, сам чел я...

— Скажи! в грамоте как было?

— Так вот: «Друг кошевой, Серко! бью тебе челом и прошу посуленное подможное войско. Шли зелье и свинец, людей охочих вербуй, шли с карабинами, мушкетами на Астрахань, а чем боле будет та справа и люди придут скоро, тем большая тебе будет от нас честь, добыча от казаков вольных и атамана Степана Тимофеевича!» Печать твою приложили, я же гонца наладил смелого — запорожца Гуню.

— Ушел гонец?

— Седни — ушел он, батько!

— То добро!

— Есаулы Осипов, да Харитоненко с Дону, с Хопра привели людей... Самара, Саратов под нами — воеводы кончены... Нынче скоро пустим народ под Синбирск — Петруха Урусов из кремля не вылезет, не задержит, боитца нас... пущай идут есаулы — Черноусенко рветца к бою... Чикмаза с Федьком Шелудяком оставлю в Астрахани глядеть за Васькой... Эх, Лавреич! парень смелой — ужли в измене замаран?

— Думаю, батько, что — да!

— Пождем, Лазунка! через неделю и коло тово взбуди меня, не дай пить...

Атаман пригнулся, взгляд его был страшен, он заглянул в глаза боярскому сыну.

— Спешить надо, Лазунка! или... сплошаем — плаха ждет...

— Батько! страшно мне за твою голову — закинь пить...

— Нынче, Лазунка, еще наша сила! не бойся — пью... взбуди через неделю и знай — не верю я никому, тебе да Чикмазу верю, а над всеми, когда я сплю, как сатана — вьется Васька Лавреев — за ним гляди...

Атаман ушел. Лазунка поправил и переменил подгоревшие свечи, стал гадать. Голос его запел звонче в лунном мареве купола церкви...

Еще прошли два дня и две ночи, атаман пил, глаза его наливались кровью. Он иногда вставал, шатаясь ходил по церкви, рубил иконы. Сабля тяжело зловеще сверкала в сумраке, оживленном редкими огоньками.

Тогда Лазунка кричал:

— Батько, сядь к столу!

Разин, слыша знакомый голос, что-то вспоминал, послушно отходил на место, садился, дремал у стола и снова пил. Иногда приходил в алтарь маленький волосатый в черной ряске понамарик — Разин его называл чортом. Понамарик часто крестился, менял на столе подгоревшие свечи и исчезал своей лазейкой в алтаре. Разин отдирал тяжелую голову от рук, кричал:

— Эй, чорт! огню.

— Даю, батюшко, даю — вот-те Христос...

Понамарик волчком вертелся, таскал из ящиков свечи — среди яндовых быстро вспыхивали огни и гасли прикрепленные к антиминсам — они отдирали его пузырями, падали.

— Огню, чорт!

— Ох, вот-те Христос, и лоб перекрестить некогда! ой, даю... — прилепляя к антиминсу свечи, понамарик дрожал и читал под нос: — «Помилуй мя Боже по велицей милостей твоих»...

— Провалился сквозь землю? огню?

Понамарик начал лепить свечи на кромки яндовых. Атаман дико хохотал:

— Смекнул, сатана! есть вино?

— Не гневись, батюшко — есть!

— Сгинь, попова крыса!

Понамарик исчез.

Атаман выпил из яндовой через край хмельного меду, неверным размахом утер седеющую бороду, опустил на руки седые на концах кудри. Огни оплыли, дымили, пахла воском водка, начиная нагреваться, от многих огней запахла сильнее. Атаман, мотаясь, встал, оглянул мрачными глазами огни на яндовых и что-то как бы вспомнил:

— Да-а... пожог изведет? — вмахнул по огням широкой ладонью, сорвал с яндовых огни, кинул под ноги — так! — огляделся, взгляд его упал на ковш, взял ковш, зачерпнул из яндовой водки, выпил полный ковш, не переводя дух...

По стенам, написанные сумрачными красками, кривлялись лики святых. Разину показалось, что среди них он узнает князя Владимира Киевского:

— Ты, равноапостольной? ты! сыроядец, блудодей, многоженец! и ты свят? а каким местом свят? или за то, что загнал людей в реку, как на водопой животину? ха-ха-ха! и вы все таковы же сподвижники! Русь спасали? боярскую Русь? что ж вы говорили мужику? Корми бояр, царя и веруй! мужичье добро шло в ваш кошт, и вы то добро копили — изгоняли жонок? на показ своей святости, манили в монастыри юношей, претили носить портки, а были б в кафтанах длинных с кудрями на женьстий вид — тьфу вам, угодники!

Атаман склонил голову в полудремоте, зачерпнул ковшом водки, выпил и против воли тяжело сел на скамью, положил бороду к широким ладо-

ням, увидал: задвигались золоченые стены, иконы, а там, где раздвинулись из прогалков, стали выходить старики со светильниками, все в черном, сгрудились внизу за ступенями, запели... атаман, не двигаясь, глядел — в середине черных стариков, сошедших со стен, стоит он сам, одетый также в черное с обрывком веревки на шее. Из толпы, обступивших кругом стариков, вышел князь Владимир в красном коце с золотом на голове, крикнул зычно:

— Анафема-а!

Старики перевернули светильники огнями вниз. Владимир извлек меч из ножен — ударил его, стоящего посреди черных в черном, и снова крикнул:

— Анафема-а!

Старики запели похоронно.

— Блудословы! — загремел голос атамана на весь собор: — я жив! и вот вам!

Уронив и погасив огни на столе, Разин тяжело поднялся, пиная скамью, своакивая со стола антиминсы — шагнул к видению, его пошатнуло со ступеней, сунуло вперед, он сбежал к большому аналою, хотел удержаться, схватился за покрышку и упал. Аналой зашатался, устоял, покрышка сползла вместе с иконой, закрыв, как одеялом, хмельного батьку с головой и ногами, икона проползла по спине, торцом встала у аналоя. Разин уснул богатырским сном. Лазунка кинулся к атаману, боясь, что свечи зажгут водку, увидал, что атаман, разом погасив все огни, упал, — решил:

— Так отойдет?.. завтра взбужу, не дам пить!

Лазунка вернулся и в тишине задремал. Вздрогнул от стука, встал, шагнул к двери, спросил:

— Кто идет?

— Нечай!

Боярский сын, откинув замет, приоткрыл дверь.

— Чего надо?

— Держи! боченок водки атаману.

Тот, кто совал боченок из тьмы паперти, говорил заплетающимся языком.

Лазунка подумал:

— Хлебнул, должно, с боченка? — спросил: — с кружечного?

— Дьяки шлют! — человек совал боченок в полураскрытую половину двери. Держал на руке. — Чижол, бери!

Боярский сын, не желая распахнуть дверей, взялся руками за боченок. Бухнул выстрел, боченок покатился по спине Лазунки и по полу. Боярский сын осел без слов на плиты, голова упала в притвор собора. Через мертвого перешагнул высокий, в синей куртке со шрамом на лбу с парой пистолетов за ремнем, без сабли, в черном низком колпаке. На левой щеке виднелась круглая язва. Шагнув в собор, человек огляделся:

— Пса убил, а боярина нету? куды его чорт? в алтаре темно!

Под ногами зазвучали плиты собора. Остановился, поднял руку — у паперти ударили в литавры, и голос Чикмаза зычно крикнул:

— Гей, караул!.. чего глядите? кто стрелит у батьки?

— Эх, Лаврен! не сполню — Шпыню впору ноги нести.

Человек загреб на столе Лазункины огни, погасил. В темноте, идя от голосов прочь, быстро шаркал невидимый ногами, выдавил слюду окна, чернея и извиваясь в белесом свете сорвал раму, беззвучно опустил ее впереди себя и прыгнул.

На паперти стучали ноги. Один голос сказал, входя в собор:

— Лежит кто в притворе?

— И то лежит! эй, огню!

— Робята-а! обыщите кремль — батьку убили не как?

Забили литавры. Голос Чикмаза кричал:

— Гей, собирайтесь — скоро оцепляй кремль!

Когда казаки и стрельцы по приказу атамана с жеребья разбирали жен в кремле, туда пришел Васька Ус. Ус к жеребью не вставал и жениться не думал. Попы увели старых боярынь в женский монастырь. Жеребьи все вышли, казаки брали с собой последних двух боярских вдов. В то время в кремль к собору доброй волей пришла молодая купчиха в кике с золотыми переперами [1]) в атласном шугае и шитом золотом красном сарафане.

— Глянь, робята! — закричали стрельцы. — Одна жонка сама пришла, замуж даетца.

Купчиха была на язык остра, ответила:

— А, нет уж! коли не судьба замуж, так вдовой пойду.

Васька Ус подошел, погладил ее по спине:

— Мясо крепкое? и баба мед!

— Вот за тебя черноусого пошла бы, коли взял?

— Ой ли? а дай женюсь!

Васька Ус пошел в дом к купчихе вдове. По дороге узнал, что мужа ее убили разинцы, когда он в рядах, в белом городе спасал свои товары — «ой и скупущий был брюхатой, бородатой!». Ночь они провели не честно. Днем помылись в бане, поп наскоро обвенчал и пил у них целую ночь с дьяконом да дьячком.

Дом жены, где поселился есаул — пузатый; деревянный, нижний этаж выперло, но все ж дом был крепкий. С верхнего этажа по бокам шли лестницы крытые, столбы лестниц точеные, крашены пестрыми красками. Новый муж купчихи по сердцу был ей своим богатырским сложением. Она сама принесла Ваське кафтан синий, бархатный, рубаху шелковую, шитую жемчугами, шапку голубого атласа, отороченную соболем, и, подобно боярским мурмолкам, выложенную серебряными кованцами [2]).

---

[1]) Решетки.

[2]) Украшения, кованые с резьбой.

Кушак рудожелтый с дорогими каптургами [1]). Жил с ней Васька Ус неделю ладно, весело, хмельно и любовью обильно, а как-то на ночь однажды погнал жену от себя:

— Прочь поди, постылая!

— Ой, ты, Васинька! да уж как и чем я не мила, не угожа?

Есаул нахмурился, сидя на брачной кровати, стукнул в стену кулаком так, что кубки в поставце не далеко где-то зазвенели, сказал:

— Помру ежели черной смертью — предай земле!

— Пошто тебе помирать, солнышко незакатное, — ай, чего у нас нет?

— Поди прочь от меня — потом коли перейдет беда — нарадуешься!

Жена послушалась, втихомолку наплакалась. Потом пошла на рынок, нашла амбар и стала торговать весь день — лишь ночью приходила домой. Спала за стеной чутко и к бреду ночному нового мужа прислушивалась...

В подклети дома Васьки Уса среди узлов с товарами, да рухляди торговой — между мешков с пшеном и рисом на земляном полу лежал, вытянувшись во весь рост на животе, Федька Шпынь. Васька Ус на ящике сидел перед ним, тонкая восковая свечка была прилеплена к кромке плоского ящика, горела, поматывая точечкой огонька.

— Ну, Хфедор! я — атаман, или же Стенька?

— Убил, Лавреич! убил лиходея, да только не атамана — Лазунку!

— Ты пошто гугнив? тогда, когда посылал в собор, заметил такое, спросить о том забыл.

— Да, вот! — Лазунка дунул меня в рот из пистоля на Москве в Наливках... тогда и повернуло мне язык во рту, щеку прожгло да оглох на левое ухо. Лежал я, сколь время говорить не мог, дивно, что не сдох с голоду, гортань завалило, не шла ежа окромя воды... он же, сатана, в тую ночь, как меня тяпнул, утек в Астрахань...

— Ловок ты, а будто заяц собаке в зубы пал?

— Ништо!.. кабы повыше, то не видать ба тебя, да промигнул ночью... ну и я его нынче отпоштвовал, кудри расти не будут!

— Хфедор! Лазунка — птица едино, что кочет, а до сокола, вишь, не добрался?

— Атаману за ремнем был заправ, хватило ба, да, Лавренч, в церкви его на ту пору не случилось, а как дал стрелу — чую сполох бьют и сыск по кремлю зачался — едва ноги убрал! на счастье Никольские на замок не были захлопнуты, то конец мне.

— Где ж был Разин?

— А, чорт! у Лазунки огонь, к олтарю же тема и тишь.

— Дела наделал себе... как сказал я — убил ба обоих, собор поджог и дело скрасил — «сгорел во хмелю»... теперь же придетца под Синбиреск итти?

---

[1]) Подвески, в виде отдельных висящих безделушек.

— Ништо, пристану к татарве, мовь поганых ведаю, хаживал с с ними... ты мне лишь татарскую справу дай... там к воеводе проберусь.

— То справлю! Сполохал зря — убил атаманского любимца, пить закинет, тогда держись!

— Вот, Лавреич, не с тем было — ране тебе не показал — вишь, покуда я на учуге пасся, а к Астрахани подходил, то из мушкета срезал хохлача, сыскал у его лист кой-то в шапке... мекал, что нам гож тот лист?

Шпынь полез рукой за пазуху, вытащил грамоту, скрепленную дьяками подписью на склейках — чти-кось, я не разумею...

Васька Ус взял бумагу, придвинулся к огню, читал, потом сказал:

— Эх, Хфедор! занапрасно убил запорожца.

— Ну-у? жаль! а был тот хохлач, казалось мне, Лазункой послан?

— В грамоте атаман испрашивает у кошевого Серка слать людей, справу боевую тож... мужики от его, кои послышали проклятье и отлученье церкви Разину, побегли. Татарва вздорит меж себя, Ерзя да Мокша лапотна и безоружна — у мужиков тоже с собой едино лишь топоры...

— Пошто говорить — зряще убил хохлача? Разину подмогу способлял и нынче ему той подмоги не видать — нам же лучше?

— Ты пойми! — запорожцы зовутца на Астрахань, а я еще не ведаю, каково нам с тобой от царя-бояр прощенье?.. Тех запорожцев я бы удержал здесь, да Астрахань укрепил... их боевой справ тоже не лишний тут...

— Кто поймет тебя?

— Ну, да ништо, Хфедор! мы энту грамоту именем Разина со своим гонцом в Запорожье двинем...

— И ладно! не зряще я трудился. Еще, Лавреич, как мой конь? забота по ем большая.

— Доброй конь! только сдаетца мне — с ним болесть стряслась...

— Эй, Лавреич!.. не погуби животину.

— Чуй, как дело — наехал тут в город кой башкир и к частику моему у огорода привязал свою падаль, близ крыльца... я же на твоем коне ехать собрался... мне его обрядили, а стояли кони рядом...

— Ногайцы схитили коня?!

— Годи, скажу... кони, как я сшел из дому, чешут зубами по шерсти один другого — башкиров же конь прахотной — гной у его из носу тек. Я того башкира по роже: «чего глядишь, сатана?»; он же лишь зубы скалит, да бормочет: «нишаво» да «ладна, козак!». Гной я с твоего коня кафтаном утер и проехался, распотел я весь и в дом зашел, кафтана с плеч не содрал, умыл руки, да ясти мне подали... ты не пужайся, но с тое поры недужен мало твой конь — из носа у его течет и дрожит... я знахаря приводил, казал: «ништо, говорит, оповорился мало, обойдетца!». Солью его натирал, поил с наговора. Позже того с неделю, аль-бо помене, лихоманка начала меня трепать... ночи не сплю — будто кто по мне ползет, как черви... сдену рубаху — никого! и пало с той поры в голову мне — уж

не черная ли де смерть подходит? Жену от себя угнал — помереть думаю, так одному... черная смерть, она прилипучая к другим...

— Ой, ты, Лавренч! пошто смерть?

— Дрожуха не отстает, червы перестали казатца, зато чирьи пошли по телу и един вчера лопнул да потек таким же коньим гноем. Весь я чую— стал силой вполу прежнего...

— Пройдет! коня лечи, не кидай — издохнет аргамак и мне конец! такая на душе примета.

— Вылечусь! коня излечу, деньги есть — не жаль их, много... ты же бери моего коня — их у меня три — бери лучшего и под Синбирск... Разин туда людей шлет, сам скоро будет — там с ним кончить! — приди вперед его под город.

— То знаю, как кончить! а вот как бы мне из города выбратца? Чикмаз — чорт! на ночь у ворот большие караулы поставил. На стену ба забрался с города — только вниз четыре сажени с локтем — падешь и без головы станешь?..

— Не ходи, спи ту! есть тебе принесут, рухледи много, подкинь и накройся... в казацкой одеже быть нельзя, нарядись стариком, сукман сыщу, бороду подвяжешь... ходи на кружечной, в кабаки ходи, напойных денег дам и к нам ходи — к жене много нищих шатаетца... незнатко! Седни Разин ли, Чикмаз не пойдут в домы искать — Разин поди хмелен? завтре спохватитца, а ты из-под заранку уйдешь.

— Так ладно! остаюсь...

Утром чуть свет загремел голос атамана:

— Гей, есаулы, ведите мне Лазункина коня — на нем буду ехать, хоронить друга!

Забили барабаны. По зову голоса и бою барабанов собрались: Яранец Дмитрий, Иван Красулин, Федька Шелудяк, Чикмаз — все на конях. Мишка Черноусенко прискакал последним. Стрельцы уж держали на плечах черный гроб с золотыми кистями. Чикмаз ждал грозы от атамана за худой караул стрельцов у собора — всю ночь не спал, заказал гроб. Лазунка лежал в гробу в том, в чем был в Москве — одетый в красную с золотом чугу, синий жупан его постлан в гроб.

Через город мимо Спасского монастыря Вознесенскими воротами, сняв с них замки, стрельцы вынесли гроб на холм между слободой в сторону Балды реки; там уж была выкопана могила. Плотники на телеге везли разобранный голубец с иконой. Голубец приказали срубить дьяки, дали из приказной палаты икону:

— Так на Дону хоронят!.. атаману будет тоже любсе?

У могилы, когда поставили гроб, пели два попа в черных ризах. Все слезли с коней вслед за атаманом, подходили к Лазунке, лежавшему с удивленно раскрытыми глазами, целовали убитого в бледный лоб. Атаман поправил густые кудри, закрывавшие щеки убитого. Запорожской шапкой Лазунки закрыл лоб, поцеловал:

— Положите на грудь другу саблю его, к боку пистолеты.

Когда зарыли могилу, плотники собрали избушку-голубец, под навес ее прибили образ Николы. Разин снял шапку, есаулы стояли без шапок, шагнул к голубцу Лазунки, встал на одно колено, сказал и голос его дрогнул:

— Покойся, родной мой! ты истинно любил меня... я не забуду тебя, пока жив! злодея сыщу коли? то будет помнить день нашей разлуки!.. и если падет тоска смертная, уныние непереносимое охапит душу, тогда, кто знает? быть может, моя рука перекрестит мою грудь и знай — первая от меня молитва будет по тебе, Лазунка!..

Отъезжая с атаманом в город, Чикмаз сказал:

— Батько! надо ба у Васьки Уса в дому пошарить Шпыня? сдаетца мне, он, лютой пес, убил есаула!

— Где был караул в тое время, Григорей?

— Да караул, батько, все время был и на чутку раскочился, дуван какой-то делили?

— И я знаю тоже... Шпынь! искать его не здесь и не теперь, будет место! подите все на дела... я же, коли увижу надобное в сыске — позову!

Есаулы уехали. Чикмаза Разин остановил:

— Григорей! все ж тех, кто был в карауле, опроси строго!

— Опрошу и приведу к тебе их, батько!

Чикмаз поскакал догонять есаулов, Разин подъехал, слез, привязал белого коня Лазунки у крыльца дома Васьки Уса.

Есаул в бархатном красном кафтане в желтых чедыгах, шитых шелками, вышел на крыльцо без шапки, низко кланяясь, сказал:

— Гости, дорогой гость!

— Удумал вот! На свадьбе не был — дай, мыслю, заеду, с похорон? И дивно! всех есаулов на могиле друга в лицо видал, а тебя, брат, не приметил?

— Ох, знаю, Степан Тимофеевич! поруха большая, да вишь, недужен и болесть моя людям опасна?... от того в кругу твоем не был, когда ты суд-расправу чинил... и жену себе взял не по жребию, а так охотна к тому нашлась.

— Что ж за болесть, Василий?

Васька Ус переходами и лесенками привел атамана в большую горницу, где был накрыт стол, поставлены меды хмельные в серебряных золоченых братинах. В блюдах таких же мясо жареное, виноград с дынями в сахаре на тарелках. Сели за стол, есаул сказал, наливая в чашу мед:

— А ну-ка, гость дорогой, испей, да судить, о чем хошь, будем!

— Без хозяина не пью, таков мой норов.

— Мне вишь лекарь претит пить.

— И я не буду!

— В измене зришь меня? — за то боишься, Степан Тимофеевич?

— Оно на то схоже.

— А, ну, коли! — запрет ради тебя кину, изопью мало!.. Есаул налил себе кубок меду, выпил, чокнувшись с атаманской чашей, стоявшей нетронутой. Разин чаши не поднял, глядел упорно в лицо есаулу. Ус налил кубок из другой братины, и так же, позвонив о край чаши, выпил. Разин поднял чашу, сказал:

— Налей из третьей, пей со мной!

Есаул налил из третьей и, чокнувшись с Разиным, выпил.

— За здоровье твое, брат! что ж за болесть у тебя, даве спросил, да умолчал ты?

— Болесть моя от коня! завез ее ту с ордынских степей башкир, поставил в ряд с моим конем одра гнойного, конь от башкиров болесть принял, я же на том коне путь держал и теперь по мне чирьи кинуло, гной потек, из носу сукровица пошла и нос, видишь, спух... Спасибо лекарю — задержал болесть; чирьи на мне палит каленым железом, поит отваром коей травы с живой ртутью и антимоней... а то было так — скопитца харкоть, завалит гортань — плюнешь и глядь вылетели зубы с мясом, то два, то три.

— Страшная болесть! ты мне скажи, Василий — кто убил Лазунку?

— Должно, Степан — Хфедька Шпынь, сатана нечистая — то его работа!

— Где ж дьявол кроетца?

— Да уж не думаешь ли, атаман, что в моем дому всякой худой собаке я даю сугреву?

— А думал я так, Василей! и мекал, что за княжну ясырку ты доселе зол на меня и... в измене тебя считал.

— Вот ладно! да нешто моя шея петли просит, что я на ближних людей убойцов навожу, обчее дело топлю, будто худой рыбак старую лодку?

— Какая корысть Шпыню от себя убить Лазунку?

— Корысть, брат Степан, молышь? У дикого человека нет корысти, а вот — прослышал я от татар, кои гоняют на Москву, что Лазунка, когда был от тебя послом, скрывался на Москве, Шпынь же за то, как ты его под Астраханью на буграх в шатре тяпнул в рожу, измену к тебе затаил... сам он несусветно злой человек... падучей болестью бьетца порой — а таковые завсегда дики и глаз их недоброй, обиду сколь годов носят в себе!

— То правда, Василей! был хмелен, он же мне говорил обидное, и я бил Шпыня.

— И вот, Степан Тимофеевич! Шпынь заварил злое дело — проехать ему хошь по облакам не страшно, коней прибирает таких, от которых ездоки отступились, пути не боитца — татары, горцы знают его — проехал он на Москву, да бояр, как доводили мне татары — оповестил... от царя ему корм шел, а Лазунка стрелся с ним и его, как изменника нашему делу, из пистоля ладил кончить — да вишь, не добил чорта? — Шпынь же погнал следом... И в отместку — убил...

— То правда! Лазунка говорил, что бил и не добил должно? Эх, Лазунка! Лазунка! а ну — пью!

— Пей во здравие!.. не опасись. Тебе был я братом и буду таковым впредь.

— Василей, дай руку!

— Вот рука моя, Степан!

— Камень ты с моей души отвалил, Василей! тяжко было думать мне, что под боком свой брат сидит и на меня точит ножик. Теперь вот! Завтре или день сгодя уйду с Астрахани, время зовет! Тебя же оставляю атаманить, и ты, Василей, тех людей, кого не кончил я в день расправы, не убей... паси и не губи князь Семена, да старика митрополита не надо убивать... Эх, не сдымаетца рука моя на древних людей! он и ворчлив, все почести не мы ему дали — царь... льготы — торг и тамга монастырская... учуги тож. А век его не долгой, пущай помрет своей смертью!

— Буду хранить твой запрет, брат Степан!

— Где ж думаешь ты, Василей, тот Шпынь теперь?

— А думаю я вот — Степан Тимофеевич! те же татаре, кои были здесь и под Синбиреск шли, сказывали... «обещался быть к нам козак — Шпынь». И должно ушел под Синбиреск? татарва ему свой брат... конину он жрет из-под седла сырую, как сыроядцы, и ты его, Шпыня, опасись под Синбиреском...

— Чорт его середь татарских улусов сыщет!

— Да, чтоб коло тебя не объявился дьявол!

— Прощай, Василей! лечись и не загинь.

— Прощай, Степан Тимофеевич, брателко, дай бог пути!

Атаман спустился по лестницам. Васька Ус поглядел на отъезжающего в окно, походил по горнице, заложив за спину руки, подошел к тому же окну, сказал:

— Эх, незабвенна ты память о Зейнеб персицкой! и я тебе за то, Степан Тимофеевич, перестал быть слугой и братом! кипит кровь!

Вошла девушка служанка со свечой, зажженной в руке, в другой держала железный прут.

— Тебе чего?.. с огнем средь бела дня?

— Лекарь, Василей Лавреич, указал печь развести.

— Топи, справь дело, да зови лекаря!

Барабанным боем в кремль призывались есаулы, и были все с Васькой Усом. Разин уезжал из Астрахани на Лазункиной лошади, свою вороную отдал Чикмазу.

— Слушьте, есаулы!.. оставляю в атаманах Василея Лавреича Уса...

Есаулы слушали, сняв шапки. Разин передал Усу атаманский чекан.

— Суди! чини суд-расправу. Будь, Василей, справедлив, бедных не тесни налогой и тех, кто с нами идет — дворян, дьяков, сотников, десятников, стрелецких не обижай, не черни моего лица неправдой!

— Буду чинить, Степан Тимофеевич, по правилом!

Есаулы проводили Разина за слободу и вернулись. Один Чикмаз дольше всех ехал на вороном коне, опустив к гриве лошади сивую бороду:

— Не ладно, батько, учинил! изверился я в Ваську Уса — не бывать правде на Астрахани.

Разин пожал руку Чикмазу:

— Гляди за ним, Григорей! и сколь можно доводи мне — как атаманит Лавреев — прощай!

Через неделю власти над Астраханью Васька Ус в синем бархатном кафтане, в запорожской шапке, в сапогах красных, расшитых золотом и шелком, сильно хмельной стоял среди воеводина двора. Поодаль в круг стрельцы с бердышами в красных кафтанах. По бокам два накрачея с воеводскими накрами.

Двор воеводы обнесен высоким тыном на подобие острожка — снаружи до половины стояков тын осыпан землей. Кругом всего тына копаны рвы до ворот широких двора. У ворот Васька Ус поставил караул из двух стрельцов с самопалами и бердышами. Накрачеи забили в накры, собрались есаулы, встали близ атамана. Васька Ус, высоко подняв большую руку с атаманским чеканом, крикнул:

— Гой, стрельцы, подите на двор к князю Семену Львову, волоките его сюда... Закуем да пытать будем — сколь у него казны и добра с народа грабленного есть?

Опустив чекан и проводив цыганскими глазами уходящих по приказу стрельцов, атаман пошел в воеводский дом, есаулы кроме Чикмаза провожали его. Счищая с сапогов о ступени грязь, Васька Ус прибавил громко:

— А там будет черед и его преподобию! голова митрополичья трясется направо, а мы ее наладим налево трястись.

Стал подыматься на лестницу. Есаулы молча шли за ним.

XXVIII. У Самарской Луки.

Высоко над Волгой на третьей ступени Девичьей горы — среди редких елей раскинут шатер атамана. На ступенях горы до шатра рубленые сходни в толстых бревнах. Книзу по Волге, в бухте, за Девичьей горой, стоят струги и боевые челны атамана. На стругах, на железных козах-подкладках, горят огни; по палубам говор, шум хмельной и песни под звон домры. Звонче других и чище голосом поет круглолицый матерый с пухом черной бороды брат атамана — Фролка. Шатер атаманский из парусов; под парусами, лицом в шатер, ковры натянуты. Раскинуты ковры и по земле до половины шатра — у дверей разложен огонь. Пламя огня поддерживает атаманский бахарь и песенник старик Вологжанин. Иногда пространной невидимой грудью вздохнет горный ветер, зашумят ели, засвищут их ветки, шевельнет ветром полотнища шатра, вставшего на

дороге, но сдвинуть стен шатра не может волжский ветер — покрутит пламя, широкими горстями кинет золото гаснущее искр на ковры, тогда ярче зеленеют сапоги атамана, да блещут на них подковки. Черный кафтан на атамане подбит лисицей, оторочен по подолу и вороту бобром, правая пола отогнута, под кафтаном кровавокрасный кармазинный полукафтан, за кушаком пистолеты. Атаман лежит на подушках, облокотился на толстый низкий пень срубленного дерева, глядит в широкий разрез дверей и видно ему берег, дальный, слитую в туман землю с небом при свете, как будто накаленного добела месяца. Не пьет атаман, думает, сдвинув на лоб красную бархатную шапку. Думает свое старик бахарь у дверей шатра и заговорить с батькой не смеет. Видит атаман, как старый сказочник прячет от припека огня свою домру под ковер, чтоб не попортились струны.

— Что ж ты, дид, играть закинул? песня мне не мешает...

— Аль не чуешь, атаманушко, как брателко твой Фрол Тимофеевич взыгрался, чай до Самары гуд идет? я же к тому гуду тож причуиваюсь...

— На чорта мне игра Фролки! Саблей играть не горазд — на домре старикам играть ладно — казаку не время нынче... играй ты.

Выволок старик бахарь домру, потренькал, настраивая и припевая, стал подыгрывать:

Гой ты, сине-лучистое небо над маткой рекой!
На тебе ли пылают-горят угольки твоих звезд вековечные...
Твоим звездам под лад
Под горою огни меж утесами, камнями старыми...
Прозывается место прохожее — «яблочной квас»,
А те звезды-огни все поемных людей,
Из-за Волги-реки приноровленных.
То огни у костров Ерзи-Мокши людей со товарищи...
Кто не чует, я чую огни, голоса,
Кобылиц чую ржание!
Да огни у нагайцев, идет татарва,
Со улусы башкирия многая...
А к огням у своих — мужики прибрели,
Русаки к русаку присуседились —
С головой на плече супротивных своих
Не одна и не две — много, много боярских головушек —
Принесли мужики к заповедным огням;
С головами боярскими — заступы,
Принесли топоры, вилы, косы с собой,
Пробудилась, знать, Русь беспортошная?
Эх, гори! полыхай, злою кровью холопское зарево...
На лихих воевод, что побором теснят
Да тюрьмой голодят — бьют ослопами до-смерти...
Мы пришли вызволять свои вольности
С атаманом со Стенькою Разиным
От судей, от дьяков, от подьячих лихих
Подавайте нам деньги и бархаты.
Нашим жонкам вертайте убрусы-шитье
Да тканье золотое со вираньем!

Не дадите, пойдете как пес меж дворы
Со детьми, да женами шататися —
Божьей милостью — с нашей мужицкой казны
И убоги и нищи кормитися.
Подадим, — коль простим,
Не простим, — так подохнете с голоду!..

— Хорошо, дид, играешь! в песне бахвалить не лишне.

— Пошто бахвалить, атаманушко? а глянь, сколь огней кругом и силы народов розных, там в долине да на сугорах и меж щелоны...

— Много силы, старик! знаю я... но вот что, ежели бы ты ехал в упряжи, да конь твой зачал бить задом, да понес бы тебя и ты слез и загнал коня в болото ли, аль-бо в стену — кнутьем бить зачал — да?

— Да, уж как, атаманушко батюшко, ужели дать неразумной животине голову мне сломать сдуру?

— Так вот: народ — конь, седок — боярин, аль выборной большой дворянин — жилец! за спиной боярина ездока — седок! шапка на седоке в жемчугах видом шлык, на шлыке крест, а зоветца тот седок царем.

— Вон ты куда меня завел, старого?

— Вышел я с народом платить лихом за лихо — по отце моем и брате панафиду править и за всю голую Русь, битую, попранную в грязь воеводами — и радошно мне, мой бахарь, как орлу наклеваться рваного мяса, но чтоб бояра меж дворы пошли кусочничать — в то я не верю... не верю, не пришло время — оно придет!

— Ой, атаманушко! придет же то времячко?

— Придет... в то я верю! пущай нынче боярство не отдаст свои вольности, и не то дорого! пущай подумает — «не век де мне верховодить, когда так мою власть тряхнули». Кто сажал царя на шею народу? бояра, чтоб с ним сесть самим. Сели и держатца друг за дружку, царя же имают за полу кафтана: «уж ты де сиди и нас потдерживай». И ту веревку старой, на коей держатца бояра, не порвать народу нынче — нет! пройдет не мало годов — сотня, а може и более того. Тогда порвет народ ту веревку, изломит оглобли, разобьет телегу с царем, боярами, когда не страшным зачнет быть слово — анафема! теперь вот иные мужики от того слова, удуманного попами большими царскими, убродят от нас, дело обчее кидают... идет с нами тот, кто разорен до корня, кому уж некуда итти с поклонной головой, да кому из горького — горько. Я объехал, обошел народ... послушал и познал, а, познав правду, держу народ сказками, как бояра с патриархом сказками держат замест правды — кривду! и ты видал, знаешь два струга мои черной да красной? с патриархом де черной, красной струг царевичев и я им, старик, случитца, так до Москвы дойдя не скажу — что подеру у царя и патриарха не то лишь бумаги кляузные, а ризы их клятые! не скажу ему, что метну в Москву-реку царское место заедино с царем и все царское отродье изведу до кореня. От того и зову я народ сказками — в моих прелестных письмах к мужикам, мурзам татарским и иному народу я кличу лишь на изменников бояр — не на царя.

— Да ведь, атаманушко...

— Молчи, бахарь! кто держит власть над боярами? — царь! кто зовет битьца за домы свои? — царь! Куда пойдет царь без бояр, да воевод? Нече без них делать царю и быть не должен он!

Атаман умолк и еще больше надвинул к глазам шапку.

Заговорил старик, теперь не боясь нарушить думы атамана:

— Вижу я, батюшко Степан Тимофеевич, стал ты сугорбитца, великий груз пал тебе на сердце!

— То, дид, правда!

— А ты бойся с тем грузом тамашиться... утихомирься — и надо верить — худо — будет худо, добро — оно завсегда добро... ино и больших человеков, как ты, тот груз ране времени в сыру-землю гнетет... зор свой соколий не мути. Замутитца зор — и груз окаящий калеными щипцами охапит сердце!

Атаман поднял голову и сел:

— Вот, дид, удумал я!.. скинь-ко ты этот размахай казацкой, дам тебе полушубок, да сапоги крепкие и вот на дорогу. — Атаман протянул бахарю кожаный мешочек с деньгами: — Бери!

— Ой, батюшко! а и денег тут? чем я заслужил такое?

— Бери и молчи! пробирайся, старичище, на Москву хлебопросом и никто тебя нищего не тронет... в Москву зайдешь, сыщи в стрелецкой слободе на пожарище дом — там, сказал мне Лазунка, памятной мой, нынче выведены анбары каменны — за анбарами тот дом, до крыши врос в землю... в ем жонку сыщи, Ириньицей кличут. Скажешь от меня, и сын там мой... тебя замест родного примут — а буду на Москве — увидишь и узнаешь, как быть?

— Чую, батюшко! сапоги не надоть, полушубченко, не новой только, будет не лишним, в лапотцах убреду, онучи лишь приберу суконные.

— Добро! иди, да, где можно, бренчи песни. Последняя ты моя забава в пути и не расстался бы, да время движетца боевое, быть тебе со мной негде...

— Так уж и итти?

— Ночь проспи со мной, може, еще сыграешь, аль-бо сказку скажешь — в утре пойдут струги вверх до ровного места, снимут тебя от гор — и иди!

Разин встал, шагнул к обрыву, — загудело в горах и на реке от громового голоса:

— Фролка, дьявол! буде песни играть — зову-у...

— У-у-у-у, — гремело кругом.

Внизу зашумело. Затопали, заговорили:

— Батько!

— Батько!

Вверх по сходням к атаманскому шатру полезло бойко зелен... ...нее пятно. Атаман вернулся в шатер и лег, как лежал прежде. На звезд...



ном небе в разрезе шатра стояла высокая фигура в казацком жупане, круглое лицо вспыхивало пятнами огненных отсветов.

— Что потребно брату атаману?

— Бери, Фролко, из сотни Черноусенки пятьдесят лучших казаков, да Федьку Самарца, есаула, переправьтесь в Самару. В Самаре новой воевода кончен, а старой, вишь, жив... Царь его на суд хотел звать и пас, велел ему жить до зова в Самаре, а мы того Хабарова к суду возьмем народному, нашему и боярыню его толстобрюхую тож... Жалобились мне самарцы, когда я ихним берегом шол: «что де нового воеводу порешили, а старой лютее был и еще живет за посадом в своем дому нетронутой», так вы с Федьком — там его невеста есть, и я ту невесту ему много раз дать обещал, пускай ее сыщет возьмет, да едет на Дон в Кагальник, и я туда нынче буду, чтоб послать к бою Степана Наумова да с матерыми казаками за голудьбу пощитаться. Воеводу же Хабарова повесьте за ноги на ближней колокольне, аль-бо за ребро на крюк, и чтоб не сорвался. Боярыню, жену Хабариху, изнабейте порохом в непоказуемое место, фитиль приладьте — пущай на потеху народу из ее хорошо стрелит — пыж забейте потуже, чтоб крепко рвануло.

— Справим по указу, брателко Степан!

— Оттуда, отпустив Федько на Дон, с невестой поезжай ты с казаками вверх под Желтоводский Макарьев... пошел туда с хоперскими робятами есаул Осипов. Соединись с ним — пугните святых отцов — чул я, в монастырь тот бояра да купцы большие казну свою попрятали и многой харч — гоже будет взять то на нас — иди!

Фролка будто провалился беззвучно за дверями шатра.

Атаман приказал:

— А ну же, дид! скажи мне потешное что-либо... надвигаютца большие дела... сошелся мой мног народ, воеводские люди тож не дремлют, их полки наперед нас под Синбирск налажены — и малы дни, не до сказок будет! голоса твоего, кой любил я, не услышу... кто знает — гляди последний раз сидишь ты, мудрой, в моих очах?

— Да пошто так, атаманушко? захоти — и я с тобой поеду, коло боя буду — а изведусь, то пожил на свете, не жаль мне помереть близ тебя...

— Нет! итти со мной тебе не надо, а делай так, как указал я — теперь же сказывай.

— Так сказку? «А был видишь ли, батюшко атаманушко, поп глупой, да попадья неразумна тож! удумал тот поп со своего ли ума, аль же из пришлого на гарбузе жеребенка высидеть...»

— Добро придумал!

— «Да-а... куря де цыпляток высиживает из яйца малого, я же из такой большой местаковины безоблыжно усижу большое...» и засел на печи... попадья тому много рада: «уж коли попу этакое дело задастца, так разведем мы коней, за попом и я сяду!» Сидит поп, рясой оболокшись, день, два сидит и за неминучей, чтоб гарбуз не застудить, с печи не лезет...

много ли прошло с тое поры, как сел поп, неведомо, только в избе стал дух непереносимой... терпела, терпела попадья — не в моготу стало, на изгаду тянет, словами донимать была не мастерица, зато на руку скора! нажгла попадья до калена железа крюк в печи и с челесника [1]) попу сует.

— «Бес ты, не поп! всю избу до-нельзя извонял». И выгнала попа каленым крюком. Сама на брюхо пала, в избу дверь распахнула от нехорошего духу. Поп завернул тое место, батюшко, в полу да прибрал себе усохут с гарбузом на задворках у угла в соломке... Сидит и радуетца — «вишь, де зачало подо мной шевелитца, — скоро, чай, жеребчик загогочет?» а оно шевелилось спуста, от того, что гарбуз промзгнул [2]). Думая, поп во сладости вольной поветери, здремнул мало... а и выскочи на тую пору из-за угла небольшенький жеребеночек — матку, вишь, потерял и загогочи. Скочил поп, примстилось ему, что проспал цыплятя жеребячьего: «сам де неладной кожуру копытцем исклевал, из-под меня вывернулся да сгогатыват?». Как положено у попа под рясой порток не было, ряса в соломке завалилась — искать время не терпит, и ну за жеребеночком по полю ноги удерживать, аж зад меледит! рысистой был поп-от... сам голос подает:

«И-и-го-го! я твоя матка и батько»... Увидали попа с жеребенком мужики... с теих пор повелось у народа прозвище поп — жеребячья порода.

Рассмеялся атаман, поднялся, сверкнули под зеленым от углей костра подковки на сапогах, он встал за шатром на обрыве.

Около Самарской Луки серебряным измятым полукругом бежала Волга, в ее мелких волнах, вспыхивающих белыми огоньками на камнях горели, так показалось атаману, бесчисленные жадные глаза и раскрывались рты:

— Давно уж, мать Волга, голодом шевелишь свое чрево? а, ну! накормлю ж я тебя в удачу отборной человечиной.

Подумав, Разин глянул вниз реки, вправо. Там меж холмами и горными утесами горели сотни костров — теснились у огней люди в мохнатых одеждах, сверкали топоры, копья и рогатины, отдаленно ржали лошади. — «То моя сила? ну же, воеводы, опытки дадим друг другу... и безоружны мы, да ненавистью к вам богаты — и воля вольная повалит на вас стеной многоголовой!»

Кое-где на косах отмелей — на серебре чернели смоляные груды застрявших стругов, желтели расшивы, кинутые купцами. Бока расшив заворочены, закиданы песком, растрепанные упорной работой богатырской реки. Через реку, кидая по бокам жемчуг, плыли две темных будары на веслах, мотались головы лошадей и мерно двигались взад-вперед рыжие шапки гребцов.

— Фролка с товарищи в путь?

---

[1]) Челесник — чело у печи в курной избе.
[2]) Скверное — протух.

Покосился атаман вбок на угрюмую зубчато-косматую тень Девичьей горы, далеко кверху реки замутившей ясную ширь; нагнулся к обрыву, дрогнули тишина и заволжская, поемная даль от страшного голоса:

— Гей, моя удалая сарынь! поволил атаман гулять...

Атаман с сизым отсветом по черному, сверкнув подковками сапог, повернул в шатер. На развешенных темных коврах, спиной к Волге встала его большая неясная, как тень, фигура. Под кромкой красной шапки седеющие кудри казались золотистыми в свете бродячих огоньков.

XXIX. Синбирск.

Под Синбирском городом с кремлем на верху горы — рубленным, раздольна Волга, книзу кремля по овражистым скатам, террасами к Волге посад с торгами на деревянных лавках и скамьях. Посад тянется до хлебных амбаров, что на берегу — улицы осенью вязки. Между кремлем и старым городищем город ископан речкой Синбиркой, идущей по дну оврага, в десять саженей глуби откосы оврага. Выше посада ближе к рубленному городу «Кремлю» острог, в остроге, окопанном не глубоким рвом с однорядными надолбами, обрытыми наполовину землей, осадные дворы да приказная изба, в которой осенью, чтоб не плестись на крутую гору в кремль, по грязи и скользкой дороге, вершатся все городовые дела. По стенам острога деревянные башни четыре — пятая воротная, кирпичная, выше других. Взяв под Девичьей горой на двуста стругов людей и лошадей, чтоб по горам не уменьшать их силы, Разин плыл к Синбирску. Низко и хмуро осеннее небо, сыпали дожди, то ветер рванет и завоют жадные волны раздольной реки, потешаясь, полезут на борта стругов, заскрипят мачты и черпаки, повизгивая, шаркая, начнут отливать воду...

Атаман в виду города, а видно Синбирск далеко, вышел на нос своего струга. Протянул большую руку вперед, другую упер в бок, и все струги услыхали его грозный голос:

— Гей, голудьба Донская — чуйте! и вы все, обиженные, замурдованные голяки, мужики, горожане и будники — те работные люди, кто на будных станах [1]) ярыжил, обливаясь поташом, кто сгорел почесть до костей, от работы тяжкой и голода. Мститесь, пришло время — над боярами, мучителями вашими... Вот оно, их гнездо, на Синбирской горе, в рубленном городе! Сюда опаленные вашим гневом и ненавистью сбежались они от мужиков, казаков, от стрельцов и будников — сюда ушли они от тех, кто идет за вольную волю... Веду я вас сокрушить дворянство всей Волги и Поволжья широкого! побьем воевод — спалим Синбирск, и будет вам воля всегдашняя, будет торг бестамжоной, будет и земля вся ваша!

Со всех двухсот стругов грянули:

---

[1]) Будные станы — поташные заводы.

— Да здравит батько наш, атаман Степан Тимофеевич!

И снова заскрипели весла и песни раздались, заглушая рычание Волги.

Черней беззвездной спиной, все ниже садилась серая ночь и вражеский город утаивала во мглу.

Обойдя Синбирск на три версты, встав на Чувинском острове и разобрав по сотням, Разин высадил людей на берег в сторону старого городища. Для пеших и конных были спущены сходни, всадники, особенно татаре, прыгали мимо сходней прямо в воду — где глубоко их привычные лошади плыли, где мелко брели на берег. Волга, озлясь, подымала белесые мутно-светлые гривы тяжелых волн, волны, убегая в даль, укрытую тьмой, о чем-то по-своему грозились и рассказывали.

Атаман обозным приказал раскинуть шатер, стеречь караулу струги — запылали на берегу огни. Атамана не видно, жил его громовой голос:

— Держи строй! не иди вразброд!

В темноте, пронизанной лишь отсветами Волги, да огнями костров, ближе к кремлю зачернела и двинулась стена в белеющих, как острея тына шапках рейтар и драгун. Стена, двинувшись, дала выстрелы из пищалей в сторону огней:

— Пушки выдвинь — трави!

— Трави, браты, запал — батько!

В черном кровавые огни ухнули в сторону островерхих шапок. Шапки поверх черных лошадей задвигались, расстроились, видимо выбирая — где суше.

— Стрельцы! бей по коням.

Раздался залп разинцев из пищалей.

— Гер, татар пустить шире!

Мохнатые, сверкая мутно саблями, кинулись за отходящей воеводской конницей.

— Черноусенко, Харитонов! сыщите обоз, срубите постромки воеводины.

От общей черной и безликой лавы отделились два пятна все шире и шире — одно пошло вправо, другое влево... Высоко в сереющем сумраке забили на сбор и отступление барабаны, по откосам вверх, к рубленному городу, пестря мутно платьем цветным, звеня оружием, замоталась линия на лошадях и пеше часть войск воеводы Милославского.

Тут только послышался голос главного воеводы внизу среди белеющих шапок:

— Иван Богданыч! Ивашко-о! мать твою — паленая мышь, ушли? кинул нас! Гей, рейтары! ратуйте за великого государя, ворам не стоять противу!

Воевода на черной лошади, смешной, сутулый, скорчив ноги длинные в коротких стременах, свесив брюхо к луке седла, разъезжал с матерщиной, плевался; от плевков и дождя с его бороды, широкой и ровной

снизу как лопата, — текло. Текло и от трубки, которую князь почти не выпускал из зубов:

— Шишаки поправь! ратуй! мать вашу — паленая мышь!

Гонец черный на серееющей лошади пробрался к воеводе, в темноте чавкала от копыт лошадей мокрая вязкая земля — сказал что-то и поплыл к северу:

— Да что они, изменники? кинули меня, как паленую мышь! изменник Шепелев с немцами, дьяволы — сорви башку! — ругался князь.

Его рейтары и драгуны уныло мешались, падали с лошадей, тяжелые в бехтерцах, доспехах, валялись в грязи — татаре с гиком, как черные дьяволы, рубили их, добивали лошадей, завязших по брюхо.

— Занес, сатана! все Юшка Долгорукой тоже велел, сказал я, ждать света? нет!

Борятинский все сильнее матерился.

Когда немного рассвело, воевода увидал себя кинутым с горстью своих рейтаров и драгун, с трех сторон еще рубились с татарами, казаками его конные дальные. Ближние жались к обозу. Воеводский обоз завяз в грязи по трубицы телег, лошади от обоза были угнаны; на воеводские телеги с его добром и харчем, казаки, волоча, подсаживали своих раненых — раненые, мараясь в грязи, с кровью чавкая в липкой жиже, ползли к обозу.

— Отступай к Казанской! палена мышь — сорви им башку, государевым изменникам, трусам.

Воевода видел, что немцы командиры уводили на Казанскую дорогу недобитых рейтаров. По слову воеводы его уцелевшая сотня двинулась туда же. Воевода повернул вороного бахмата, хлестнул и поскакал за рейтарами, не выпуская из зубов трубки. Из-за обоза встал, когда проезжал воевода, большого роста стрелец, гулко стрелил из пистолета воеводского коня в брюхо на скаку, конь подпрыгнул, а воевода упал навзничь в грязь — конь, пробежав не далеко, засопел и свалился. Воевода, ворочаясь в грязи, матерился, с замаранной бородой и кафтаном от ворота до подола, встал на ноги; тот же стрелец, убивший коня, тяпая по грязи, спокойно взял воеводу, скрутил назади с хрустом костей руки и прикрутил тем же обрывком веревки к воеводской телеге. Ткнул кулаком в бороду воеводе, сказал:

— Дай-кось трубку, бес! постоишь без курева.

Вывернул из зубов князя крепко зажатую трубку, выколотил грязь, набил, закурил и, не оглянувшись, пошел выбираться на сухое место.

Мишка Черноусенко проехал мимо обоза, покосился на воеводу без трубки в грязи с головы до ног, не узнал князя Борятинского. Поехал дальше.

— Вот-те палена мышь — праздник! — сорви башку! ну мать их — помирать так помирать? — сволочь! Петруха Урусов до сей поры сам не спел и людей не дал... Милославской в штаны намарал — затворился, будто бы не поспел оного позже?.. дали от государя портки, да вишь

пугвицы срезали! эх, жаль! палена мышь... воры те знают, за что бой держат и бояре ведают, да вишь, к бою несвычны и битца много худче, чем с бабами в горницах валятца пьяными... жив буду — спор о холопе решить надо, кому на ком пахать? боярину на холопе, аль холопу на боярине! палена мышь? поганой едет в мою сторону и как у них заведено — пашню лошадь тянет... приглядит, убьет! ну да не красно одет я... вскинул князь глаза: на ближнем возу, на княжеском его сундуке сидит раненый казак, дремлет, зажимая рану в боку окровавленной рукой...

— Помирай, вор, — одним меньше! на мое добришко чорт залез, а хозяин в грязи мокнет...

Татарин высокий с двумя конями подъехал, метнув глазом кругом, соскочил в грязь, чиркнул ножом по концу веревки у воза и, не освобождая рук воеводы, втащил его на коня, гугниво сказал:

— Езжай за мной! — кинул поводья на гриву коня, чтоб не волочились. Повернул от обоза к берегу по-за амбары — князь ехал за татарином и видел, что едет поганый на Казанскую дорогу. Выправив на дорогу, татарин освободил руки князю.

— Держи поводья!

Молчал князь, поспевая за татарином, молчал и татарин.

Разин, устроив шатер, знал, что часть войск воеводских затворилась в кремле, — сказал:

— Делать мне нече! не мой час нынче — есаулы управят да мурзы с татарами... — Он сел в шатре и потребовав вина — пил.

К шатру атамана подъехал казак.

— Батько! многие бояра в рубленном городе сели в осаду... конные, что были с другим воеводой, избиты, а кто ноги унес, тот сшел по дороге к Казани. Воеводин обоз взят, его лишь чорта не сыскали, должно бежал с передними немчинами?..

— Не ладно! придетца за осаду братца, а подступы окисли — худо лезть.

Казак, чавкая копытами коня по грязи, изрезанной ключами, отъехал.

Черноусенко, рыская по месту боя, подъехал к воеводскому обозу, потный, в рыжей шапке, в забрызганном до плеч грязью жупане, остановился у телеги с воеводскими сундуками; спросил раненого казака:

— Не наглядел ли, сокол, тут где воеводы?

— Помираю, есаул!

— Не помрешь, лекаря пошлю! не видал ли кого в путах, — сказывали, стрелец скрутил?..

— В путах ту, у воза был один с виду стрелецкой десятник. Стрелец приторочил, истинно, трубку из зубов у его вынял...

— Он! где нынче такой?

— Татарин увел его связанного на конь — от телеги срезал, да на лошедь вздел.

— Надо в улусах поглядеть, а ты не сказывай атаману — один чорт в кремль ушол, другого пошто-то увели татаре?

— Не скажу... помираю вот — иные, вишь, померли.

— Пришлю лекаря! жди мало.

Черноусенко, хлестнув лошадь, уехал.

Жителей слободы воеводы загнали из домов в острог. В остроге жизнь горожанину, призванному в осаду, невыносима. Многие люди, где были леса близ и время теплое, разбегались, прятались в дебрях, чтоб только не быть осадным. Дворы осадные — с избами без печей, а где была печь, то у ней всегда дрались и били последнюю посуду из-за многолюдия. Дети, старики, больные, здоровые и скот — все было вместе. Иные воровали у других последнюю рухлядь. Служилые беспрестанно гоняли на стены или к воротам и рвам, не спрашивая, сыт человек или голоден, спал или нет? кто не шел, того били палками и кнутом. Когда на барабанный бой из приказной избы Синбирского острога ушли в рубленный город все приказные, сотники, десятники, стрельцы тоже — горожане нарядили своих людей проведать:

— Нет ли пожогу в посаде?

Когда стало известно, что посад цел и даже Успенский деревянный монастырь среди посада на площади не тронут — все пошли по домам, а иные направились в шатер атамана, поклонились ему и сказали:

— Грабители воеводы сбегли! тебя, батюшко, мы ждем давно.

— Служите мне! — сказал Разин:— бедных я не зорю и не бью, едино кого избиваю, то воевод, дворян и приказных лихих. Торг ведите — никто не обидит вас.

Разин приказал казакам, стрельцам занять острог, перевезти туда отбитый обоз воеводы Борятинского, собрать в острог хлеб и харч. Выкопать глубже рвы, кругом выше поднять землю к надолбам, вычистить колодцы для водопоя коней и людей на случай, если случится иным сесть в осаду.

В Тетюшах у приказной избы слез длинноногий брюхатый князь. Высокий татарин ждал, не слезая с лошади.

— Слазь! заходи, палена мышь, поганой в избу — услужил знатно.

— Я не поганой буду — воевода князь, я козак, имя Федько, прозвище — Шпынь!

— А то еще дороже, что крещеной ты, сорви-те башку!

В приказной, курной высокой избе, с пузырями вместо стекол, пропахшей потом и онучами, воевода сел к скрипучему столу на лавку. Шпынь в татарской шубе черной, шерстью вверх с саадаком за спиной, с кривой саблей сбоку стоял перед князем у стола.

— Перво, палена мышь — скажи, как ты домекнул, что я, а не иной кто привязан к возу? с ног до головы с бородой в грязи обвалялся —

кафташко люблю кой худче и не всяк во мне сочтет воеводу, да пошто гугнив и рожа бита с дырой?

— То долго сказать — надо короче, не люблю говорить...

— Ладно!

— Прибираюсь я, вишь ты, князь и воевода, убить вора Стеньку Разина.

— Добро, палена мышь! бойкой сыскался — да меня-то как наглядел?

— Наглядел и решил выручить — потому, чем боле врагов Разину, тем мне слаще и не един я прибираюсь — мы к ему подлезаем с Васькой Усом!

— Ну, о Ваське Усе ты смолчи — не ведают малые служилые люди... ведаем мы, воеводы, что творит твой Васька Ус в Астрахани и вот! стал ты мне своим — тебе скажу: князя Семена Львова, палена мышь, Васька Ус велел запытать и забить палками на дворе Прозоровского — к самому преосвященному митрополиту Иосифу прибирастца, грозит тем же, что князь Львову чинил, ты же говоришь о том разбойнике!

— Васька Ус, воевода князь, посылал меня на Москву к боярину Пушкину, а через того Пушкина ведом я стал государю — и первой царя известил о том, что Стенька Разин забрал Астрахань, а допрежь того Царицын и иные городы — и за то по милости государя был я взят в Москве на корм с конем... нынче он же, Васька, снарядил меня в татарску одежу, коня своего дал, да велел пристать к поганым, что идут с Разиным,— и пришол я под Синбиреск... иное сказал!

— Скажи, палена мышь! Васька Ус не взлюбил пошто-то вора атамана?

— То правда! — грызетца много.

— Все смыслю, парень! чего ты нынче хошь?

— Итти с тобой в казаках на Разина, там переметнусь к ним, убью его!

— Ну, сорви-те башку, казак, поспеешь с оным, повремени, так как мне тож ждать ту придетца.

— Теперь, воевода князь, нет со Стенькой удалых и ему чижиле много! удалые есаулы извелись в Кизылбашах: Сережко кривой, Серебряков, да сотник стрелецкой Мокеев, а последнего удалого Лазунку сына боярского я решил в Астрахани нынче.

— Ну, палена мышь, другом ты мне стал — увел от воров, а то, казак, быть бы тебе на дыбе! — много за тобой грехов и удал ты крепко... боятца наши воеводы таких, изводят, да на меня пал, я таких люблю... и ты о Ваське не сказывай боле, служи великому государю сам за себя.

— И то гарно! пойду куда пошлешь — я ничего не боюсь.

— Нынче же пошлю я тебя, минуя воеводу Казанского, к государю на Москву гонцом от меня самого...

— Сполню, воевода князь.

— Справишь в Москве, гони, сорви-те башку, не под Синбирск, а сюда в Тетюши... на Москве дашь мою цедулу дьякам Розрядного приказу и пождешь, коли ответ будет.

— Знаю тот приказ, князь.

— Эй, вы! палена мышь, вшивые, — сюда бумагу и чернил дайте...

Дверь из другой половины избы отворилась, вошел подьячий в чистеньком рыжем полукафтанье, безбородый с глуповатым лицом. Под ремешком длинные волосы к концам были жирно намаслены и расчесаны гладко. Подьячий никогда не видал воевод, кто бы в таком грязном, плохом кафтане сидел за столом и без крика, мирно беседовал с поганым, — он сказал князю:

— У нас, служилой, люди просят, а не кричат — да сам ты може вшивой?

Князь не обратил внимания на слова подьячего, он обдумывал отписку царю. Подьячий поставил на стол чернильницу с железной крышкой, с ушами, чтоб носить на ремне, дал гусиное перо князю, другое зажал в руке. Разостлав длинный листок, разгладил, чтоб не свивался, нагнул голову, стал глядеть, как пишет воевода. Князь писал, будто в его заскорузлых пальцах было не перо, а гвоздь — тяжело налегал и пыхтел, перо скрипело и брызгало. Оглянув еще раз кафтан на пишущем, старую саблю на грязном ремне, подьячий ближе нагнулся, сказал:

— А, дай-ко, служилой человек, я писать буду? мне свычно!

Князь наотмашь бросил в лицо подьячему замаранное в густых чернилах перо, крикнул:

— Я-те, палена мышь, велю рейтарам расписать спину, что год зачнешь зад чесать! дай другое перо — чорт!

Приказной, струсив, что-то сообразил, подсунул перо и отстранился, утирая лицо рукавом, с удивлением разглядывал бородатую, грязную фигуру, широкоплечую и сутулую.

Князь тяжело царапал:

«... Воевода и окольничей, а твой великого государя холоп, Юшка Борятинской, доводит: стоял я, холоп твой, в обозе под Синбирском, и вор Стенька Разин обоз у меня, холопа твоего, взял и людишок, которые были в обозе, посек и лошеди отогнал и тележонка, которые были, и те отбил и все платьишко и запас весь побрал без остатку. Вели, государь, мне дать судно и гребцов, на чем бы людишок и запасьишко ко мне, холопу твоему, прислать. А князь Иван Богданович Милославской маломочен, государь, был мне помогу чинить — с того бою ночного отошел, нас не бороня, да затворился в рубленном городе. Люди с ним к бою несвычны, кроме голов стрелецких, кои с им и со стрельцы к защите надобны... люди все дворяны те, что убежали, государь, из опаленных мужиками дворишок. А бой худой пал не от меня, государь, холопа твоего, налегал я повременить до свету, да боярин князь Юрий Алексеевич Долгоруково указал битца как воры на берег станут. Рейтары чижелы на конех и коньми чижолы по той мяклой земле, на мяклую от дождей

землю пал рейтаренин ему, государь, и не стать в бехтерце. Вор же Стенька Разин пустил в бой татар — у татар лошеди лекки и свычны, да и глазами к ночному бою поганые пособнее. Кругом же бунты великие завелись, государь, сколь их и пересчитать нельзе: Белый Яр, Кузьмодемьянск, Лысково, Свияжск, Чебоксары, Цивилеск, Курмышь, а идут на бунты все более горожане, да мелкой служилой люд, да работные люди будных станов с Арзамаса. Заводчики же пущие бунтам — казаки, стрельцы, рабочие и попы. Воевод убивают: на Царицыне побит воевода Тургенев, в Саратове Козьма Лутохин, в Самаре воевода кончен — Иван Ефремов да не съехавший прежний воевода Хабаров. Нынче убит воевода Петр Иванович Годунов, снялся с воеводства — бежал к Москве, его в дороге кончили воры и животы пограбили без остатку.

Еще, великий государь, жалобился я, холоп твой, жильцу Петру Замыцкому, которой прислан от тебя, великого государя, и нынче довожу от себя особо через казака своего на воеводу и кравчего князя Петра Семеновича Урусова; а в том жалоблюсь, государь, что сговорились мы с ним и положили на том, что итти ему ко мне со всем полком со мною, и он, холоп твой, не пошел, а подводы ему в полк присланы были, и я ему говорил, чтоб он со мной, холопом твоим, шел и мешкоты не чинил. Он на меня, холопа твоего, кричал с великим невежеством и бесчестил меня при многих людех и при полчанех моих, а говорил мне холопу твоему: «что де я тебя не слушаю, не твоего полку». И впредь мне, холопу твоему, о твоем великого государя деле за таким непослушаньем и за бесчестьем говорить нельзе. Повели, государь, кравчему князю Петру Семеновичу Урусову дать мне прибавошных ратных людей, и я, холоп твой, буду ждать твоего, великого государя, на помогу мне указу. Твой, великого государя, холоп, воевода князь Юрий Борятинской».

Грамоту запечатали, князь сказал Шпыню:

— Подкорми, казак, палена мышь, коня и сам вздохни! Грамоту береги. Сгонишь, дай дьякам, да коли ответ будет — пожди; не будет — не держись на Москве, поезжай в обрат, сорви-те голову. Будешь со мной, нынче не пишу о тебе и слова не молвю, потом за великую твою услугу почтусь и честью тебя не обойду. Вора Стеньку убивать не мыслю — потребно изымать его живым и на Москву дать, больше чести. Поди, ищи себе постой, где лучше, а пущать не будут, скажи: «придет де, палена мышь, князь Юрий, башку вам сорвет!».

Шпынь поклонился, ушел из приказной, подумав:

— Сговорено убить Разина — убью! слово держу, честь обиды не купит.

С приходом Разина слободы стали жить своей жизнью, только более свободной — никто не тянул горожан на правеж в приказную избу — ни поборов, ни тамги, ни посулов судьям и дьякам не стало — жители нижнего Синбирска радовались.

— Вот-то праздника дождались!

Лучшие слобожане со всех концов пошли к атаману с поклоном.

— Перебирайся, отец наш, в слободу, устроим тебя, избавителя, в лучших горницах, а что прикажешь, служить будут наши жонки и девки.

— Жить я буду в шатре — спасибо!

Собрал Разин есаулов, объехал с ними город, оглядел острог, надолбы приказал подкрепить, — рвы, вновь окопанные, похвалил. Поехал глядеть рубленный город — осадный, кремль. Сказал своему ближнему есаулу, похожему на него лицом и статью, Степану Наумову:

— Прилучитца за меня быть тебе — тогда надевай кафтан, как мой, черной, шапку бархатную и саблю держи, как я, да голоса не давай народу знать — твой голос не схож с моим, в бой ходи, как я... знаю, что удал ты, боевое строенье ведаешь и смел ты, Степан! — Присмотрев северный склон синбирской горы приказал: — Копать шанцы! взводить башни-остроги, а чтоб не палились, изнабить нутро землей. Делать ночью — в ночь боярам стрелять не мочно, а шанцы копать кривушами. По прямому копать, сыщут меру огню, бонбами зачнут людей калечить.

Крестьяне и чуваши с мордвой не любили быть без дела. Степан Наумов по ночам стал высылать мужиков на работы — копать шанцы, валы взводить да воду земляную отводить на сторону. Скоро шагах в полутораста от кремлевской стены был срублен острожек — башня. Утром из кремля целый день сменные пушкари били по вражеской постройке из пушек, сбить не могли — земля была плотно утрамбована в срубе. Острожек с приступками — казаки и стрельцы, переходя по шанцам с острожка, завели перестрелку с кремлевскими. Разин подъехал глядеть постройку своих — от острожка велел прокопать шанцы до кремлевских рвов. Из рвов прокопать и выпустить под гору воду. Ко рву ночами перетаскали новый сруб, возвели другой острожек, тоже набили землей. Второй острожек был выше и шире первого, его обрыли высоким валом. Выстрелами с приступков нового острожка были сбиты кремлевские пушкари и затинщики. Ко времени постройки второго острожка, разинские казаки да стрельцы розыскали в слободах вдовых жонок, поженились, иные без венца за деньги начали баловать и к жонкам ночью уходить из караулов. Когда появлялся в черном кафтане Степан Наумов, тогда все были на местах, других же есаулов, особенно вновь избранных, не боялись. Разин видел, как без боя на осаде, при многолюдстве городском портились воины, — тогда ему хотелось пить водку, а хмельное вышло все. Жители слободы варили брагу, но в городе мало было меду и сахару не стало. Горожане в дар атаману приносили брагу, он ее попробовал, сказал:

— С браги лишь брюхо дует!

Царский кружечный двор стоял без дела, винная посуда была в нем в целости, да курить вино стало некому. Целовальники разбежались и винокуры тоже.

В Успенском монастыре в слободе, с юго-запада деревянные кельи на каменном фундаменте. Вместе с оградой все было ветхое и церкви покосились. В конце двора один лишь флигель поновее, в нем кельи древних монахов да игумена Игнатия, хитрого старика.

— Низкопоклонник перед высшими! — говорили иногда про игумена монахи.

Келья игумена, просторная и чистая, в конце коридора. Приказав послушнику собрать к нему в келью нужных старцев — обошел игумен монастырь, везде оглядел и даже в кельи монахов заглянул — «не сидят ли, не лежат без дела?», вернулся к себе, по коридору шел, монахи кланялись, подходили к руке.

— Благослави, отец игумен!..

Прошли четыре старца в черных скуфьях и таких же длинных, как у игумена, рясах. Игумен широко перекрестился, общим крестом благословил старцев, упираясь посохом в пол, сел на деревянное кресло с пуховой подушкой, — другая лежала на скамейке для ног.

— Благослави, господи, рабов твоих старцев!

— Господи, благослави на мирную беседу грешных! — сказали в голос старики.

— Зов мой, братие, к вам. — Знаю я вас и верю вам. Тебя, отче Кирилл, Вонифатия с Геронтием и Варсанофия, брата нашего... разумеете, о чем сказать, о многом не глаголите без надобы. Спрошу я вас, старцы, кто нынче правит славным похвальным градом Синбирском?

— Бояра и князи, отец игумн!

— Ой, коли бо то истина? Царствует нынче в богоспасаемом Синбирске граде бунтовщик, богоотступник Стенька Разин, преданный, то слышали вы, многими иереями и святейшим патриархом анафеме!

Игумен перекрестился, замотались седые бороды на черном и руки, сложенные в крест.

— Богобойные князи, бояре изгнаны в сиденье осадное в рубленой город, но ведомо вам издревле, что лишь едины они боголюбивые мужи угодны и надобны царю земному... он же, великой государь, грамоты дает на угодья полевые, лесные, бортные со крестьяны. Даяния на обители за все идут от князей и бояр... Вот и вопрошу я вас — за кого нам молить господа бога? ужели за бунтовщиков, желать одоления ими родовитых? если поганая их власть, черная, укрепитца, то вор и богоотступник Стенька Разин даст им землю володети — тогда от обителей божиих уйдет земля... кто тогда возделывать ее будет? и вопрошу я вас, древние, паки — кого вы господином чаете себе?

— Пошто праздно вопрошаешь, отец игумн?

— Ведаешь — мы поклонны и едино лишь молим бога за великого государя!

— Ведаю аз! но, предавшись воли божией и молитве за великого государя, князи бояре и присные их, то нынче пуста молитва наша без дела государского.

— Как же мы, исшедшие в прах, хилые, будем делать государское дело?

— Как ратоборствовать противу крамольников?

— Разумом нашим, опытом древлим послужите, братие!

— Да как, научи, отец игумн?

— Ведаете ли вы, старцы, что кручной двор государев замкнут нынче и запустел? все выборные государские человеки утекли с него.

— Не тяни нас в грех, отец Игнатий!

— Знаем мы, что скажешь о монастырских виноделах!

— Тот грех, старцы, господь снимет с нас, когда мы послужим тем грехом на спасение веры христианской, противу отступников ее... Мы древни и не подобают нам блага земные, да без нашего греховного хотения обители господни раскопаютца... помыслим, братие! кто пасет древлее благочестие и веру — едино лишь мы, монаси?.. попы пьяны, к бунтам прелестью обуяны, не им же охранять монастыри божии и церкви!

— В пусте лежат суды на царевых кабаках, о том чул я...

— А ведаете ли, что воры много о вине жаждут?

— Ведаем, отец игумн — пытали монастырь — «нет ли де хмельного?».

— Ведаете ли, старцы, что у нас есть винокуры искусные?

— И то, как не ведать?

— Теперь еще вопрошу и закончим беседу, от господа пришедшую в разум наш! — знаете ли о зелии, произрастающем на поемных пожнях Свияги? тот крин с белой главой, стволом темным, именуетца пьяным.

— Я знаю тот крин с младых лет!

— Мне ведом он!

— Помозите, братие, — даю вам власть, наладьте в сей же день винокуров монасей на кружечной, да курят вино... будет от того обители польза. Наша работа не единой молитвой служить господу — вам же известна притча о талантах, ископанных в землю? — послужим на укрепу Русии, сыщется забота наша у господа... я же укажу послушникам многим копать то зелие — крин... глава его опала ныне, да она ненадобна, надобен ствол и корень. Иссушим сие, изотрем в порошок, а винокуры-монаси будут всыпать оное в вино, меды хмельные... не отравно с того хмельное, но зело дурманно бывает, ослаблением рук и ног ведомо. От хмелю дурманного работа бунтовщиков будет не спешная, время даст великому государю собрать богобойное воинство и воевод устроить на брань с богоотступником Стенькой Разиным!

— Тому мы послушны, отец Игнатий!

— Идем и поспешать будем!

— Не оплошитесь, старцы! не скажите кому о нашей беседе.

— Пошто, отец игумн, не веришь нам?

— Не млады есть, делами на пользу и славу обители мы приметны!

— За то звал вас, старцы, не иных! дело же тайное — сумление мое простите.

Старцы встали со скамей, поклонились. Четверо черных с белыми волосами и полумертвыми восковыми лицами медленно разошлись по кельям. Пятый сидел в кресле, склонив голову на рукоять посоха, дремал перед вечерней.

С Астрахани до Синбирска Волга была свободна от царских дозоров— к Разину в челне из Астрахани приплыл астраханский человек, подал письмо, запечатанное черным воском.

— А то письмо дал мне есаул твой, Степан Тимофеевич, Григорей Чикмаз — велел тебя дотти.

Разин читал письмо Чикмаза, писанное четко, крупно и уродливо:

«Батюшку атаману Степану Тимофеевичу! а как дал слово верной тебе до гробных досок твой ясаул Григорей Чикмаз доводить об Астрахани и сказываю:

Васька Ус показался тебе изменником! Ен, Степан Тимофеевич, в первые ж дни атаманить стал не ладно — запытал на смерть князь Семена и животы его пограбил. Побил всех людей, кого ты не убивал и убивать не веливал, а худче того учинил тебе, батько, что запорожской куренной атаман Серко прислал людей черкасов с тыщу с мушкеты и всякой боевой справой и с пушки с зельем да свинцом и тот справ у их изменник Васька побрал на зелейной двор [1]), а хохлачей отпустил в недовольстве, сказал: «Атаману нынче ваша помочь не надобна — за справ боевой благодарствую!». Когда же я зачал о том грызься и супротиво кричать, то меня кинули на три дни в тюрьму и ковать ладили, как изменника. Ивашко Красулин за него, Ваську, Митка Яранец тож, един Федько Шелудяк сбираетца в тай Васьки с астраханцами к Синбирску в помочь тебе. Васька Ус злой еще за то, что черной привязучей болестью болит, избит ею червы с кусами мяса от его сыпятца с под бархатов, а нос спух и ен ходит, обмотавши снизу образину свою платом шолковым, а гугнив стал и сказывает, когда много во хмелю: «что-де царя, бояр не боюсь! а атамана Стеньку Разина убью! пошто ясырка утопла от его? Мне-де помирать сошло, и я не помру, покудова Стенька жив». Нынче умыслил митрополита Осипа, старца Астраханского, пытать, да казаки и есаулы несговорны сказались. Ну, митрополиту туда и путь! Горько мне, что тебя, батько, лает пес Васька, а не всызнос мне оное, пришли, батюшко атаман, свою грамоту унять Ваську! только нынче ен не в себе стал и завсе хмельной. Доброжелатель и слуга ясаул твой Григорей Чикмаз».

Разин спросил астраханца:

— Думаешь, парень, в обрат?

— Думаю, Степан Тимофеевич!

— Сойдешь на Астрахани, Чикмазу скажи, что батько тебя помнит, любит и добра желает! цедулы-де не шлет, а сказал: «паси от Васьки Лавре-

---

[1]) Пороховой

ева себя и сколь можно, то уходи, куда совсем без вести... целоможен как станет батько от боев, и тебя друга везде для радости своей сыщет!»

Было утром, а к полудню Разин вышел на передний острожек перед кремлем у рва, гневный. Приказал втащить вверх пушки, бить по кремлю, не переставая, так что запальные стволы, которые огонь дают пушкам, накалились, и пушкари, поглядывая на атамана, не смели ему говорить: «что-де пушки после того боя в изрон пойдут!». Кремль во многих местах загорелся, часть стены обвалилась и тарасы [1]) с нее упали за стену. Тех, кто тушил пожары, били из пищалей с приступков острожка, стрельцы да казаки из мушкетов. У бояр много было в тот день попорчено и перебито людей. Разин велел собрать отовсюду издохших лошадей, не съеденных татарами, дохлых собак и иную падаль — корзинами на веревках перекинуть в кремль. Кремль отворять не смели, падаль гнила внутри стен. В шатер атаман вернулся стало темнеть, решил:

— Завтра и еще кончу! — пожжем кремль с боярами.

У дверей шатра стоял монах у бочки.

— Пошто ко мне?

— Да вот, отец игумн монастыря Успения наш указал — «прими, брат Иринарх, на кручном бочку, в ей вино пущай тебе стрельцы подмогут — дар атаману за то, что милослив к обители господней, не пожог ю, икон не вредил, не претил молящимся спасатись... казны-де у нас нет, так хмельное пущай ему — вино курят монаси от монастыря»...

— Вино, ежели доброе, то мне дороже всякой казны! только боюсь — изведете вы меня, чорные поповы тараканы?

— Ой, батюшко! в очесах твоих спробую — доброе вино... народ мног, упиваясь, восхволяет.

Монах открыл бочку, атаман дал чару.

— Ну же сполни! сказал — пей.

Монах зачерпнул вина, выпил покрестившись. Разин все же не верил, позвал с караула близ стоящего двух стрельцов и казака:

— Пил чернец — пейте вы!

Воины выпили по чаре:

— Каково вино?

— Доброе, батько, вино! доброе...

— На царевых много худче было!

Стрельцы и казак ушли. Разин, отпуская монаха, сказал:

— Игумну спасибо! приду к ему, то посулы дам на монастырь.

— Вкушай во здравие! нынче кружечной справили, а только часть напойных денег повели, отец, брать в казну обители. Строеньишко обветчало.

— То даю — берите!

Монах ушел.

С этого вечера Разин начал пить. На приступы к кремлю не выходил. К рубленному городу ходили двое есаулов: Степан Наумов

---

[1]) Ящики из бревен, набитые землей, на колесах.

ι Лазарь Тимофеев — оба они один сменяя другого на осаду ставили ιюдей. Иногда ходил за них есаул Мишка Харитонов. Черноусенко атаман ιозвал:

— Плыви, Михайло, до Царицына, возьми людей в гребиǃ в Цари-ιыне приторгуй лошедь, гони на Дон и повербуй охочих гулебщиков, ιеди сюда, или же, где прилучитца нашим боевая нужа, орудуй там.

Черноусенко утром сел в лодку с гребцами.

Из-за Свияги с Яранской стороны от Московской дороги в сером 'умане все выпуклее становились белые шапки, колонтари, бехтерцы ›ейтаров и драгун. Самого воеводы Борятинского среди боярских детей ι разночинцев в доспехах не было, рейтар вели синие мундиры — немцы, ;апитаны. Воевода ехал сзади с конными стрельцами в стрелецком кафта-ιишке, в суконной серой шапке с бараньим верхом. Татаре и калмыки ιрисмотрели воеводскую рать первые, когда еще лошади рейтар в дали .еличиной казались с кошку.

Разин лежал в шатре на подушках, покрытых коврами в кармазин-'ом полукафтанье, за кушаком один пистолет, без шапки лежал атаман пил. Татарченок, пестро одетый в шелк и сафьянные с узорами чедыги, рислуживал ему — Разин знал татарский и калмыцкий говор. В хмель-ом полусне атаман видел себя на пиру у батьки крестного Корнея.

— Дождался хрестника, сатана, чтоб дать его Московии?.. ха, ха, ха! вот — поведу рукой да гикну, подыметца голытьба — посадит тебя воду!

Дремлет и видит атаман: пришли на пир матерые казаки воору-сенные: Осип Калуженин, Михаил Самаренин старый, хитрый рыже-атый, Логин Семенов. Принесли, гремя саблями, кандалы.

— Добро, атаманы молодцы! а ну, будем ковать хрестника! — ричит Корней, трясет седой головой с белой косичкой, дрыгает в ухе итрого старика серебряная серьга с изумрудом. — Гей, коваля сюда!

Атаман улыбнулся во сне, нахмурил черные брови и вскинул глаза. ׳ шатре перед ним стоит его помощник есаул Степан Наумов:

— Батько! воевода с войском за Свиягой.

— Дуже гарно, хлопец! сон я зрел занятной — будто на Дону... удто бы на Дону, Корней хрестной, кричит велит меня в железа овать.

— Тому не бывать, батько! а чуешь, сказываю, воевода к Свияге зижетца и рать его устроена.

— Лень мне, Степанǃ не охота великая, не мой нынче черед — твой, :ди порядок у наших, прикажи готовитца завтра к бою... воевода сколь :рст от нас?

— В трех, аль бо в четырех.

— Стоит ли, движется к переправе?

— Стоит — не идет к реке.

— Добро! в ночь переправу не затеет, а ночь скоро — к ночному бою мы с него охоту скинули... вот! надень мою шапку, кафтан черной, коня бери моего и гони народ чувашей, мордву; пущай перед Свиягой роют вал во весь город. В валу проломы, для выхода боевому народу прогалки, — у прогалков рогатки из рогатин и вил железных на жердях, чтоб когда свои идут ли, едут — рогатки на сторону! чужие, тогда рогатки вдвинуть, занять ими прогалки. Сколь у нас пушек?

— Пушек, батько, мало! каменные от многого огня полопались, деревянные к бонбам, кои погорели на осаде под рубленным городом, от их приметов — у железных и медных в полу всего чета измялись от гару запалы...

— Чего же глядел, Наумыч, не чинил?

— Оружейников нет, а слободские кузнецы худо справляют... и еще мекал — воеводе не справитца на обрат в месяц.

— Так вот, Степан! за твою поруху наши с тобой головы гляди пойдут? я не о своей пекусь... моя голова на то дана — твою жалею! без пушек пол боя утеряли — не меряясь силой.

Атаман задумался, есаул стоял, потупясь, потом сказал:

— Мыслил я, батько, выжечь бояр из кремля и в верхний город народ затворить — тогда мы ба сладили без пушек... в городе рубленном пушки есть и справ боевой...

Разин взмахнул рукой, кинув чашу, татарченок поймал брошенное, налил вина, ждал зова.

— А, ну, сатана царева, — будем мы с тобой битца саблями, не станет сабель, так кулаками и брюхом давить! дадим же память воеводам... Ты, Степанко, в день покудова выкинь вал повыше, копай ров во весь город от Свияги, рвы рой глубже, а вверху вала колья крепкие. В ночь с Волги в Свиягу переволоки струги, те, что легше, на стругах переправим пеших в битву, конные переплывут, а татара и калмыки не сядут в струги, они завсегда плавью. Лазаря бери в помогу, знай, коли же ставить придетца и самому держать ратной строй: татар ставь справа боя калмыков слева, в середку казаков. Казаков не густо ставь, чтоб меж двумя конными был пеший с копьем и карабином от вражих конных. Калмыки болваномолы, татара мухаммедовой веры и завсе меж ими спор — потому делить их надо или свара в бою, тогда кинь дело! они же дики да своевольны. Еще — кто из упрямых мужиков горожан ли, чуваши вал взводить не пойдут, того секи, саблю вон и секи! иножды скотина моста боитца и тут же брюхом на кол лезет — ту скотину крепко бьют! секи.

— Не пей, батько! прознали наши, что монахи отравное зелье в вино мечут... на моих глазах много мужиков и черемисы меж себя порубились спьяну. Сон брал на работе — свалитца человек и спит не добудитца.

— То оговор на чернцов, Степан! вино их пью сколь, а цел. Воевода к переправе не придет, бой завтре — седни пью!

Есаул, одетый Разиным, поднял народ — все шли и работали без отговорок, усердно. Перед Синбирском ночью с запада в подгорье зачернел высокий вал с узкими проходами, в проходах рогатки из вил и рогатин. На Свияге с Синбирского берега колыхались пятьдесят малых стругов и десять больших, изготовленные для переправы войска. Воевода к реке не двинулся, стоял, как прежде.

С рассветом в тумане, от мелкого дождя, Разин высадил свои войска за Свиягой.

Раздался его громовой голос:

— Гей, браты! помни всяк, что идет за волю... сомнут нас бояра, и будет снова всем рабство, кнут и правеж!

Грянула тысяча голосов:

— Не сдадим, батько!

— Татара! бейтесь не жалея себя — ваших мурз, когда побьем бояр — не будут имать аманатами! ясак закинут брать — будете вольные и молитца зачнете по-своему, без помехи!

Татарам крикнул Разин на их языке. Калмыкам тоже закричал по-калмыцки:

— Вы, тайши, и рядовые калмыки! Схапите свою вольную степь и волю отцов, дедов — бейтесь за волю, не жалея себя, бейтесь за жон, детей и улусы!

Стена войска воеводы стояла не двигаясь. Ударили в литавры, и разинцы кинулись на царское войско.

Послышался голос воеводы:

— Палена мышь! середние раздайсь.

— Гей, раздвиньсь мои — калмыки влево, татара двинь своих вправо-о!

Те и другие по команде Разина раздались в ширь. Бухнули воеводские пушки, но мало кого задели ядра, зашумела, забулькала вода в Свияге от царских ядер.

— Ломи в притин, браты!

Битва перешла в рукопашную. Разин среди своих появлялся везде — добрый Лазункин конь носил его, краснела шапка атамана тут и там, перевитая нитками крупного жемчуга. Лазарь Тимофеев, Степан Наумов командовали казаками, рубились не жалея себя. По убитым лошадям, воинам шли новые с той и другой стороны — одни исполненные ненависти, другие давшие клятву служить царю. Стрелы татар и калмыков засыпали саранчей вражьи головы. Рейтары, пораженные в лицо, носились по полю мертвые на обезумевших конях, утыканных стрелами. Лежали со сбитыми черепами косоглазые воины в овчинах, зажав в руках сабли, мокрый туман поля все больше начинал пахнуть кровью. Ветер дышал по лицам людей свежим навозом развороченных конских животов. Воронье, не боясь боя, привыкшее, слеталось с граем черными облаками. Гремели со стороны воеводы

пушки, срывая головы казаков, калеча коней. Редко били пушки атамана, их было четыре, гул их терялся в стуке, в лязге сабель по доспехам рейтар и драгунов. С той и другой стороны крутились знамена, били барабаны, литавры — знамена падали на уплотненную кровавую землю, ставшую липкой от боя, вновь подымались древки знамен, снова падали и опять плыли над головами, бороздя бойцов по лицам... День в бою прошел до полудня, вспыхнуло где-то в сером тусклое солнце — подались враги в поле от Свияги и как бы приостановились, но гикнули визгливо татаре, кидаясь на драгун, калмыки засверкали кривыми саблями на рейтар — застучало железо колонтарей. Иные казаки, кинув убитых лошадей, о-бок со стрельцами рубились саблями, а где тесно — хватали врагов за горло, падали под копыта лошадей, подымаясь, снова схватывались. Воевода отъехал на ближний холм, плевался, матерясь, — по бороде широкой русой с проседью, текло. Он снял шапку, шапкой обтер мохнатую, потную голову, косясь влево. Огромного роста стрелец в рыжем кафтане без шапки, в черных клочьях волос, с топором, коротким спереди за кушаком, встав на колено, подымал тяжелый ствол пищали выстрелить, фитиль отсырел, пищаль не травило. Воевода крикнул:

— Стрелец! палена мышь, сорви башку — кинь свой ослоп к матери, чуй!

— Чую, князь воевода!

— Я знаю тебя! это ты пушочной станок на плечах носишь, тебя Семеном кличут? сорви-те...

— Семен сын Степанов — Алаторец я!

— Вон, вишь, казак стоит! проберись к ему, молви: «Воевода-де не приказал делать того, чего затеял ты... крепко бьютца воры, да знаю — сорвем мы их государевы люди, в Свиягу кинем — атамана живым уловить надо!»

— Чую, князь батюшко! только не казак он — поганой, вишь?

— Казак, палена мышь — звать Федько!

— Ты, батюшко воевода, поволь мне за атамана братца? уловлю вора, да на руках к тебе принесу!

— Не бахваль, палена мышь, сорвут-те башку! делай коли, и великой государь службу твою похвалит.

— Иду я!

Стрелец, кинув пищаль, полез, отбиваясь в свалке топором, к казаку, обмотанному с головы, как разинские татаре, по шапке чалмой. Казак сидел на вороном коне, от коня шел пар. Кругом дрались саблями, топорами и просто хватались за горло, валились лошади, брякало железо, но казак стоял, как глухой к битве, стрелец тронул его за колено.

— Ты Федько?

— Тебе чого — Федора?

— Воевода приказал не чинить того, что удумал ты: «атамана-де живьем взять надо!», и я на то послан.

— В бою — никому не праздную! не отец мне твой воевода — поди, скажи ему!

— А, нет уж! в обрат жарко лезть и без толку, краше лезти вперед.

— Ты брюхом при, Федора! брю-у-хом!

— Гугнивой чорт! воеводин изменник.

Шпынь, наглядев прогалок меж рядами бойцов, хлестнул коня, въехал к разинцам.

— Своих, поганой? куды-тя чорт, поперек!

Шпынь не отвечал разинцам, ловко отбиваясь саблей от встречных рейтаров, встающих с земли без лошадей.

Недалеко загремел голос Разина:

— Добро, соколы! еще мало — конец сатане!

От голоса Разина дрогнула стена копошащихся, пыхтящих и стонущих людей, подаваясь вперед:

— Да здравит батько Степан!

— Нечай — ломи!

— Нечай-и!

— Нечай — ломи!

За волю, браты!

— Круши дьяволов!

На холме, скорчив ноги в стременах, матерился воевода, стрела завязла в его шапке, воевода, не замечая стрелы, плевал в бороду.

— Не сдавай, палена мышь! не пять, государевы люди, — ратуй — ну, Ивашко! где ба с тылу вылазку, он, трус, сидит куренком в гнезде?.. ломят воры! ой, ломят, палена мышь, сорви им башку! придетца опятить бахмата? мать их поперек...

Воевода съехал с холма глубже в поле. Рейтары и драгуны расстроились, отъезжали спешно, татаре гикали, били воеводскую конницу.

— Овчинные дьяволы! сыроядцы, палена мышь — штаны да сабля и справ весь, лошадь со пса ростом, а беда, беда! ужли отступать? не пять, мать вашу поперек! голос вора проклятой — не спуста грому окаянному верят люди — идут за ним в огонь? не пять, палена мышь — тьфу, анафемы! Надо еще податца. — Умереть не страшно, да дело будет гиблое — разобьют в куски...

Из груды убитых в железе, кафтанах и сермягах, тяжко подымаясь, встал на колени рейтар, выстрелил, видя яркое пятно перед глазами и упал в груду тел, роняя из руки пистолет. Пуля рейтара пробила Разину правую ногу, конь его осел на зад, та же пуля сломала коню заднюю ногу. Конь жалобно заржал, атаман с болью в ноге вывернул сапоги из стремян, скатился, конь заметался около него, пытаясь встать. Атаман поднялся в черном бархате, без шапки, над головой свистнула сабля — ожгло в левую часть головы — Разин упал, над ним звонко крикнул знакомый:

— А, дьявол!

К лицу лежавшего в крови атамана упала голова, замотанная в чалму, он вскинул глаза и крикнул, разглядев упрямое лицо:

— Шпынь! — от крика ударило страшной болью в голове, атаман потерял сознание.

— К воеводе! тебя мне надоть.

Семен Степанов, шагнув, поднял легко ногами вверх большое тело атамана в черном. Над головой стрельца свистнула пуля, рвануло сапог атамана, из голенища на шею стрельцу закапало теплое.

— Рейтары государевы! не бей! атамана взял к воеводе... эй, не секи, раздвинься!

— Дьявол большой! — крикнул звонкий голос.

Великан стрелец, не выпуская из рук атамана, осел к земле, Степан Наумов рассек ему голову сверху вниз до грудной части, еще один труп лег в сумеречную массу людей и лошадей, простертых на равнине битвой. Татаре с гиком и визгом гнали от места, где лежал Разин, рейтар. Степан Наумов прыгнул с лошади, содрал с себя кафтан синий, завернул с головой безвольно лежащего атамана, взвалил на лошадь, прыгнул сам в седло, повернув от места боя к Свияге.

— Беда! — сказал он, проезжая мимс Лазаря Тимофеевича: — Шпынь батьку посек.

— Пропали! дать ли отбой?

— Тьма стает! сами отойдут в струги.

Не слыша команды атамана и есаулов, разинцы отступились, кинув бой. Воевода, собирая растрепанную конницу, не преследовал их — разинцы не спешно в порядке погрузились в струги, оставив раненых, знамена и литавры, взятые атаманом на Иловле с царских судов. Кинули переставшие стрелять четыре испорченных пушки. Степан Наумов положил с Лазарем в челн закрытого атамана, Разин был в беспамятстве. Наумов отошел к казакам:

— Крепите, браты, на Свияге у Синбирского берега струги, потом уведем их в Воложку, сами укройтесь за вал, в проход — рогатки, караул тож! Воевода не пойдет ночью за реку — помяли его и тма.

Воевода вгляделся к Свияге. Темнело скоро, все становилось черным, лишь кое-где тускло светились кинутые бойцами сабли, да пушки топырились на кривых изуродованных станках.

— Должно, палена мышь, не мы биты? они! да... у воров неладно!

Борятинский поехал на черном потном бахмате к Свияге. Рейтары, уцелевшие драгуны, стрельцы и даточные люди ехали, брели за воеводой.

— Еще день рубились, палена мышь, спасая боярское брюхо! сорви-те башку... звали битца за домы свои, а их, трусов, в «Нетях» сидит, одних городовых жильцов с тыщу — эй, у Свияги огни жги! Ночевать будем, пуговицы к порткам пришьем, да раны замотаем онучами...

ю Свияги сколь засек воровских брать пришлось, да у Свияги трижды олонее нахлебались!

Стрельцы и ратники натащили к берегу реки дерева, застучали опоры, вспыхнул огонь, мотая тени людей, лошадей, пушечных станков. Іа огни выходили раненые воеводины и разинцы, иманные рейтарами. Борятинский здесь не боялся ушей, солдаты воеводу любили и языков ie было пересказать его слова. Он плевался, громко материл Юрия Долгоорукого, Урусова и Милославского — царскую родню:

— Заутра, палена мышь, перейдем Свиягу, воры кинут подгорье — іез пушек за валом делать нече — у нас бонбометчики, сорви башку! Тогда Милославской вылезет из своего куретника, а ты ему подавай тож естъ боевую, палену мышь! зачнут сеунчеев к царю слать грамота за рамотой... Сами же, сидя в тепле, поди зады опарили? Мне-ка царские дьяки отписали: «Пиши де через кравчего, через Казань, сам де не суй юс!» Анафемы!

У огня на толстом бревне князь сел, сняв шапку, вытащил из нее татарскую завязшую в сукне стрелу, бросил в огонь.

— Православному, палена мышь, поганой наладил в образ ткнуть, ia высоко взметнул?

Борятинский, отогреваясь, топырил длинные ноги в грубых сапогах, іяжки его, черные от пота лошадиного, казались овчинными, к ним густо іалипло лошадиной шерсти. Разинцев сгоняли в один круг, их никто іе стерег — бежать было некуда — впереди река, сзади враги едят, сидят, іежат или греются у костров. Князь поднял злые круглые глаза, почти не іигающие, крикнул во тьму, маячащую пятнами людей, лошадей, оружия:

— Палена мышь! нет ли здесь кого, кто видал казака в татарской праве?

Вышел высокий тонкий драгун в избитом бехтерце, хромой, с ногой, еревязанной по колену тряпкой.

— Я, воевода князь, видал такого!

— Ну, сказывай!

— В тое время, как вору атаману ретаренин стрелил в ногу, да ево ошеди сломал пулей ногу же и вор скатился с лошеди, а казак-татарин во посек саблей в головы, воровской есаул мазнул того казака, с плеч олову ссек...

— Голову ссек?!

— Да, воевода князь!

— А ты чего глядел, палена мышь?

— Выбирался я с под убитых, наших гору намостили, как с атаманом іли, а выбравшись, чуть не сгиб, поганые на то место пали тучей и наших огнали в остаток.

— Жаль казака! не послушной, зато не холоп, целоватца не полезет битвы не боялся, палена мышь, поди, да вот! кликни, кого леккого на онь, скажи: воевода, сорви-те, указал обоз двинуть к огням, корить людей и лошадей надо.

— Да, кабы у вора пушки? сколь у нас, тогда в заду ищи ноги! нечего было бы нам делать, пришлось бы ждать... Казак кончен, да атамана изломил! скоро в бой не наладитца... постом наладитца, да сила разбредетца — ладно! нынче битва наша, не думал я... сорви-те башку! отряхнули с шеи того, кем бунты горят, а тех, безликих, передавлю, как вшей!..

Заскрипели колеса обоза, потянуло к огням дегтем и хлебом. Заржали голодно лошади. Князь покосился на ближний огонь, там сплошь синели мундиры с желтыми пуговицами, блестели шишаки, безбородые люди курили, пили водку, говорили на чужом языке.

— Палена мышь! немчины тараканьи лапы греют? И встал — эй, плотников сюда! ставь к берегу ближе виселицы.

Засверкали, застучали топоры, в черном стали вырастать белесые столбы.

Воевода ходил, считал:

— Сорок! буде, палена мышь, можно по два вешать на одной! Ну-ка воров, казаков вешай, стрельцов сечь будем, подводи.

Стрельцы, из царских, стали подводить и выталкивать перед воеводу к ярким огням раненых стрельцов и мужиков с горожанами, чувашей и татар. Воевода из старых ножен выдернул дамасскую саблю; сверкнула сабля — раз, скользнула с плеч разинца голова, затрещала в огне костра.

— Скотина удумала лягатца? палена мышь! а справы боевой нет? лаптем вошь не убьешь!.. пушек нет — рогатины да вилы?... Дай другово!

Снова сверкнула сабля Борятинского, тело стрельца осело, вниз по телу сползла голова к ногам воеводы, воевода пнул ее, она откатилась:

— Синбирск строил Богданко Матвеев сын Хитрого! вы, воры, палена мышь, осенью с подгорья ладили кремль забрать? сорву башку!

Голова третьего разинца покатилась...

— Заманную Богданко вам ловушку срубил!

Скользнула на земь голова четвертая.

— Брать Синбирск с подгорья едино лишь хмельному можно, палена мышь! проститца, глянет вверх, прочь побежит!

Слетела пятая голова.

— С запада, воры, итти надо было! От этой воды — Свияга выше Волги буровит! давай сорви-те, долони в бездельи ноют!

Снова стрелец перед воеводой, рослый, широкий в плечах, руки скручены назад. Воевода занес саблю, опустил, шагнул ближе, глянул в лицо, крикнул:

— Дай трубку мою, палена мышь!

— Ишь ты объелся человечины! руки в путах, как дам?

— Снимите путы, эй!

Помощники воеводы срезали веревку с рук стрельца, он тряхнул правой рукой, повел плечами. Вытащил из штанов кисет, трубку, набил трубку табаком, шагнул к костру — закурил, плюнул и, выпустив носом дым, сказал:

— Дай покурить, бородатой чорт! на том свету отпоштвую — нынче ебе табак откажу, бери капшук!

Трубка пылала в зубах стрельца; воевода попятился, взмахнул аблей:

— Докуришь после!

Голова, сверкнув в черном воздухе зажатой в зубах трубкой, тяпнула лизко. Борятинский нагнулся, кряхтя выдернул из мертвых зубов трубку, бтер чубук о полу окровавленного кафтана, сел на свое прежнее место огню, растопырив длинные ноги, свесив живот, стал курить, по его кровавленной бороде от трубки потекло. Глядя редко мигающими глазами огонь, не поворачивая головы, приказал:

— Стрельцов секи! казаков вешай!

Новые виселицы скрипели, болтались на них, крутились и дрыгали оги в синих штанах, сапогах с подковками — лиц не видно было. У огня едалеко тяпали катились головы разинцев, с удалыми за полночь шла расправа.

Переправясь через реку, есаулы перенесли Разина в его шатер Волге, поставили кругом караул и двое верных на жизнь и смерть оварища зажгли все свечи, какие были у атамана, обмыли глубокую ану на его голове и лицо, замаранное кровью — лишь в шадринах оса и в похудевших щеках оставили черные пятна. Засыпали рану толеным сахаром, а обе ноги, простреленные насквозь пулями (восемь винцовых кусков на фунт), раны кровоточили; из них есаулы найдеными клещами вытащили куски красной штанины. Татарчонок крепко пал, они закидали его подушками, чтоб не мог, проснувшись, видеть, каков таман, и пересказать. Перевязали когда, оба закурили, посматривали — ровоточат ли раны. Атаман открыл глаза, хотел сесть, но упал на ковры.

— Лежи, батько!

Разин слабо заговорил, беспокойно озирая шатер:

— В шатре я? а битва как?

— Чорт с ей — битвой! — наморщась и роняя слезы и трубку з зубов, ответил Степан Наумов: — живых взяли, мертвых кинули... юди, кои в бой справны, тут в Синбирске за валом с коньми, иные в остроге репятца — завтре надо бой... воевода для раненых по-за Свиягу виселицы гавит... Шпынь тебя, проклятой изменник, посек — убил я его!..

— Помню сбитую голову... не честно — я его рукой, он же, пес, аблей ответил?..

— Сколь раз, батько, говорил тебе: носи мисюрку шапку и панцырь, нет того, в гущу боя не лезь!

— Верил, что пуля, сабля не тронут...

— Вот твоя вера! дорого сошла Синбирск и все пропало...

— Э, нет!.. надень мой кафтан, Наумыч, шапку, саблю бери мою, асай народ! Мне же не сесть на конь...

Заговорил Лазарь:

— Тебя, батько, нынче беру я в челн, десяток казаков добрых в греби, оружных и кинемся по Волге, до Царицына... там вздохнешь. Лекаря сыщем — и на Дон.

— На Дону, Лазарь, смерть! сон как явь был мне — ковали меня матерые, а пущий враг — батько хрестной Корней... я же и саблю не смогу держать — вишь, рука онемела... сон тот сбудетца, не можно хворому быть на Дону...

— А сбудетца ли, Степан Тимофеевич? я крепил Когальник, бурдюги нарыты добрые... придет еще голудьба к тебе, и мы отсидимся!

— Эх, соколы! бояра нынче изведут народ... голова, голова... ноги ништо! безногий сел бы на конь и кинулся на бояр... голова вот... мало сказал... мало...

Разин снова впал в беспамятство, начал тихо бредить.

— Делаю — как указал, батько!

Степан Наумов поцеловал Разина, встал, надел один из его черных кафтанов, нашел красную шапку с кистью, жемчугами, обмотал голову белым платом под шапкой.

— Пойду сколь силы есть спасать людей наших!

Лазарь Тимофеев, обнимая друга есаула, сказал:

— И мне, брат Степан, казаков взять да челн наладить — спасать батьку, во тьме мы еще у Девичьей будем.

— Прощай, Лазарь!

Есаулы поцеловались и вышли из шатра, Наумов сказал:

— Надо еще в Воложку со Свияги струги убрать?

— То надо до свету!

Две черных фигуры пошли одна на восток, другая на запад.

Черная с синим отсветом Волга ласково укачивала челн, на дне которого, недвижимый, на коврах, закрытый кафтанами, лежал ее удалый питомец с рассеченной головой и онемевшей рукой для сабли, без голоса, без силы буйной.

Отрывок отписки войсковой Донской старшины царю: «.......... во 179 году, по твоему великого государя указу и по грамотам ходили мы, холопы твои, под Когальник город, для вора Стеньки Разина и для ево брата Фролка, и милостию государь божиею, а твоею государскою молитвою и счастьем того вора изменника, Стеньку, и брата ево, Фролка, в Когальнику взяли и отвезли их к тебе, великому государю. А как тово вора изменника в Когальнику взяли и у нево вора в тож время взяли три аргамака серых, да три ковра на золоте и которые, государь, люди с тем вором изменником Стенькою на Волге были, и они нам холопям твоим в роспросе сказали: «что-де те аргамаки и ковры везли из Козылбаш в бусе к тебе, великому государю, к Москве купчины и те, государь, аргамаки и ковры послали мы, холопи твои, к тебе, великому государю, к Москве. А с сею, государь, своею отпискою послали мы, холопи твои, к тебе, великому государю, к Москве бити челом о твоем, государском жалованье, войскового

своего атамана Логина Семенова, да ясаула своего войскового Григорья Кузьмина, а с ними рядовых своих казаков...»

И после того они ж, стольник и дьяк, им же атаманом и казаком в кругу говорили: Служа великому государю, над изменником, над Стенькою Разиным промысл чинили и его, вора, к Москве прислали и зато их, атаманов и казаков, государь жалует же милостиво и похваляет, и объявили им великого государя жалованье, деньги и хлебные и пушечные запасы...

Отрывок конца приговора Степану Разину и брату его Фролке:

«...Службою и радением войска Донского атамана Корнея Яковлева и всего войска, сами вы, воры и крестопреступники, Стенька и Фролко пойманы и привезены к Великому государю к Москве, в роспросе и с пыток в том своем воровстве винились. На такие ваши злые и мерзкие перед Господом богом дела и к великому государю царю и великому князю Алексею Михайловичу всея великие и малые и белые Росии самодержцу за измену, и ко всему Московскому государству за разоренье, — по указу великого государя, бояре приговорили казнить злою смертью, четвертовать».

Случай на Бассейной улице.

(Из хроники Ленинградского губсуда).

А. Толстой.

На первый взгляд происшествие на Бассейной улице ничем особенным не отличалось от десятка подобных же нарушений уголовного кодекса. Любопытство к этому делу появилось, когда следователь, прокурор и судьи увидели лица участников преступления, услышали их откровенные показания, вникли в детали и от них поднялись к самым широким обобщениям. Решение губсуда прошло под несомненным впечатлением речи защитника. Он начал так:

«Нити преступления нужно искать там, откуда была привезена фильма, которую с таким, я бы сказал, религиозным вниманием пять раз смотрели подсудимые... Позвольте отойти немного назад и нарисовать истинную картину всего этого происшествия». . . . .

. . . .

Речь защитника была по-деловому суха. Мы позволяем себе несколько ее живописать.

В черных, как ночь, широких и мокрых тротуарах отражалась бессонная жизнь Больших бульваров. По асфальту, по отраженным огням, по кровавым от огней лужам летело множество женских ног, и летели в бездонных зеркалах тротуаров опрокинутые эти ноги, короткие юбочки, шелковые плащи. Казалось, вся жизнь, как мрачный, возбуждающий сон, перевернута кверху ногами. Во всяком случае, так воспринимал ее Жиль Боно, тащившийся сбоку тротуара, опустив голову, засунув руки в бархатные штаны.

По профессии Жиль Боно был негодяй. Если бы не полицейские, если бы, в особенности, не полицейские на велосипедах, — он бы многое мог позволить себе в этом городе, несмотря на расшатанное здоровье (хроническая гоноррея, катар кишек и нервная чесотка). Но Боно был не глуп и отважен. Он получал пенсию (сто пятьдесят франков) за ранение на войне, и эти гроши позволяли ему не кидаться, очертя голову, на слишком рискованные предприятия.

Хотел он многого, — всей этой роскоши, которая проносилась в длинных машинах по озаренным, как бальные залы, бульварам Парижа. Но больше всего хотел женщин. Надушенные, нежно-розовые, в драгоценных мехах, сучьеглазые женщины мучили его до потери сознания. Он знал, сколько стоит любовная судорога с любой из этих красоток, и только шуршал осколками зубов, глядя с края тротуара, как лезет из машины длинноногая, полуголая девка, мотающая сегодня ночью доллары или фунты. Жиль был уверен, что и болен-то он тремя болезнями только оттого, что кровь в нем — вся в сгустках, вся сдохшаяся от желаний. Он шел, подергивая спиной от озноба, вбирая ноздрями запахи толпы. Брел без цели, без определенного плана, как зверь, пробирающийся тропической ночью в джунглях.

Впереди разливалось розоватое сияние. В его свету изнемогали, бледнели все огни. Женщины, проходившие сквозь этот свет множества ртутных ламп у вестибюля кинотеатра, казались восковыми, глаза их сверкали, как стеклянные. С боков входа стояли два щита с пестрыми афишами: «Убийство на улице Вожирар». Фильма, как фильма, не гвоздь сезона. Но почему-то Жиль остановился перед щитом и, помигивая воспаленными веками, долго рассматривал рисунок господина во фраке и в полумаске, — с окровавленным ножом этот франт перешагивал через труп лысого старика. «Забавно, — подумал Жиль, позвенев деньгами в кармане штанов, — забавный сюжет». Он вытащил горсть меди и вошел в вестибюль.

Стоит ли описывать эту кинокартину? Сын банкира и его жена — образец приличной женщины, склонной к слезливости. Затем, таинственный красавец, не французского происхождения, — он хочет обольстить жену сына банкира, чтобы завладеть капиталом. Затем — куртизанка, которая живет среди сумасшедшей роскоши. В сценах домашнего быта этой куртизанки французская индустрия напустила золотой пыли в глаза, — в полутемном зале только поахивали. Таинственный красавец, конечно, сводит сына банкира с куртизанкой. Жена сына банкира отказывается от пищи и при среднем сочувствии зала тает в слезах. Сын банкира, конечно, проигрывается в карты и на скачках, — где опять громко заявляют о себе дома больших портных и индустрия люкс. Он готов на преступление. И вот, — преступление совершается. Вначале все уверены, что лысого старика, ростовщика, убил сын банкира. Но это было бы нехорошо со стороны сына банкира, и выясняется, что убийца — тот самый таинственный красавец.

Когда это окончательно стало ясно, Жиль громко засмеялся.

— Чепуха, — сказал он соседке справа, — это просто — шикарная реклама: — перекачивать кружочки из Америки и Лондона. Но здесь ни слова правды, кроме того, что парень, пришивший старичка на улице Вожирар, ушел от руки полиции. А вот — заснять в кино историю — какой она была на самом деле, — вы помните, мадемуазель,

в ноябре прошлого года весь Париж кричал о «кровавой работе» на улице Вожирар, — о, изобразить все те подробности, — получилось бы гораздо смешнее. А это — для иностранцев...

До конца сеанса Жиль издевался над картиной. Выходя из театра, он закурил папиросу и с минуту постоял в широком подъезде, залитый ослепительно розовым светом. Пусть девочки, бегущие в телесных чулочках по зеркально черному асфальту, обернутся восковыми мордашками, скользнут стеклянными глазами по его штанам, по его кепке, по его выдавшемуся подбородку... Вот он, Жиль Боно, никому не ведомый человек, о котором, несмотря на это, сочинена чепуха в двенадцати частях и трех сериях из жизни банкиров. Это он, Боно (направо и налево), на афишах, перешагивает во фраке и полумаске через труп, и вот он стоит живой перед вами... Хе-хе...

Боно, действительно, имел некоторые основания погордиться на подъезде театра, потому что в ноябре прошлого года, на улице Вожирар, он, Жиль Боно, без сообщников зарезал бритвой одинокого старика консьержа, ограбил его на десять тысяч франков и с тончайшим искусством замел следы.

Да, это была минута, действительно, — славы, но одинокой. И в кармане — осталось от славы четыре су, то-есть нехватит и на рюмку водки. Эти буржуа, эти мировые шакалы, в конце концов, просто ограбили его, Жиля Боно. Выплюнув папироску, он сошел с подъезда и втерся в самую толщу человеческого потока, чтобы, по крайней мере, бесплатно подышать запахом женщин.

Жиль Боно пропал в толпе. Дальнейшая судьба его нас не интересует. Он дал великолепную тему, не получив за нее ни сантима, его обокрали, — он больше не нужен. А роскошная фильма «Убийство на улице Вожирар» пошла гулять по свету, прославляя индустрию люкс, дорогих женщин, волнуя элегантными ужасами и возбуждая, как адскую жажду, несбыточные мечты,

Год спустя фильма попала в Ленинград на Петербургскую сторону в кинематограф «Леший». Надписи были переделаны, особо вредные места вырезаны, фильма называлась теперь «Великосветские бандиты Парижа».

И вот, в июньский вечер смотреть великосветских бандитов пришли Мария Осколкина и Михаил Цыбриков. Марии было шестнадцать лет, Михаилу — семнадцать. Оба они этой весной бросили школу: Мария потому, что уже вышла из того возраста, когда учат уроки, Михаил потому, что весь свет заслонила ему Мариина коротенькая юбочка. Жили они пока еще: Михаил — у отца, державшего в Апраксином рынке галантерею, Мария, сирота, — у тетки, промышлявшей на дому трикотажем. Поселиться отдельно — нехватало денег. К тому же у Марии, или Мэри (так она приказывала себя называть), — после того, как она продала на барахолке все учебники и письменные принадлеж-

юсти, — с непостижимой быстротой стал развиваться вкус к мелочам кенского обихода. Откуда она доставала деньжонки на подвязочки бантиками, чулочки, коробочки с пудрой, флакончики духов «Москвичка» и так далее, — Михаил не знал: тайна, все — тайна, сплошной екрет. «Если хочешь, чтобы я тебя любила, — ни о чем не спрашиай», — говорила ему Мэри.

Итак, Михаил и Мэри, зайдя в «Леший» и усевшись на тридцатикоеечные места, разинули рты и перестали дышать, когда озарившийся кран увлек их головокружительным водоворотом на улицы Парижа. 'ак вот он, Париж!.. Так вот как живут настоящие люди, — красавицы ;окотки, великосветские бандиты, умопомрачительно элегантные сыновья анкиров...

Мэри взяла руку Михаила и запустила ногти ему под кожу. Он не икнул. Куда ему было соваться со своими джимми за восемнадцать ублей, с большим ртом и цыплячьей грудью!.. У Мэри странно блестели лаза, когда таинственный красавец (будущий убийца) надевал перед оскошным зеркалом фрак, такой, какие бывают только на картинках... какие носки, какой жилет, какой он весь от пробора до туфель шиарный мужчина!.. Михаил с тоскою думал: этот франт будет Мэри иться... Вот он спрыснул себя духами, надел сверкающий цилиндр, рылатку, вдруг усмехнулся криво, вынул клинок кинжала и пригально стал глядеть полуаршинными глазами с экрана в душу Мэри...

— Миша, я должна ехать в Париж...

— Мэри, милая, мы конечно поедем... Когда-нибудь...

— Но как можно скорее, покуда у меня тонкая фигура и божественый цвет лица...

— Откуда же деньги-то? Ну, я продам пальто, револьвер... Ты еще ткуда-нибудь достанешь... Нехватит, вот чего боюсь...

— Да ты мужчина, или ты мальчишка? Мужчине не достать енег, — фу...

Мэри оглянула Михаила прозрачными глазами, наморщила приподятый носик, презрительно выпятила губу... (Мэри была самой красивой евушкой в Ленинграде. Даже на улице постоянно замечали: «Смотри-, — хорошенькая блондиночка, совсем — Мэри Пикфорд»).

— Это хорошо им в Париже доставать деньги, там, небось, частную нициативу не душат, — проворчал Михаил.

— Смотри, как бы с такими разговорами ты меня не потерял.

— Так что же, — украсть, ограбить? Только ведь остается...

— Знаешь, Миша, кажется, напрасно ты за мной тянешься... Рот тебя какой-то желтый... Такие мужчины не внушают большой уверености...

Разговор этот происходил в антракте, и снова погас свет в зале, по озаренному экрану продолжали мчаться тени волшебной жизни.

Мэри вышла из театра «Леш й», спотыкаясь, ничего не видя, Михаил — мрач ный, надутый, — ступал своими дж мми, не разбирая, прямо в лужи.

Над Ленинградом прошел ночной дождь, прибил пыль, тянуло сладким и свеж им запахом тополей из Кронверкского парка. Мэри дошла до остановки трамвая, подала Михаилу холодные кончики пальцев:

— Прощай. Я одна.

— Куда?

— Не твое дело...

Пять раз Мэри смотрела фильму «Великосветские бандиты». С каждым разом (приходя в кино, где ее ждал Михаил) Мэри становилась все шикарнее. Обрезала юбку на полтора вершка выше колен, завела шляпку сумасшедшаго цвета, шелковые чулки. Михаил боялся даже смотреть на нее, мрачнел с каждым разом.

— Мэри, как же это, — опять новые туфли?

— Немного жмут, знаешь, прямо беда...

— Ради бога, не мучай, Мэри, кто тебе делает подарки?

— Безусловно, — это не твое дело... Будь доволен и тем, что мной обладаешь.

Михаила мучила неопределенная ревность. У него трещала голова,— так много он думал: откуда бы раздобыть денег на поездку в Париж? Поскорее увезти Мэри из Ленинграда, окружить роскошью, осыпать драгоценностями. Самому ходить в крылатке, в цилиндре с восемью отблесками.

Он продал зимнее пальто, все книжки, радиоприемник (собственной работы), коньки, валенки, занял у товарищей по мелочам полтора червонца и ночью пошел в игорный дом. У денег за зеленым столом вырастают крылышки, — в несколько минут деньги выпорхнули у него из кармана. Проигрался. Хотел повеситься на подтяжках в клозете, но как-то обошлось. В три часа утра он громко рыдал, сидя на набережной под египетским сфинксом. На той стороне реки пылали от света зари окна дворцов. Дымная, лазоревая Нева плескалась у ног огорченного мальчишки. Мэри в эту ночь шаталась неизвестно где, — кто-то ее, вне всякого сомнания, обнимал в эту минуту, когда еще прохладное солнце поднималось за крепостью из длинных малиновых утренних облаков.

Страдать было невыносимо. Михаил пошмыгивал, слезы капали на дешевенький пиджачок. «Да, нужно решиться, нужно сделаться бандитом и с карманом, полным червонцев, с ножом в руке потребовать от Мэри, чтобы она не изменяла, не торговала своим телом»...

На следующий день он так и заявил Мэри:

— Я все испробовал. Мне не повезло в карты. Ты видишь, Мэри, как я тебя люблю: — вопрос о том, чтобы сделаться бандитом, решен мной в положительном смысле...

На это Мэри сказала:

— Ты дурак... Вот, в баре на Михайловской я видала настоящих бандитов. Смелые, как черти, и веселые.

— Хорошо, хорошо, Мэри, кто смелее, — мы это еще посмотрим.

— А что? Разве ты уже придумал что-нибудь? — спросила с любопытством Мэри. Такой ответ большеротого Мишки ей, видимо, понравился.

— Может быть, — проворчал он, — там увидим.

Некоторое время он играл на Мэрином любопытстве: говорил туманные слова. Но, в конце концов, надо было действовать. Тогда он сказал, что один нэпман, за которым он ходил (хотя тот был вооружен до зубов резиновой палкой, тростью со стилетом и револьвером), внезапно уехал за границу и дело сорвалось. Мэри всему поверила.

— Миша, а много у него было денег?

— Тысячи две червонцев всегда при себе носил, в портфеле...

Мэри молча всплеснула руками и совсем уже растерялась, когда подсчитала, сколько можно было купить всяких вещей на две тысячи червонцев. С этой минуты горячая голова ее стала работать в том же направлении: проследить нового нэпмана с двумя тысячами червонцев. Отношение ее к Михаилу изменилось, — он сразу почувствовал все выгоды быть бандитом.

— Миша, ты меня, главное, не ревнуй, — говорила теперь Мэри,— если я бываю с мужчинами, то это для нашей общей выгоды. А люблю я одного тебя. И мы уедем в Париж...

Дожидаясь Мэри в адмиралтейском парке, Михаил еще издали увидел, как летело по аллее в полосах солнечного света розовое платье, розовая шляпка. Румянец заливал щеки Мэри. Не здороваясь, шлепнулась на скамью. Оглянулась, — направо, налево:

— Нашла. Есть один.

— Ну? Кто?

— Нэпман. Богач. Колоссальные деньги. Женатый, интересуется женщинами и страшный дурак. В баре известен под названием «Тетя»... Ну, Миша... (У нее расширились синие глаза.) Ну, Миша. Зевать нельзя...

— Пускай только попадется мне в руки. Выпотрошу.

Мэри повела Михаила в бар, — показать «Тетю». При одном взгляде на нэпмана у Михаила завалилось сердце чорт знает куда: «Тетя» оказался огромного роста тучным мужчиной, с сизо бритым жирным лицом, в котором было также что-то бабье. Лоб у него зарос волосами почти до бровей. Одет шикарно, — весь в контрабанде. На мизинце — большой бриллиант. Окруженный шумливыми девицами, он благодушно пил боржом.

Мэри зашептала Михаилу:

— Семья у него в Москве. Здесь он наездом, ворочает делами. И все удивляются, почему он не в Соловках. Так что — вдвойне надо торопиться.

Она встала и особой походочкой (у Михаила сразу защемило в животе от ревности) прошла мимо «Тети», покачивая бедрами. Он протянул к ней руку, — на весь бар брызнули лучи из перстня.

— Ципка, блондиночка, садись...

— Я занята, — вздернув носик ответила Мэри.

Он, все же, поймал ее руки, привлек к себе и долго о чем-то шептал на ухо. Мэри освободилась, пожала плечами, отошла. Михаил видел, как «Тетя» вытащил платок и вытер жирное лицо и шею под шелковым воротником.

Этот нэпман в баре казался видением из далекой и волшебной жизни великосветских бандитов. Все дальнейшее было делом одной Мэри, Михаил исполнял только приказания. Она отыскала комнату, с отдельным ходом и ключем, на Бассейной улице, где могла бывать не прописываясь. (Хозяйка комнаты жила в Сестрорецке.) Она заставила Михаила ходить по следам за «Тетей» из банка в банк — собирать точнейшие сведения о его денежных операциях. Михаил видел за окошечками в банках толстые связки червонцев, — очевидно, все эти несметные богатства принадлежали «Тете». Мэри и Михаила трясла лихорадка. Нэпман каждый вечер приходил в бар и интересовался Мэри. Но она ни разу не подсела к его столику, — дразнила издали.

И вот, когда все было готово, Мэри сказала Михаилу:

— Сегодня приходи на Бассейную к десяти часам. Не забудь, — захвати револьвер... Голыми руками не справишься.

Михаил по пути домой купил сороковку, выпил ее в парке. Думал, что подействует, но мороз продолжал драть по коже. До девяти часов он валялся на кровати, курил, прятал голову под подушку, хрустел пальцами. Когда в столовой, где отец читал газету, пробило девять, Михаил сорвался с постели, вынул из стола револьвер и мелко, мелко закрестился...

К десяти часам он был на Бассейной. Мэри открыла ему дверь. Зашептала, втаскивая в комнату:

— На лестнице никого не встретил? Тише, тише, молчи, ни слова. Почему от тебя водкой несет? Струсил?

— Ничего подобного... Сама ты трусишь...

— Не гуди... Не стучи каблуками. Слушай меня внимательно... Ты здесь останешься... Я уйду... Когда услышишь, что я его привела, что я отворяю дверь, — ты станешь вот за эту портьеру. И ты там стой, не дыши, не шевелись, что бы я ни делала... Когда увижу, что он уже пьяный, — я хлопну в ладоши. Ты, значит, и выскочишь с револьвером...

Мэри надела шляпку, живо напудрилась, взбила височки перед зеркалом и убежала. Михаил остался один. Что он переживал за эти два часа до появления нэпмана? Никогда впоследствии он не мог толково рассказать об этом, — установлено только, что выпил большой графин воды и часть воды из умывальника.

Ровно в двенадцать часов послышалось на лестнице кошачье хихиканье Мэри, зашуршал ключ в замке. Михаил, как привидение, скользнул за портьеру, прикрывавшую дверной вырез в капитальной стене, и там стоял, обливаясь потом, смертно боясь чихнуть.

Первой в комнату вошла Мэри, за ней нэпман с шампанским и фруктами. Он посапывал от одышки и сейчас же повалился в кресло. Мэри, не переставая, говорила, хихикала, как-то особенно ходила по комнате,— «Тетя» старался поймать ее, посадить на колени, она со смешком увертывалась. Тогда он хлопнул пробкой:

— Ну, пить, так пить... Хотя я не большой охотник. Я скоро пьянею.

— Ах, как я люблю шампанское, вы поверить не можете, — пищала Мэри, — я могу выпить три бутылки.

— За что же мы выпьем?

— За ваше будущее...

— Ишь ты, как подковырнула... За лучшее будущее! Эх, чорт возьми, девченка, тебе и во сне не увидать, как мы раньше-то жили. В Вилла Родэ на серебряной посуде кушали, а какие были женщины — с ума сойти... А теперь вот таким огрызочком довольствуюсь, как ты... Ну, ну, не сердись.

— Нет, рассержусь, во всяком случае пейте.

— Иди ко мне!.. Какая ты вертлявая!

— Сяду, но только выпейте.

— За что еще?

— За наши отношения в дальнейшем.

— Вот куда гнешь... Отчего же, посмотрю, какая ты сладенькая...

Он откупорил вторую бутылку. Мэри сидела у него на коленях, дрыкая ногами. Он захмелел и целовал Мэри... Она же все не подавала знака, — смеялась, пила, бросала в зеркало апельсиновые корки...

Михаил, оглушенный, несчастный, боясь дышать, стоял за портьерой. Кинуться бы, избить нэпача, вытолкать за дверь! Как он смеет целовать Мэри, жирно хохоча раскачивать ее на коленях... Но Михаил не смел даже пошевелиться. Выпитая водка с огромным количеством воды отбила у него последнее мужество. Сейчас он чувствовал,— должно совершиться страшное...

— Нет, нет, не нужно, подождите... Пустите меня, — прозвенел жалобный голос Мэри...

Тогда Михаил от всего отчаяния, от всей своей униженности громко хлипнул за портьерой, револьвер выскользнул из руки, тяжело стукнул о паркет. Сразу стало тихо.

— Кто там у вас? — хрипло спросил «Тетя».

— Подлец, трус! — Мэри сорвалась с его колен, распахнула портьеру. Лицо ее пылало гневом и возбуждением. — Плакса! — Она со всей силы ударила по вспухшему большеротому лицу. — Ну же, дурак! — Схватила револьвер, повернулась к нэпману и стала подходить. Он сразу осел в кресле, развел руки. Челюсть у него отвалилась. Выкаченными глазами глядел в черную дырку револьвера.

— Денег... Я стреляю, — сказала Мэри.

— У меня нет с собой денег, — захлопнув челюсть, проговорил «Тетя», — не стреляйте, слушайте...

— Денег! Если крикнете, то...

— У меня деньги дома, у компаньона... Я же не ношу с собой денег...

Такого оборота вещей не ождали ни Мэри, ни Михаил, стоявший сзади нее со сжатыми кулаками и перекошенной мордой. Револьвер заходил ходуном в Мэриной руке. «Тетя» совсем струсил и сам помог выйти из затруднительного положения:

— Не вертите им, он так непременно выстрелит. Я вам дам денег, чорт вас возьми, но за ними нужно съездить...

Немедленно Мэри стащила с себя панталоны, приказала Михаилу разорвать на ленты. «Тетя» протянул ноги, их связали. Кряхтя, косясь на револьвер в Мэриной руке, он написал записку. Михаил сейчас же ушел по указанному адресу. Сорок минут Мэри выдерживала нэпмана под дулом револьвера, иногда только брала мандарин из корзинки, зубами сдирала кожу:

— Тихо, не шевелиться, — повторяла она, жуя мандарин.

«Тетя» пробовал ее улещать, стыдил вкрадчивым голосом, вспомнил даже о своих детках в Москве, — Мэри была неумолима, как настоящая бандитка. Наконец вернулся Михаил с деньгами. Привез только тридцать червонцев...

— Да ей богу больше нет! — завопил «Тетя». — В следующий раз, как-нибудь, с большой радостью... Что? Вам этого мало? Ну, стреляйте, в таком случае, сволочи, если не верите! Что я могу... На нет и суда нет. (Он даже плюнул.)

Мэри пересчитала деньги. Сунула их за чулок. Зло надвинула шапченку:

— Хорошо. Мишка, развяжи его! Теперь слушайте, «Тетя». Мы выйдем. Если вы сейчас же побежите за нами, мы вас застрелим на лестнице... Можете уходить только через десять минут.

— Пока, — сказал нэпман, вслед уходящим, и, засопев, потянулся за апельсином.

Через несколько дней Мария Осколкина и Михаил Цыбриков были арестованы в Севастополе. Они сейчас же во всем сознались. Михаил ревел и раскаивался. Мэри держалась равнодушно-презрительно. Их отвезли в Ленинград. И вот, на суде защитник окончил свою речь следующими словами:

...«Товарищи судьи, взгляните на потерпевшего, оцените его большую физическую силу, огромную сообразительность, которую он проявляет обычно в деловых операциях... (При этих словах «Тетя» стал протискиваться к двери, в зале захихикали.) Теперь взгляните на этих подростков, обманутых соблазнами Запада... Эти два романтика новой формации, два посетителя кино, связывают человека, который одним движением руки мог бы их обоих раздавить, как мух. И, что самое главное, — что я особенно подчеркиваю, — револьвер, игравший основную роль во всем этом происшествии, был не заряжен. (Мэри с бешенством взглянула на Михаила, он виновато опустил голову.) Из этого револьвера ни при каких обстоятельствах нельзя выстрелить, потому что это заржавленный и сломанный револьвер». . . . .
. . . .

Суд приговорил Марию Осколкину и Михаила Цибрикова на пять лет, — условно.

Растратчики.

Повесть.

(Окончание).

Валентин Катаев.

Глава девятая.

Поезд медленно тащился от станции к станции. Так же медленно тащилась и ночь навстречу поезду, насквозь проходя дребезжащие вагоны шагами хлопающих дверей, головатыми тенями, взволнованным пламенем свечей, оплывающих в стрекочущих фонарях. Ваничка стоял в тамбуре жесткого вагона и, напирая ладонью на низкую ручку двери, во все глаза смотрел в облитое дождем стекло. От долгого стояния на одном месте колени у него болели, ныла спина, сосал голод, но главное, невозможно было заснуть — в вагоне шла шумная карточная игра. Едва поезд тронулся, как уполномоченный вытащил из портфеля новенькую колоду, устроил на щечках ямки и подмигнул соседям. И пошла бестолковая вагонная игра в девятку, сперва по маленькой, потом побольше, а к ночи до того все разыгрались, что какие-то два железнодорожных агента, долгое время вполголоса совещавшиеся на верхней полке насчет двухсот пудов вымоченной дождем шерсти, спустились вниз и уже раза два, пунцовые и мокрые, отходили в сторонку развязывать штаны, где у них где-то внутри помещались немалые деньги.

Филипп Степанович совсем разошелся — нос у него порозовел, с носа валилось пенснэ, карты и червонцы просаливались в потных руках. Уполномоченный совершенно преобразился и принял теперь вид жестокий и неумолимый, как будто бы держал всех за горло своей механической клешней и говорил каждому: — Теперь, брат, не вывернешься, шалишь, не на такого напал! — Все немногочисленное население вагона столпилось вокруг играющих. Проводник, и тот, получив пятерку на чай, не только не чинил препятствий, но, напротив, всячески готов был услужить — доставал пиво и свечи, предупреждал о приближении контроля. Несколько раз Ваничка в тоске подсаживался к Филиппу Степановичу и тянул его за рукав — шептал: — Будет вам, Филипп Степанович, попомните мое слово, проиграетесь; ей-богу, не доверяйтесь ему, не гла-

ите, что он уполномоченный. — Но Филипп Степанович только сердито тмахивался: — Бубнишь под руку, и карта не идет, уходи!

Ваничка, зевая, снова шел в холодный тамбур смотреть в стекло. Іенастная ночь проходила мимо поезда забором нечастого леса, запятнанного не то белизной бересты, не то слепым светом луж, не то напорошившим снежком — словом, ничего нельзя было понять, что там такое елается за стеклом, заляпанным кляксами больших водянистых іежинок.

Никогда в жизни не было Ваничке так плохо и скучно и жалко імого себя. Мысли приходили в голову обидные, сомнительные и неумые. Приходили не в очередь и уходили как-то вдруг, не сказавшись, тавляя за собой следы нечистоты, неладности и безвыходной тоски. э вдруг досада возьмет, что зря Мурке шесть червонцев подарил, то злоба ікатит, что в баню не сходил, белья не переменил, гитары не приобрел...) вдруг припомнится бессовестная княжна, Европейская гостиница, тцевая занавеска и прочее, и до того обидно станет, что от обиды хоть поезда на ходу выброситься впору.

А Филипп Степанович изредка выбегал в расстегнутом пальто в тамр и, растирая ладонями щеки, свистящим шопотом говорил:

— Понимаешь, так и режет. У меня шесть, у него семь. У меня семь, него восемь. У меня восемь, у него девять. Шесть рук под-ряд, что ты ажешь! Около трехсот рублей только что снял, зверь!

И снова проворно уходил в вагон.

Чуть-чуть начало развидняться. Нападавший за ночь снег держался, тая, на подмерзшей к утру земле. Пошли белые крыши и огни станций. зезд остановился. Человек в овчиной шубе открыл снаружи дверь показавшись по грудь, втолкнул в тамбур горящий фонарик. Зимний здух вошел в тамбур вместе с фонариком и привел за собой свежий здвоенный паровозный гудок.

— Какая станция? — спросил Ваничка.

— Город Калинов, — утренним голосом сказал человек в овчине оставив дверь открытой, ушел куда-то.

— Город Калинов, — сонно повторил Ваничка про себя. Ему показись ужасно знакомыми эти два слова, сказанные, как одно — городлинов. Тотчас затем пришел на ум конверт с адресом — по серой бумаге мическим карандашем — Калиновского уезда, Успенской волости, еревню Верхняя Березовка... И он, неожиданно холодея, сообразил . На пороге появился Филипп Степанович, каракулевая его шляпа цела несколько криво.

— Ну и ну, — сказал он хрипло и покрутил головой, — так и режет, эдставь себе, так и режет, прямо не человек, а какой-то злой дух. Феноіально!

— Филипп Степанович, — умоляюще проговорил Ваничка, — юмните мое слово, проиграетесь. Не доверяйтесь, не глядите, что он олномоченный. Жулик он, а не уполномоченный. У него карты навер-

няка перемеченные. Погубит он вас, товарищ Прохоров, не ходите туда больше.

— Чепуху ты говоришь, Ваничка, — пробормотал Филипп Степанович и растерянно поправил съезжающее пенснэ, — как же я могу туда не ходить?

— Очень даже просто, Филипп Степанович, — зашептал Ваничка быстро, — очень просто, сойдем потихоньку, и пускай он себе дальше едет со своими картами, бог с ним. А мы тут, в городе Калинове, лучше останемся. Две версты от станции до города Калинова. Город что надо. Я сам местный, родом из Калиновского уезда. Тут и сейчас моя мамаша, если не померла, в деревне Верхней Березовке проживает — тридцать верст от железной дороги. Ей-богу, Филипп Степанович, лучше бы нам сойти.

— Что ты такое говоришь, в самом деле! — промолвил Филипп Степанович, дрожа от холода, потирая руки и расстроился. — Как же это так вдруг сойти, когда, во-первых, перед человеком неловко, а, во-вторых, билеты...

— Чего там билеты! Сойдем, и все тут. Глядите, снежка насыпало. Санки сейчас возьмем. За полтинник нас духом до самого города Калинова доставят с фасоном, прямо в гостиницу. Сойдем, Филипп Степанович.

— А что же, — сказал Филипп Степанович, — Калинов так Калинов, и гора с плеч! Пойдем в буфет первого класса водку пить.

Они с опаской вылезли на полотно, по снежку прошли в темноте под освещенными окнами вагона и взобрались на деревянную платформу, где несколько неразборчивых фигур сидело на мешках подле куба. Сонный колокол ударил к отправлению, паровоз выпустил пар. и поезд ушел, сразу опростав много светлого места для прибывающего с опозданием утра.

Однако в скудном буфете, где почему-то, вместо электричества, горела керосиновая лампа, ни водки, ни пива не оказалось, и буфетчик, переставив с места на место скучную бутылку с фиолетовым лимонадом, сердито сказал, что по случаю призыва на три дня запрещена всякая продажа спиртных напитков, и теперь вокруг на сто верст нельзя достать ничего такого, кроме самогонки.

— Приходите завтра — сорокаградусная будет рюмками.

— Вот так фунт, — произнес в усы Филипп Степанович, — хорош же ваш город Калинов, нечего сказать.

— За распоряжение милиции не отвечаем, — еще более сердито ответил буфетчик и, почесав вывернутой ладонью спину, отошел во тьму громыхать тарелками. Больше делать на станции было нечего. Филипп Степанович и Ваничка вышли к подъезду.

Четыре извозчика с номерами, большими, как листки отрывного календаря на задках, стояли поперек дороги, возле круглого станционного палисадника. Два — на колесах, два — на полозьях. Видно, погода здесь стояла — ни то, ни се. Ямщики уныло сидели на козлах, свесив ноги с одного боку. Они не обратили на приезжих никакого внимания. Лошади,

ткнув морды в торбы, стояли понуро и смирно, не шевеля даже хвостами. Минуты две пребывали сослуживцы на ступеньках подъезда, дрожа от предутренней зяби, пока, наконец, один из ямщиков не спросил, зевая и крестя бородатый рот:

— Поезд, что ли, пришел?

— Пришел, — сказал Ванечка. — До города Калинова полтинник.

— Сорок копеек положите, дорога не твердая, — быстро сказал извозчик и снял рваную шапку.

— Чудак человек, — воскликнул Филипп Степанович, — тебе дают полтинник, а ты требуешь сорок. Это что же у вас такса такая?

— Зачем такса, — обидчиво сказал извозчик и надел шапку, — пускай по таксе другие возят, а я прослышался, думал вы четвертак говорите, а не полтинник.

— Ну, так вези за сорок, если так.

Извозчик снова снял шапку, помял ее в руках, подумал и решительно надел на самые уши.

— Пускай другие за сорок копеек возют, а я меньше, чем за четвертак не повезу, — сказал он быстро.

— Экий ты какой упрямец, — сердито проговорил Филипп Степанович, — некогда нам тут с тобой разговаривать, у нас дела есть, нам обследовать надо. То подавай ему полтинник, а то меньше, чем за четвертак не соглашается!

— Пускай другие за четвертак возют, а я, как уговорились, меньше чем за полтинник не повезу.

— Да ты что, издеваешься над нами, что ли, или же пьян? — закричал, окончательно выходя из терпения, Филипп Степанович. — То тебе четвертак подавай, то полтинник, — сам не знаешь, чего хочешь, пьяница.

— Нечто от пьянства так заговоришься? Вот завтра, как выпустят сорокаградусную, тады действительно, а теперь, как есть, чверезый — говорю четвертак, а думаю про полтинник, — сказал извозчик, снова снимая шапку, — очень они похожи на выговор, — четвертак и полтинник.

— Так, значит, везешь ты нас, все-таки, или не везешь за сорок копеек? — заорал Филипп Степанович осиплым голосом на всю окрестность.

— Не повезу, — равнодушно ответил извозчик и поворотился спиной, — пускай другие возют.

— Тьфу, — сказал Филипп Степанович и в самом деле плюнул со злости.

Тут молодой извозчик в сибирской белой папахе, в нагольном полушубке, из подмышек которого торчала рваная шерсть, лихо встрепенулся.

— Пожалуйте, свезу за тридцать копеек, — закричал он и взмахнул локтями.

Сослуживцы влезли в неладные, чересчур высокие, сани, устланные внутри мокрой соломой, покрыли колени худым фартуком и поехали в город, оказавшийся ни дать, ни взять таким самым, как все уездные

города Советского Союза: десять старинных церквей, да две новых, да одна недостроенная, да пожарная каланча, да окруженная запертыми еще на пудовые запоры, лабазами, пустая базарная площадь, посредине которой стоял рябой мужик с коровой, приведенной бог знает откуда на продажу. Узнавши по дороге от седоков, что они советские служащие и приехали в город Калинов обследовать, извозчик привстал на облучке, прикрикнул на своего серого, как мышь, конька: — нукану! — и с покушениями на шик подкатил к Дому Крестьянина, выходившему крыльцом на базарную площадь. Однако дом крестьянина еще не отпирали, и на его ступеньках сидело несколько унылых мужиков, не обративших на сослуживцев ни малейшего внимания. Рядом с домом крестьянина находился частный трактир с номерами «Орел», а еще немного подальше чайная «Тверь», тоже еще запертые.

Филипп Степанович и Ваничка вылезли из саней и, расплатившись с извозчиком, пошли гулять вокруг площади. Извозчик навесил на морду коньку торбу, погрозил ему кнутовищем, чтоб не баловался, и пошел следом за седоками — угодить в случае надобности. Покуда извозчик сидел на облучке, он казался еще туда-сюда, но едва слез на землю и пошел, сразу обнаружилось все его худосочие и бедность — сам низенький, нагольный полушубок латка на латке, и полы обрезаны по карманы, валенки разные, худые, и болтаются на тонких ножках, мешая ходить; носик вострый розовый, брови тоже розовые, бороденка не выросшая еще — кустиками, глазки порочные, голубенькие — сразу видно, что парень и растяпа и, вместе с тем, плут да и выпить не дурак — словом, человечек из числа тех, которые на военной службе называются балаболками и идут в нестроевую команду.

Сослуживцы, скучая, обошли площадь. На угловом доме висела красная табличка с надписью: «Площадь бывшего тов. Пўгвицына». Немного подальше, в начале пустынной, уходящей вниз, улицы, виднелась другая табличка, гласившая: «Проспект бывшего Пўгвицына». Кроме того, на длинной вывеске, над входом в запертую лавку, значилось большими буквами: «Кооператив имени быв. Пўгвицына». Тут же извозчик разъяснил услужливо, в чем тут дело. Был, оказывается, в городе Калинове начальник милиции товарищ Пўгвицын,— не человек, а орел! В честь него благодарное население переименовало площадь, улицу, кооператив и еще множество других учреждений и мест. Подумывали даже весь город Калинов переименовать в город Пўгвицын, однако в один прекрасный день товарищ Пўгвицын жестоко проворовался, был судим выездной сессией губернского суда и посажен в тюрьму на три года со строгой изоляцией и поражением в правах. Долго ломали себе голову правители города Калинова, как выйти с честью из создавшегося тяжелого положения — не тратиться же в самом деле из-за уголовного преступника на новую табличку да и в смете такого пункта нету, — пока, наконец, не придумали перед Пўгвицыным приписать «бывш.» — и дело с концом. Так был аннулирован Пўгвицын.

На другом конце площади бывшего Пўгвицына с гусем подмышкой шел калиновский гражданин в картузе и яловых сапогах. И на нем самом и на его гусе лежала печать такой скуки, что невозможно выразить словами. Гражданин так медленно передвигал ногами, что иногда казалось, будто он и не идет вовсе, а печально стоит на одном месте, приподняв для чего-то и согнув перед собой ногу — раздумывая, стоит ее ставить на землю или не стоит?

— Хорош же ваш уездный город Калинов, нечего сказать, — заметил Филипп Степанович, раскуривая папироску, — водка не продается, чайные заперты, народ какой-то скучный, даже Пўгвицын и тот бывший, ходи тут, как дурак, по базару. Провинция, мрак.

— Это, гражданин, верно, что народ скучный, — бойко подхватил извозчик, забегая вперед и заглядывая вверх на Филиппа Степановича, как на солнце, — ваша истинная правда. Потому и скучный, что водки дожидается. Даст бог до завтра доживем — сорокаградусной попробуем. А чайную сейчас отомкнут, не извольте сомневаться... Вот уже отмыкают, так и есть...

Действительно, в это время дверь частного трактира «Орел» открылась. Мужики, сидевшие на ступеньках Дома Крестьянина, переглянулись и, неторопясь, перекочевали гуськом в «Орел», а немного погодя, когда уже никого на ступеньках не осталось, открылся и Дом Крестьянина. Сопутствуемые извозчиком, Филипп Степанович и Ваничка взошли з «Орел» и потребовали себе номер. Увидев постояльцев, хозяин чрезвычайно засуетился и крикнул малого. Малый в жилетке тотчас поставил на пол ведерный самовар, с которым он танцовал из сеней, вытер руки о фартук и стремглав бросился вверх по лестнице. Затем туда же промчалась, насмерть перепуганная, бабенка с бронзовым канделябром и двумя березовыми поленами в руках. «Куды ключ от первого номера задевала?— произнес где-то вверху шипящий голос: — не видишь, растратчики з центра приехали, поворачивайся, быдло». После этого хозяин повел сослуживцев вверх по некрашенной лестнице в досчатый номер, выклеенный изнутри, на манер солдатского сундучка, полосатыми бумажками — голубое с желтым. В номере стояли стол, диван, железная кровать без постели, крытая досками, комод. — На комод со стены тускло косилось зеркало в деревянной раме со штучками, до такой степени волнистое, как будто бы сделанное не из стекла, но из жести. В зеркале отражался канделябр с воткнутым в него вместо свечей букетом бумажных роз и зеленого ковыля.

Покуда извозчик, почему-то вошедший в номер вместе со всеми прочими, хихикал, как китаец, мял в руках папаху и поздравлял с новосельем, покуда Филипп Степанович, строго пуская из ноздрей дым, пресходно оглядывал хозяина и всю трактирную прислугу, столпившуюся в дверях, покуда он распекал, что нету водки, и с тонким знанием дела заказывал забористый завтрак, из которого в трактире нашлась только яичница с колбасой, — Ваничка стоял у окошка и смотрел на площадь.

Смотрел и все никак не мог понять, как это так случилось, что вот он вдруг стоит и видит в окно город Калинов, знаемый им в детстве и уже забытый и, вместе с тем, такой самый, как будто бы ничего такого с самого детства с Ваничкой не произошло...

А уже малый принес в номер яичницу и чай. Извозчик, приглашенный Филиппом Степановичем закусить, со лживой скромностью и покорным удовольствием сидел на краюшке стула с шапкой на коленях, дуя в блюдце и вежливо перекусывая сахарок. Ваничка подсел к столу и, выкатав в полоскательнице стакан, с жадностью напился чаю; однако яичницы не ел — расхотелось. Филипп Степанович тоже лишь поковырял вилкой, и яичницу доел извозчик, из приличия оставив на сковороде два кусочка колбасы. Согревшись чайком, сослуживцы расстегнули пальто, подперли головы кулаками и погрузились в молчаливые мысли, тщетно придумывая, что бы теперь такое предпринять — но ничего придумать не могли. Делать было совершенно нечего. От скуки даже расхотелось спать.

— Значит у вас тут в вашем уездном городе Калинове ничего такого достать нельзя? — спросил, наконец, Филипп Степанович невесело и пошевелил перед носом извозчика пальцами.

— Никак нет!—сказал извозчик, встрепенувшись от дремоты, и заморгал глазами. Ничего такого, никак нет. Покорнейше благодарим за чай-сахар. Не успел народ запастись. Не угадал малость. Завтра начнется.

— Так что же у вас теперь в городе Калинове люди пьют? Или, может быть, вовсе пить перестали?

— Которые действительно перестали — дожидаются сорокаградусной. А которые самогон добывают.

— Где же они его добывают?

— А по деревням добывают, известно. Рубль двадцать бутылка наилучшего первача. Не то чтобы имеет какой-нибудь дух — а совсем безо всякого духа, и крепость такая, что во рту горит — лучше тебе водки, куда там!

Извозчик вскочил с места, засуетился, взмахнул длинными руками и попросил, чтоб только приказали, а уж он в два счета до ближайшей деревни слетает и привезет хоть четверть; восемь верст туда, восемь обратно и как раз к обеду можно будет выпить. Ваничка вздохнул и вдруг робко заметил, что лучше всего поехать всем в деревню Верхнюю Березовку, до которой не более верст тридцати — там у него и мамаша, если жива, и родственники, и все на свете, там и самогон дадут самый лучший, — не надуют — и заночевать можно будет со всеми удобствами.

— А что же, — воскликнул Филипп Степанович, — правильно. Обследовать так обследовать. Чего мы здесь в городе Калинове не видели? Валяй в Верхнюю Березовку! А?

И возбужденный новой, представившейся ему, целью Филипп Степанович молодцевато поправил пенснэ, свел к носу глаза и тут же вообразил себе нечто среднее между великосветской зимней охотой с борзыми собаками и удалым катаньем на взмыленных тройках с коврами, бубенчи-

ками, красавицами и остановками в помещичьих усадьбах... Месяц над баней, фаянсовый снег, голубой пламень пунша и прочее... Даже порозовел от возбуждения.

Тут же сослуживцы сторговались с извозчиком, выказавшим всяческое одобрение этому плану, поспешно расплатились с хозяином, оставили за собой номер, пообещали вернуться завтра к обеду, когда будет водка, и, не теряя понапрасну времени, спустились вниз. Внизу, в чайной, так как извозчик сказался не здешним, решили хорошенько расспросить мужиков, как ближайшей дорогой добраться до Верхней Березовки. Мужики, потевшие над чайниками и похожие на древне-греческих философов, внимательно выслушали расспросы, переглянулись, погладили бороды, посоветовались, а затем один мужик за всех степенно и необычайно подробно описал дорогу — до какой деревни сначала надо доехать, куда потом своротить, через какой мост переезжать и какой руки надо держаться, когда будет не та мельница, которая в прошлом году погорела, а другая, бывшая Бурыгинская, где мельникова жена без одного глазу и где ходит паром. Тут, сидящий поодаль, дряхлый старик с сомнением покачал головой и сердито прошамкал, что такой дорогой никак никуда не доедешь, а ехать надо совсем в другую сторону, на Климовку — тут тебе аккурат и будет Березовка. Когда же старику разъяснили, что ехать надо не в Березовку, а в Верхнюю Березовку, старик с неудовольствием поворотился ко всем боком и затем так-таки прямо и закатил почти что из Мертвых душ:

— Я думал просто в Березовку, а надо в Верхнюю Березовку. Так бы и сказали. Верхняя Березовка одно, а просто Березовка другое. Дороги на них не сходятся. Так бы и сказали сразу... Гм... То Верхняя Березовка, а то просто Березовка... А то была еще одна Нижняя Березовка, но выгорела лет тридцать тому назад...

И долго еще, с полчаса, старик недовольно бурчал себе в бороду насчет путаницы с Березовками, но его уже никто не слушал.

Филипп Степанович и Ваничка уселись в сани и поехали.

— Стой! — закричал вдруг Филипп Степанович, которого уже начала разбирать потребность управлять и удивлять. — Стой! Как же так, а? Без гостинцев? Э, нет! Уж, если ехать в гости к родственникам, то нужно везти подарок! Верно я говорю, кассир? Остановись-ка, кучер, на минуточку. Нужно, брат, такой сюрприз загнуть, чтоб твоя матушка ахнула, грандиозное что-нибудь.

Филипп Степанович огляделся вокруг и тут же заметил мужика с коровой.

— Корову! — воскликнул он. — Корову! Правильно. Что ты можешь возразить насчет коровы, кассир, а? Незаменимая вещь в сельском хозяйстве. Фурор! Смятение! Общий восторг! Корову, корову! Уж матушка твоя с ума сойдет от радости, будь уверен!

С этими словами Филипп Степанович с ловкостью, необыкновенной для его лет, выскочил из саней и так быстро купил корову, что мужик

не сразу даже сообразил, что такое с ним, собственно, произошло. Филипп же Степанович похлопал купленную корову по пестрому боку, похожему на классную географическую карту, привязал животное к задку саней, сел, накрылся худым фартуком, заметил окаменевшему от изумления кучеру: «Ну, теперь валяй» — и самодовольно толкнул Ваничку локтем в бок.

— Ну, что ты скажешь, кассир? Добежит?

— Отчего же не добежит, Филипп Степанович, добежит, — сказал Ваничка и хозяйственно осмотрел корову.

— Нукану! — воскликнул в восторге ямщик, пуская вскачь своего мышастого конька, и хлопнул себя навкрест по бокам рукавичками. То ли, мол, еще будет дальше. С такими господами не пропадешь.

Изумленная корова нагнула рога и рысью побежала за санями. Вскоре они были далеко за городом. А мужик, продавший корову, еще долго стоял, поливаемый мелким дождиком, посредине площади бывшего Пугвицына, держа в одной руке шапку, а в другой двенадцать червонцев, и все никак не мог прийти в себя и сдвинуться с места.

Глава десятая.

Десять лет не был Ваничка дома и не виделся с матерью. Первое время только писал письма да передавал поклоны, а потом перестал. Иногда ему казалось, что ни ее, ни деревни Верхняя Березовка вовсе нету на свете. Но едва мышастый конек, натужив брюхо и раскорячив скользящие ноги, втащил, наконец, сани по размокшей дороге на косогор — сердце у Ванички захолонуло от волнения. Тут сразу же, без предисловий, начиналась деревня — серые бревенчатые избы с синими вырезными наличниками вокруг окон, с коньками над пристроенными сбоку на столбиках сенями, с соломенными крышами, с горьким дымком. Во всю длину обширной прямой и пустынной деревенской улицы, по обеим ее сторонам, вдоль заборов и палисадников, рябя в глазах, часто краснела, тронутая ночными заморозками и исклеванная воробьями, рябина. Казалось, что если бы не ее искусственный румянец, озаряющий выдуманным каким-то светом унылый деревенский пейзаж, то от скуки людям невозможно было бы жить под этим невысоким, серым до синевы, неподвижным небом, среди тишины обступивших со всех сторон лесов, насыщенных водянистым хвойным воздухом поздней осени.

На самом въезде в деревню крупная баба в темном платке и узком, не по плечам, мужском пиджаке обкладывала избу.

— Стой! — закричал Ваничка вдруг. — Стой! Мамаша! — и выскочил из саней.

Баба обернулась к дороге, сощурилась, увидела сани, корову, привязанную к их задку, мышастого конька, городских седоков, шагнула раза два вперед и тут же выронила из рук охапку соломы. В окошко избы выглянуло очень испуганное женское лицо и скрылось. Затем то же самое

іицо, но уже в платке мелькнуло в другом окошке. Хлопнула дверь, і из сеней выбежала неуклюжая девка в валенках. Обе женщины всплесıули руками и бросились к корове, которая стояла, круто дыша боками іозади саней и лизала драповую спину Филиппа Степановича.

— Так и есть наша буренка, — завопила в отчаянии крупная баба і схватила Филиппа Степановича за рукав, — ты где нашу животную іашел, сказывай? И веревка у нее на рогах та же навязана, вот она — ıся деревня может доказать, что наша клюквинская веревка. Да что же ıто такое, прости господи, делается!

— Сказывайте, куда Данилу девали, разбойники! — заголосила ıевка, утирая обширное лицо платком и бестолково забегала вокруг аней. — Как повел третьего дня в город Калинов корову, так с того самого ıня и пропал. Чуяло мое сердце. Сказывайте, куда мужика задевали!

— Да что вы, мамаша, белены объелись, — проговорил, наконец, Ваничка, совершенно сбитый с толку бабьими криками, — аль не признали?

Тут баба взглянула на него, присмотрелась, побледнела и ахнула.

— Ванюша! — произнесла она негромко, перекрестилась и схваилась за грудь. — Ей-богу, Ванюша! А мы тебя и в живых не считали. Ца что же это такое! Ах ты, боже мой!.. Ванюша.

И женщина, трясясь от смеха и слез, прижала к своему большому елу маленького Ваничку.

— Ванюша! Городской братец! — воскликнула девка и застенıиво припала лицом к плечу брата.

Тут же все разъяснилось и относительно коровы. Оказалось, что упили и привели в подарок как раз ту самую корову, которую Ваничкина ать послала третьего дня со знакомым мужиком Данилой, дочкиным сенихом, на продажу в город Калинов. Так что расчеты Филиппа Степаовича на фурор и общий восторг не оправдались. Зато удивлению не было онца. Филипп же Степанович, успевший в дороге на остановках основаельно напиться самогону под руководством, опытного в этих делах, звозчика, с достоинством вылез из саней, приподнял шляпу, нетрезво асшаркался во все стороны, выпустил через нос высокомерно-снисхоıтельный звук — нечто среднее между «очень приятно» и «пожалуйста ıдитесь» и тут же понес такую сверхъестественную ахинею насчет обслеıвания деревни, старика Саббакина, негодяя уполномоченного, царя иколая кровавого, Изабеллочки и прочего, что бабы совершенно обоıели от страху и почтения, а извозчик воскликнул пьяным голосом — ıукану!» — и в восторге похлопал по себе рукавицами.

Затем дорогие гости были введены в избу. Алешка (в дороге выяснись, что порочного извозчика зовут Алешкой) распряг и устроил на покой оего конька, после чего тоже взошел в избу и, помолившись со лживым ердцем на иконы, скромненько уселся на лавочке у самой двери — всяк, ıл, сверчок знай свой шесток. — Сестрица Груша поставила буренку хлев и, потупясь, села за прялку, пощипывая лен, русой челкой взби-

тый меж зубьев деревянного гребня. Сама же хозяйка, давно уже привыкшая по своему вдовьему делу к мужским повадкам главы семейства, степенно положила могучие локти на потный прожженный стол, за которым в красном углу сидели гости, и завела неторопливый хозяйственный разговор. Хотя и говорила она для Ванички, однако обращалась больше к Филиппу Степановичу, чувствуя в нем главного начальника над своим сыном и вообще лицо, во всех отношениях ответственное, облеченное властью и почтенное. И так у вдовы это натурально выходило, что казалось иногда, будто у нее растет окладистая мужицкая борода и глаза пытливо смотрят из-под густых мужицких бровей, словно бы желая допытаться, с каким таким человеком она беседует и что у него на уме, и есть ли он тот самый человек, за какого себя выдает — словом, впрямь хозяйские мужские глаза.

Покуда наступал ранний вечер и невидимая бабка возилась на другой половине с горшками и самоваром, вдова, не торопясь, рассказала все про свое житье-бытье, словно делала обстоятельный доклад. — Земля родит плохо, да и нет ее. Без промысла не прожить, а мужика в хозяйстве нет. Грушу этой осенью берет Данила, сын покойного Никифора, мужик хоть немолодой, зато тихий. Свадьбу надо справлять, а на что ее справишь? Пришлось корову в город Калинов на базар посылать, а то бы не обернуться. Спасибо корову обратно задаром привели, хотя кормить ее, впрочем, все равно нечем. Бабка, глядишь, не сегодня-завтра помрет — слаба стала. Землемер летом был, землю резал. Да что ее резать — как ни режь, а если ее нету, то все равно ничего не нарежешь. Опять же мельник притесняет — где ж это видано, чтоб с пуда по шести фунтов брал за помол? А живет этот мельник сам, как буржуй, одних гусей у него, чтоб не соврать, пятнадцать штук, не считая прочего. Лен в этом году уродился ничего себе. Жить можно. Разве только, что без мужчины в хозяйстве туговато.

Много еще в таком же роде говорила вдова, невесело улыбаясь сквозь воображаемую свою бороду и показывая при этом два выбитых передних зуба — видно, покойный ее мужик особенно кротким характером не отличался. И никак нельзя было понять: посмеивается ли она надо всеми этими своими невзгодами или же прикрывает их смехом, жалуется или только так, лишь бы поговорить и занять гостей.

Филипп Степанович с пьяным вниманием слушал вдову и, приподняв бровь над припухшим глазом, выпускал из усов папиросный дым, словно желая сказать — так, очень хорошо. Вы не беспокойтесь, мадам. Можете во всем положиться на меня, я вам все это быстро устрою и поправлю.

Ваничка осмотрел украдкой за это время избу, в которой он родился, увидел вещи, хорошо знакомые ему с детства: стенные часы с гирями, лампу под жестяным кругом, иконы, картинки, лиловые фотографии, в рамках с ракушками, армяк на гвоздике возле двери, кадку и ковшик, липовую прялку с точеным колесом, и ему стало так скучно, как будто бы

он никогда не расставался с этими вещами и все время, до сих пор, без всякого перерыва жил среди них—до того они были ему знакомы. Да и материнские слова — те же самые, так же хорошо знакомые с детства, как и вещи: мельник, да землемер, да корова, да лавочник... И ничего они не вызвали в сердце Ванички, кроме скуки, переходящей в смертельную безысходную тоску. Нет, не то вышло, не то. Неладно как-то.

За окном уже было черно. Груша стала зажигать лампу. На мгновенье тень от ухвата пролетела через избу, как чорт. И никуда уже нельзя было уехать от этой скуки, надо было сидеть и слушать, и видеть, а зачем — неизвестно и совершенно нечего было делать. Алешка сидел возле двери и украдкой зевал в рукав — ждал, когда же наконец дадут поесть. Филипп Степанович тоже впал в тяжелую пьяную мрачность.

Тем временем всю деревню облетела весть, что ко вдове Клюквиной приехал из города сын и с ним еще какой-то, в очках, — начальник, оба пьяные и привели они с собой корову и будто бы собираются обследовать местность, а на предмет чего обследовать — это неизвестно.

Мужики, как водится, подождали для приличия до вечера, а потом помаленьку потянулись ко вдове с визитом посмотреть на городских приезжих и послушать умные речи, которые, как известно, приятно и слушать. Первыми двинулись старики из наиболее уважаемых, за уважаемыми стариками — сватья да кумовья, затем те, что посмелее, за ними те, что полюбопытнее, а там беспартийная молодежь и некоторые, наиболее отчаянные, бабы. Словом к тому времени, как гости кончили пить чай и закусывать, в избу набралось столько народу, что, как говорится, яблоку негде упасть. Каждый входил к избу сообразно со своим возрастом и положением в обществе. Уважаемые старики входили открыто, очень сериозно, аккуратно, не торопясь здоровались с хозяйкой и приезжими за руку и молча занимали места поближе. Сватья и кумовья входили широко и быстро, не то боком, не то чортом, держась за шапку и весело подмигивая — мы, мол, здесь люди свойские! — однако за руку здоровались только с хозяйкой и занимали места позади стариков, на лавках, под стеночкой, говоря приезжим что-нибудь приятное. Прочие не входили, а как бы вдвигались в дверь совершенно уже боком, стараясь занимать собою поменьше места; ни с хозяйкой, ни с приезжими они не здоровались, а тихонько садились куда бог пошлет, поглаживая бородки и покашливая в кулаки — ни дать ни взять профессора, собравшиеся на заседание ученого общества. Молодежь и отчаянные бабы входили на цыпочках с растянутыми лицами и останавливались подле дверей, а то и вовсе не переступали порога и оставались за дверьми, заглядывая в избу, подперев пальцами щеки.

Однако, как ни казалась изба мала и неудобна, она вместила всех пришедших, еще место осталось. Некоторое время, как принято, все молчали — рассматривали Филиппа Степановича, а затем стали перемигиваться, шебуршить, подталкивать друг друга заплатанными локтями ватных пиджаков и полушубков, пока, наконец, не выдвинули вперед

и не подзадорили к разговору уважаемого старика в железных очках с наружностью знаменитого хирурга Пирогова — видимо, первого местного спорщика.

— Ну-ка, ну-ка, Иван Антонович, — послышались вокруг сдержанные голоса, — поговори-т-ка с товарищами вообще насчет делов.

— Не ударь лицом, оппозиция, хо-хо.

— И, например, про землемера заметь кое-что.

Уважаемый старик завозился на своем месте, будто бы отодвигаясь назад, но на самом деле выдвигаясь вперед, поправил очки, кашлянул, оглянулся во все стороны испуганно и вместе с тем неустрашимо, высморкался в кумачевый платок, поднял высоко над очками брови и, после этого, махнув рукой, решительно приступил к спору.

— Мы, извините, люди темные, — сказал он Филиппу Степановичу до невозможности невинным голосом: — а вы, значит, как бы это получившие высшее образование. Тут в газетке «Беднота» писалось насчет государства Франция, как будто она, что ли, готовится, как же это, скажите, следует понимать? Война, что ли, подготовляется?

— Безусловно, — отрезал Филипп Степанович, чувствуя себя в центре общественного внимания и уважения, — разобьем! — И превосходным взглядом обвел собрание лысин, бород, полушубков и пиджаков.

— Так, так, — быстро сказал старик и, несколько сконфуженно, подмигнул слушателям: посмотрите, мол, какие пули отливает городской житель, но ничего, сейчас мы его припрем к стенке, тоже не совсем лыком шиты. — Понимаем. А как вы скажете, может, например, мельник при советской власти рабочих и крестьян брать по шести фунтов с пуда или не может?

— Не имеет морального права, — строго сказал Филипп Степанович, — ни под каким видом.

— Та-а-ак.

— Эх, Иван Антоныч, — произнес насмешливый голос, — что ж это ты?

Старик вовсе сконфузился, заморгал под очками, высморкался и покрутил головой. Потом отчаянно махнул платком и пошел загибать вопросы один другого извилистее. Но не на такого напал. Филиппу Степановичу только того и надобно было. Крепко любил Филипп Степанович удивлять и ставить в тупик людей превосходным своим умом. Старик из кожи вон выворачивался, а Филипп Степанович — раз! — и отрезал ответ, — раз! — и отрезал. Так и крыл, так и крыл, при чем потерял всякую совесть и окончательно заврался. Мужики, перепутавшие в восторге свои места, лезли поближе к разошедшемуся бухгалтеру, галдели, дымили уже махоркой и подбадривали: «Так его, правильно, бейтесь, товарищи». Вскоре Филипп Степанович заклевал уважаемого старика, и общество на его место выдвинуло другого уважаемого старика. Однако Филипп Степанович был непобедим. Из усов его исходил папиросный дым, глаза блуждали. Он молол чушь.

— Будет вам, Филипп Степанович, — в отчаянии шептал Ваничка, ·айком таща бухгалтера за рукав, — разве они что-нибудь понимают, юговорили и хватит, а то вы такое наговорите...

Но Филиппа Степановича уже никак нельзя было удержать. Он :тоял, пошатываясь, в красном углу — дикий и потный — и, надменно ·лыбаясь, отрывисто бормотал окончательно уже ни на что не похожий ıздор.

— Виноват... Ви-но-ват... Прошу вас. Шерри-бренди. Честь имею. Я и мой кассир Ваничка. Вот он тут сидит... Что есть Ваничка и что есть тарик Саббакин... Двенадцать тысяч на текущем счету в Госбанке.)н мне говорит — покроем, а я ему говорю дур-р-рак и точка. Ір-р-р-равильно? Чем, говорю, крыть, когда нечем, говорю, крыть?.. Зерно, кассир? Говорил я так или не говорил? А мельника к чортовой ıатери в воду! Я покупаю всем вам мельницу. Угодно или не угодно? :егодня, сейчас же мы и поедем. К-кассир, выдай по ордеру и точка.

Тут, помаленьку оттеснив уважаемых на второй план, к столу росунулись веселые и уже нетрезвые сватья и кумовья, всячески намеая, что по такому случаю обязательно требуется выпить. В сенях крякула и растянулась гармоника. Алешка пошептался в дверях с бабами. Заничка совестливо вытащил из кармана деньги. И через десять минут же кое-где на подоконниках завиднелись желтоватые бутылки, заткнуые бумажными пробками.

Хозяйка пошла алыми пятнами. Ей вдруг сделалось ясно, зачем риехал Ваничка из города и почему у него деньги и кто такой Филипп ·тепанович — все как на ладони. А она-то дура-баба обрадовалась! Іоживет, думала, сынок дома, на Грушиной свадьбе будет гулять, а то вовсе останется в деревне, за хозяйство возьмется. Все-таки с мужчиной овсем не то, что без мужчины. А тут такой, оказывается, грех! Так соестно, что хоть в глаза людям бы не глядела.

До этой минуты ей страстно хотелось, чтобы поскорей разошлись ости и можно было бы остаться с сыном наедине, уложить его спать, очесать волосы, поговорить, посоветоваться, а теперь стало все равно, усть хоть до петухов сидят.

С покорной и горькой улыбкой она встала из-за стола, пошла по озяйству и вынесла вскоре краюху хлеба, блюдо скользких груздей, етыре граненых стаканчика, щербатую вилку с коротеньким черенком щепотку соли. Поставила все на стол и низко поклонилась.

И пошла гулянка.

Несколько раз выходил Ваничка, пошатываясь, из чадной избы прохладные черные сени. Он открывал дверь на улицу и в отчаянии рислушивался. Таяло. Таяла дорога, таял снежок на крыше, с крыши апало. Ваничка выставлял на ветер голову, но ветер не мог утолить дикой эски, насквозь прохватившей его до самого сердца. Что же теперь деать? Как быть? Не уйти теперь никуда, не уехать, а если и уехать, то уда и зачем? И в первый раз за все это время Ваничка вдруг просто и

ясно понял, что погубил себя и выхода у него нет. Тоска была такая, что хоть в петлю. Он возвращался в избу и, улыбаясь, пил вонючий самогон, пел песни, целовался и снова выходил в сени постоять под ветром на покосившемся полу, слушая нетрезвое бормотание волчьей ночи, желтыми пятнами ходившей в глазах.

Гуляли долго, до полуночи. Не раз и не два бегал Алешка, спотыкаясь, куда-то с пустой посудой и возвращался с полной. Председатель сельсовета, поздно возвратившийся из объезда, услышал о событии и тоже зашел в клюквинскую избу посмотреть на приезжих. Высокий, веселый, молодой в синей гимнастерке с расстегнутым воротом, он быстро вошел, наклонив голову, чтобы не стукнуться о притолку в избу и во мгновение ока оглядел всех.

— Будем знакомы. Предсельсовета Сазонов, — сказал он Филиппу Степановичу и размашисто пожал ему руку.

Таким же образом он поздоровался с Ваничкой, кивнул прочим, уронив на лоб русый чуб, затем с размаху сел на подставленный ему хозяйкой табурет, лихо выставил ногу в сапоге, мелькнул синими своими глазами и весело улыбнулся, отчего на щеках у него сделались милые ямочки, как у девушки. Сидел он, впрочем, не долго, внимательно послушал болтовню окончательно заврашегося Филиппа Степановича, порасспросил, раза два поддакнул, выпил стаканчик самогона, чтоб не обидеть общество, пошутил с Грушей, продолжавшей неподвижно сидеть за прялкой, и скоро ушел, сказав, что не выспался, и пожелав всем счастливо оставаться и веселиться. Словом, оказался рубаха парень. Около полуночи весь мокрый пришел и Данила, тот самый мужик, жених Груши, у которого давеча в городе Калинове купили корову. Узнавши, какое происшествие случилось с коровой, он, как был в полушубке и шапке, сел в уголку, раскрыл рот, да так и остался сидеть неподвижный от изумления, пока про него совершенно не забыли.

За полночь гости разошлись по домам. Тяжелый сивушный дух стоял в избе. Хозяйка зевала, крестя рот, и устало разгоняла утиральником махорочный дым. Груша прибирала посуду и готовила постели. Алешка успел уже столковаться с какой-то кривой бабенкой и, наскоро посмотрев конька, пошел ночевать к этой бабенке на другой конец деревни. Филипп Степанович лежал навзничь в красном углу на лавке, свесив на пол руку, и трудно мычал, задрав подбородок, сизый и острый, как у покойника.

Ваничка же, натыкаясь в потемках на какие-то угловатые вещи, ощупью пробрался в сени и оттуда по шатким ступеням спустился в хлев, где тепло и знакомо пахло жидким навозом, животными и птицей. Он нашарил грядку телеги, взобрался на нее и достал в темноте холодными руками потолочную перекладину. На перекладине висели вожжи. Он попробовал их — крепко ли держатся, — сделал петлю и, как во сне, валко став на носки, сунул в нее голову. Телега скрипнула. Грядка ушла из-под напряженных ног. Перепуганная курица упала с насеста, как качан капусты, и забилась во тьме, подымая крыльями сухую, душную пыль. За ней встре-

пенулась другая, третья. Во всех углах раздалась взволнованная птичья болтовня, полетели перья, пошел ветер... И мать, почуя недоброе, едва успела добежать, хватаясь руками за сердце, и вынуть полумертвого Ваничку из петли. Он хрипел и плакал.

Почти на руках она внесла его в горницу и уложила на устроенную на полу постель, рядом с Филиппом Степановичем. Она подала ему ковш, но он не стал пить. Она гладила шершавой ладонью его взмокшие взъерошенные волосы и все повторяла:

— Грех-то какой, ах грех... — И слезы ползли по ее могучему лицу.

— Ничего вы, мамаша, не понимаете, — с тоской выговорил наконец Ваничка и, поворотившись спиной, тяжело и тихо задышал.

— Все как есть понимаю, Ванюша, ох, все понимаю, грех-то какой. Крепись, Ваничка, терпи. Бог терпел и нам велел.

— Скучно мне, мамаша, засудят, — мутно пробормотал Ваничка и смолк.

Осередь ночи в окно раздался стук, снаружи к черному стеклу приникло белое лицо Алешки, и, вслед затем, он сам вбежал в горницу, торопливо топая валенками и спотыкаясь.

— Хозяйка, слышь. Буди пассажиров. Ехать надо. Беда. Пашка-то ваш Сазонов, председсовета, в волость за милицией покатил, во крест. Арестовать думает. Я, говорит, подозрение имею... Буди, буди, я уж запряг. Нукану. На дворе тает и тает, кабы дорога не тронулась. Тогда, пожалуй, на полозьях и не выберешься. Ох, сядем мы, кажется, с такими делами посредине поля и будем сидеть тама.

Филипп Степанович и Ваничка очнулись и как встрепанные вскочили на ноги.

— Кого арестовать? Ни под каким видом! — высокомерно произнес Филипп Степанович, но тут же ослабел, сгорбился и торопливо, заплетатаясь, пошел садиться в сани. Он бормотал: — Пашка, Пашка, к чорту Пашку, вот еще, скажите, пожалуйста... Провинция, мрак... Он Пашка, а я, может быть, граф Гвидо со своим собственным кассиром, понятно? Ха-ха!..

— Прощайте, мамаша, — проговорил Ваничка, стуча зубами от ночного холода, охватившего его на дворе, и влез в сани.

Сослуживцы покрыли ноги фартуком, сани тронулись. Мать побежала за ними, шлепая по воде. Она все норовила поймать за плечо и обнять на прощанье сына, но злой ветер трепал в темноте ее волосы и мешал смотреть. На деревне пропел петух.

— Ты, Ванюша, хоть бы письмецо написал, — закричала она, плача, — ну, с богом!

Ветер отнес ее голос в сторону. Она отстала, пропала. Сани, чиркая подрезами по земле, съехали с косогора.

— Нукану! — сердито крикнул Алешка и перетянул конька вожжами, — не догонит авось Пашка-то.

В полной темноте, еле различая дорогу, они въехали в жуткий лес, а когда из него выехали, то небо кое-где за елями и обгорелыми пнями уже посветлело. Наступало утро. Потянуло холодом.

Сослуживцы дрожали друг подле друга, насквозь пробранные бесприютным утренним ознобом.

— Зачем брали, Филипп Степанович? — вдруг тихо сказал Ваничка, с трудом разнимая схваченные ознобом челюсти, — не надо было пользоваться, Филипп Степанович, эх!

И, сказавши это, — сам испугался — покорно сгорбился, натужился, преодолевая озноб и уже за весь путь до самого города Калинова не сказал ни слова.

Глава одиннадцатая.

В город Калинов приехали к вечеру. В пути проболтались целый день. Дорога растаяла окончательно. Шел дождь. То-и-дело сани въезжали полозьями в такое месиво, что, казалось, тут им и крышка. Однако выдирались. Папиросы и спички все вышли и достать их было негде. Раза два заворачивали в «Деревеньковские потребительские товарищества», но там, кроме веревок и ведер, других товаров не имелось. Версты полторы шли пешком рядом с санями по сверхъестественной грязи, пока конек не отдохнул окончательно — тогда сели. А уж недалекий лес в сумерках лежал на земле дождевой тучей, и дождевая туча ползла над землей и шумела редким мелколесьем. На железной дороге блеснул зеленый фонарик.

Город Калинов был неузнаваем. Куда только девалась вся его давешняя скука? Окна трактиров и винных лавок пылали. Возле них стояли толпы. Над вокзалом пухло багровым паром дождливое небо. Вокруг площади бывшего Пуговицына горело четыре электрических фонаря. Со всех сторон гремели гармоники и бренькали балалайки. В улицах и переулках компаниями и по одиночке шатались калиновские граждане, пьяные в дым. Вокруг стоял неразборчивый гул и бормотание гульбы. Отовсюду слышались отчаянные песни. Под самым отдаленным фонарем копошилась драка, движущейся тенью своей занимая полплощади. Дождь — и тот пахнул спиртом. Лишь трезвый милиционер, перепуганный ужасно, крался вдоль стены, как кот, стараясь не наступить на пьяного и не обратить на себя внимание.

— Нукану!—закричал Алешка в восторге, подъезжая к трактиру — Нукану, вот так Калинов! Ай да Калинов! Попробуем сорокаградусной, какая она на вкус, пока всю не выпили. Аккурат поспели. С приездом вас.

Филипп Степанович понюхал воздух и встрепенулся.

— Правильно. Необходимо обследовать, — сказал он, суетливо вылазя из саней, — что ж это ты, Ваничка, а? Плюнь на все и пойдем пить сорокаградусную водку. Положись на меня. Шерри-бренди, Шато-Икем... Селедочки и огурчиков... И в чем, собственно, дело? Жизнь прекрасна. Двенадцать тысяч на текущем счету, вилла в Финляндии... Лионский кредит... Вино и женщины, масса удовольствий... Кассир, за мной!

— Валяй! — воскликнул Ваничка треснутым голосом. — Чего там, валяй!

И пошло. Двое суток под руководством Алешки пьянствовали сослуживцы в городе Калинове — опухли, одичали вовсе. Когда же очнулись днем и пришли в себя, увидели, что опять едут в поезде. Однако этому обстоятельству нисколько не удивились. Напротив, было бы странно, если бы, например, никуда не ехали.

— Едем, Филипп Степанович, — довольно безразлично сказал Ваничка, переворачиваясь на верхней полке жесткого вагона.

— Едем, — сказал Филипп Степанович внизу и, пошарив в карманах, вытащил исковерканную коробку папирос «Шик». Он осмотрел ее со всех сторон и прочитал, что папиросы Курской табачной фабрики «Нимфа» — марка незнакомая, — понюхал, сделал «гм» — и закурил. Сейчас же половина едкого табаку высыпалась из мундштука на язык, гильза сморщилась, пожухла, скрючилась — из папиросы с треском повалил зеленый дым, и запахло паленой курицей.

На противоположной от Филиппа Степановича лавке зашевелилась фигура, с головой завернутая в шотландский плед, и уравновешенный заглушенный голос произнес:

— Я бы вас попросил не дымить. Фу. Это вагон для некурящих.

«Скажите, пожалуйста»,—высокомерно подумал Филипп Степанович и обиделся. Однако папиросу притушил об лавку и с отвращением в душе пошел в клозет выплюнуть изо рта гадость и напиться. Покуда он, слабо сопротивляясь развинченными ногами ходу поезда, пил из рукомойника теплую воду и мочил виски, в его памяти возникли и промелькнули разрозненные подробности калиновской пьянки. Как будто был такой, например, момент: через город с трубами и факелами, гремя и звеня, промчался пожарный обоз и впереди, на дрожках, задом наперед как полицмейстер стоял, поддерживаемый друзьями, начальник уездной милиции — не Пўгвицын, а его преемник — в красной фуражке и кричал: «Началось! Народ, веселись! Объявляю национальный праздник в уездном масштабе открытым!» А может быть, этого и не было... Кто знает... Потом, как будто купили в трактире ящик водки и на семьдесят пять рублей вареных раков и бесплатно раздавали посредине площади желающим; народу навалило видимо-невидимо, граждане ссорились, кричали и били друг друга по морде раками. После этого наняли всех, какие только были в городе, извозчиков и велели ездить порожняком вокруг площади бывшего Пўгвицына и петь песни — весь город Калинов собрался смотреть на это небывалое зрелище. Кутили на вокзале, пили довоенный коньяк рюмками, с кем-то ругались и платили штраф. Ранним утром, посредине площади, видели рыжего мужика Данилу с коровой. Ужасно удивились. А Данила низко поклонился и безучастно сказал: «Нешто животную зимой прокормишь? Сказано продать и продать». Мелкий дождик поливал Данилу с коровой и вороны взлетали шапками в мутный, как бы мыльный, воздух. Потом где-то такое прибежал Алешка и сказал, что Пашка Сазонов с ком-

сомольцами в городе и надо уезжать, а куда — не сказал. Он же должно быть и билеты покупал и в вагон укладывал... — фу, ерунда какая! Куда же мы, однако, едем?

Когда Филипп Степанович возвратился на место, визави его, освободившийся уже из пледа, сидел на лавочке в егерском белье, опустив на пол голые ноги в сафьяновых туфлях на козьем пуху и вытирал розовую шею одеколоном четырех королей. Филипп Степанович сел к окошку и стал искоса разглядывать. Визави был человек наружности приятной — в достаточной мере полный, даже дородный, несколько лысый, носил каштановые усы и бороду с проседью, из числа тех довоенных бород путейского образца, кои, обыкновенно, тщательно опрыскиваются английскими духами, подстригаются и расчесываются специальным гребешечком на две стороны, прекрасно окружая свежие губы, цвета бледной лососины. Под глазами у него были легкие припухлости, напоминающие абрикосы, а на наружных подушечках пухлых пальцев росли красивые волосики вроде ресничек. Окончив вытираться одеколоном, визави набросил на себя свежую сорочку, натянул на ноги фильдеперсовые носки, извлек из-под гутаперчевой надувной подушечки, на которой покоился, предметы своего костюма и стал неторопливо одеваться. Сперва он просунул ноги в просторные, отлично сшитые и выглаженные шевьетовые панталоны, пристегнул резиновые гигиенические подтяжки на колесиках, встал во весь свой небольшой рост, выпятил живот и несколько раз подрыгал ляжками — не жмет ли где-нибудь, — затем повязал корректный галстук рисунка павлиний глаз и, наконец, надел такой же просторный и свежий, как и панталоны, пиджак с белым платочком в боковом кармане. Штиблетов он не надел — видно, страдал мозолями и не любил без надобности утруждать ноги — остался в туфлях. Совершив таким образом туалет, он выпустил воздух из подушечки и аккуратно прибрал постель в парусиновый чехол с синей меткой. Затем обстоятельно осмотрел и пересчитал свои места — все оказалось в полном порядке: аккуратно застегнуто в серые чехлы с синими метками на углах — два баула, плоский чемоданчик, корзинка для провизии, круглая коробка для шляп и нессесер.

«Скажите, пожалуйста, — еще раз с оттенком легкой зависти подумал Филипп Степанович, — скажите, пожалуйста, какой жуир», — и тут же спрятал руки с черными ногтями за спину.

Между тем, жуир съел два яичка в смятку и выпил чашку теплого какао из бутылки «Термос», заключенной, как и прочие его вещи, в серый же чехольчик с меткой. Позавтракав с завидным аппетитом и испачкав яйцами губы, он тщательно прибрал после себя и, протерев носовым платком оконное стекло, стал глядеть в бинокль Цейса. Однако шедший навстречу поезду пейзаж был скучен и некрасив. Тогда жуир повесил бинокль на крючечек, надел на прямой нос золотое пенснэ с пружиной и, достав из чемодана книжечку и тетрадь в кожаном тисненном переплете, принялся читать, делая в тетрадке заметки прекрасным автоматическим карандашем. Филипп Степанович изловчился, заглянул на обертку кни-

жечки и прочитал: «Уголовный Кодекс». «Эге!» — сказал про себя Филипп Степанович и его слегка прохватило препеприятным холодком.

С полчаса визави читал и делал заметки, наконец, убрал книжечку и тетрадь в чемодан, с хрустом размял грудную клетку и локти, сказал «эх-эх-эх!» и обратился к Филиппу Степановичу сочным общительным голосом:

— А вас, знаете, вчера в хорошем-таки состоянии доставили в вагон, небось не помните, ха-ха! Где это вы так с товарищем, а? — простите, не имею чести, позвольте представиться, инженер Шольте, Николай Николаевич.

— Очень приятно, — сказал Филипп Степанович, пытаясь навести на лицо достойное, превосходное свое выражение, но выражение не вышло, — Филипп Степанович Прохоров, ответственный работник по финансово-счетной части, а это мой кассир — товарищ Клюквин, Ваничка.

— Далеко изволите следовать?

Филипп Степанович неопределенно махнул рукой. Инженер Шольте скромно поклонился, как бы показывая, что не имеет в виду задавать интимных вопросов, а если и спрашивает, то исключительно для приятного препровождения времени.

— По личному делу едете, осмелюсь задать вопрос, или же по командировке?

— По командировке из Москвы, — сказал Филипп Степанович, разглаживая усы, и покосился вверх, на Ваничку, — по командировке ездим, я и мой кассир. Мы обследуем, знаете ли, различные обстоятельства. Обследовали, например, на этих днях город Ленинград. Полнейший, можете себе представить, мрак. Провинция! То-есть решительно нечего обследовать. Ну — памятники — о них я не говорю, но прочее, представьте себе, из рук вон! В гостиницах клопы, всюду танцует одна и та же украинская капелла. Во Владимирском клубе, правда, пальмы, но искусственные. На каждом шагу какое-нибудь жульничество. Всякие уполномоченные проходу не дают. Я ему — шесть, он мне — семь. Я ему — семь, он мне — восемь. У меня восемь — у него девять. Прямо шулера какие-то. Ужас.

Филипп Степанович, не отрезвевший еще как следует после вчерашнего, напал на своего конька и выложил инженеру все.

— А осмелюсь спросить у вас, — сказал инженер, сочувственно выслушав Филиппа Степановича, — большими ли вы располагаете суммами, то-есть я хотел сказать, много ли вами получено средств на обследование?

— Да что ж, — произнес Филипп Степанович высокомерно в нос, — с слишком — тысяч десять-двенадцать, — и с косого глазу посмотрел на инженера, каково, мол, это вам покажется, удивляйтесь!..

— О! — сказал инженер, сделав рот сдобным бубликом и сладко зажмурился. — О! Это солидная сумма, весьма, так сказать, внушительная.

— Я думаю, — заметил небрежно Филипп Степанович и навел на лицо достойное выражение.

— С такой суммой, хе-хе, за границу можно катнуть, всю Европу обследовать.

— Н...да, это возможно. А вы как, тоже по командировке?

— По командировке, батенька, по командировке, — вкусно вздохнул инженер, — именно по командировке.

— Обследуете тоже?

— Обследую тоже. Вернее, кончил обследовать. Все обследовал, что только можно было, и теперь возвращаюсь к пенатам.

— И большие суммы, извините, при вас были?

— Гм. Рублей, этак, полтораста своих, да, примерно, тысячи полторы позаимствованных... При известной аккуратности и экономии на такую сумму можно с большим вкусом попутешествовать, ни в чем себе не отказывая, месяца два с половиной, три. Позвольте, когда я выехал? Если не ошибаюсь, числа второго августа. Да. Месяца четыре, значит, обследую. Конечно, без особых излишеств, но бутылку хорошего заграничного вина отчего бы иногда и не выпить? Мое правило — всегда и везде сообразоваться со своими рессурсами, не так ли?

При этих словах инженер несколько подмигнул Филиппу Степановичу.

— Вы так думаете? — проговорил в нос Филипп Степанович и отчего-то ему вдруг стало страшно обидно.

— Обязательно. Экономия на первом плане, — с убеждением сказал инженер, делая в слове ѐконо̀мия округленные ударения на ѐ и о̀, — обязательно. Уверяю вас, что без экономии обследование может принять весьма и весьма уродливые формы и не доставить никакого удовольствия.

Инженер сделал небольшую паузу, почесал безымянным пальцем с двумя обручальными кольцами крыло носа и снова отнесся к Филиппу Степановичу:

— Крым обследовали?

— Нет-с.

— Напрасно. Виноградный сезон в этом году в Крыму был совершенно изумительный. Какое море, какие женщины! Клянусь небом, я никогда в жизни не видел таких женщин. На Кавказе изволили побывать?

Филипп Степанович мрачно мотнул головой.

— Милый, — не воскликнул, но запел окариной инженер, извлекая из голоса своего целое богатство нежнейших и задушевнейших нот, — милый мой. Вы не были на Кавказе? Не верю своим ушам, этого не может быть. Это неслыханно. С вашими средствами не обследовать Кавказа? Да вы в таком случае ничего не видели, если не видели Кавказа. Кавказ — это же тысяча и одна ночь, сказка Шехеразады, поэма, бог знает что такое. Одна Военно-Грузинская дорога чего стоит — уму непостижимо! Я удивляюсь вам, Филипп Степанович, честное слово! При ваших средствах не быть на Кавказе! Немедленно же, немедленно же поезжайте, милый, туда! Вы будете там принцем! Вас там женщины будут обожать, клянусь честью!

«Скажите, пожалуйста, крыть нечем этого инженера», — подумал Филипп Степанович с обидой и решил подпустить шпильку.

— А скажите, я извиняюсь, что это вы за книжечку такую с собой возите, я заметил, вероятно, интересный роман?

— Какое там роман! — добродушно отозвался роскошный инженер и махнул пухлой рукой. — До романов ли мне, посудите сами, если я возвращаюсь к месту службы? Это, батенька, Уголовный Кодекс. Без него человек, как без рук. Усиленно рекомендую и вам приобрести.

— Это зачем же?

— То-есть как это зачем? А если ваше дело возьмут вдруг да и запустят показательным процессом, тогда что? Схватитесь, да поздно будет. А так, по крайней мере, предстанете во всеоружии юридических тонкостей. Главное дело, милый, хорошенько проработайте последнее слово. В последнем слове весь эффект процесса, а остальное — миф, уверяю вас.

Тут инженер вытащил часы с брелоками, погрузился в расчеты и, наконец, сказал:

— Без четверти три. Опаздываем на восемнадцать минут. Ну и порядочки. Через полчаса Харьков. А вам, Филипп Степанович, я настоятельно рекомендую не откладывая в долгий ящик — на Кавказ. Без разговоров сходите, батенька, в Харькове и сейчас же берите билеты прямого сообщения: Харьков — Минеральные воды. Советую, конечно, в международном вагоне.

— Это идея! — воскликнул Филипп Степанович, и новая цель предстала перед ним и овладела воображением.

Он пришел в страшнейшее волнение. Он уже едва сидел на месте от нетерпения скорей приехать в Харьков, немедленно сесть в международный вагон и мчаться на Кавказ. Именно на Кавказ, и никуда больше. Как это ему раньше не пришло в голову? Путались чорт знает где, а о Кавказе не подумали. Чепуха какая-то. Теперь кончено. Все, что было — зачеркивается. И точка. То все было не настоящее, чушь, абсурд, мрак. Настоящее начинается только сейчас. В воображении Филиппа Степановича возникали и пропадали с быстротой молнии ослепительные картины воображаемого Кавказа: снежные верхушки гор, ущелия, дымные водопады, необыкновенной красоты женщины, башня Тамары, черкесский бешмет с патронами, серебряный кинжал, тесно перетянутая талия, некий общий восторг взмыленный скакун, несущий над пропастью графа Гвидо в папахе, заломленной набекрень.

Едва поезд подошел к Харькову, Филипп Степанович стал будить Ваничку.

— Вставай, Ваничка, вставай. Сейчас мы едем на Кавказ. В международном вагоне. Определенно. Харьков — Минеральные воды и точка. Пока то да се, билеты надо заказать, пообедать... В полдневный зной, в долине Дагестана, — пропел Филипп Степанович дрожащим от нетерпения голосом и потянул Ваничку за ногу.

— На Кавказ... Поедем, — безучастно промолвил Ваничка и покорно, с портфелем подмышкой, слез с верхней полки.

— Счастливого пути, — сказал инженер и сделал ручкой, — счастливцы, завидую вам. Мне время гнить, а вам цвести, ха-ха, — поправил пенснэ и погрузился в книжечку.

Сослуживцы сошли с поезда и направились в буфет первого класса.

— Это что за станция? — вяло спросил Ваничка.

— Харьков, Ваничка, Харьков. Прямое сообщение Харьков — Минеральные воды. Кавказ, брат, это нечто замечательное. Ты никогда не бывал на Кавказе? Я тоже не бывал, но, говорят, первоклассный курорт. Увидишь — обалдеешь. Международный вагон, зеркальные стекла, идеальное белье, вагон-ресторан. И что мы только раньше думали с тобой, брат кассир?.. Масса удовольствий, европейский способ сообщения... Шерри-бренди... Правильно я говорю? И выпьем по этому случаю водки — надо согреться.

Они подошли к роскошной стойке, украшенной канделябрами и пальмами, и выпили по большой рюмке водки. Закусили бутербродами с ветчиной и повторили. Затем Филипп Степанович послал Ваничку за международными билетами, а сам принялся разгуливать по буфету, превосходным взглядом обводя прекрасное помещение, где в большом синем воздухе носился фаянсовый стук тарелок, звенели колокольчики рюмок, бух гул голосов, предвещая массу неиспытанных еще удовольствий и симфонию ощущений.

Ваничка, сонно волоча ноги, ушел и вскоре так же сонно пришел обратно.

— Не хватает денег, — вяло сказал он и поковырял пальцем в прорехе портфеля.

— То-есть как это не хватает? — воскликнул Филипп Степанович в сильнейшем волнении. — Не может этого быть.

— Очень просто, не хватает, — сказал Ваничка, — до Минеральных вод за международные билеты спрашивают сто двадцать шесть, а у меня на руках одиннадцать рублей сорок пять копеек.

— Ты сошел с ума, дурак! — закричал Филипп Степанович, багровея и расстегнул пальто. — Ведь было же двенадцать тысяч, куда они могли деваться? Это ерунда!

— Все, Филипп Степанович. Может, у вас кое-что осталось?

Покрываясь пятнами зловещего румянца, Филипп Степанович дрожащими руками принялся хвататься за портфель и за карманы, но денег не оказалось.

— Позвольте, — беззвучно бормотал он, проводя рукой по холодеющему лбу, — позвольте, не может же этого быть. Куда ж они девались?

— Проездили, Филипп Степанович, — сказал Ваничка покорно.

С блуждающими глазами и отвисшей челюстью, роняя пенснэ и криво его поправляя, Филипп Степанович, сильно жестикулируя, побежал в мужскую уборную и там начал выворачивать карманы. Нашлась ском-

канная надорванная пятерка и больше ничего не было. Ледяной липкий пот выдавился на лбу Филиппа Степановича. Нос заострился, отвердел, как у покойника. В глазах потемнело и, сквозь темноту, с желудочным урчанием вокруг него по кафельным стенам бежала волнистая вода.

— Виноват, винова-а-т, — бессвязно произнес Филипп Степанович, схватив Ваничку за плечо костлявыми пальцами, — виноват... Надо подсчитать... Тут явное недоразумение... Постой, гостиница шестьдесят, два комплекта «Свиной конституции» четыреста, билеты двадцать, кинематограф десять, на чай три, Алешке пятнадцать... Так где же в таком случае остальные?

— Ехать надо, Филипп Степанович, — тихо проговорил Ваничка.

— Почему ехать, куда ехать? Нет, ты постой, билеты двадцать, «Свиная конституция» четыреста, раки семьдесят пять...

— Чего там считать, — с тупым равнодушием сказал Ваничка, отворачиваясь, — в Москву надо ехать, там все подсчитают. На билеты бы хватило.

— Ты думаешь? — дико озираясь, прохрипел Филипп Степанович отсутствующим голосом, и Ваничке показалось, что Филипп Степанович на его глазах вдруг медленно обрастает седой щетинистой стариковской бородой. — Ты думаешь, надо ехать? Да, да, именно ехать. Как можно скорее. Там мы на месте все это выясним... Едем!

Заведенным, как бы вставным, глазом, припадая и волоча за собой онемевшую ногу, Филипп Степанович заторопился к кассе. Однако на билеты до Москвы не хватило двух рублей. С минуту Филипп Степанович стоял возле кассы поникший, как бы весь перешибленный свалившимся на него потолком. Затем вдруг его схватила и понесла суетливая сумбурная энергия безумия. Он бросался посылать куда-то немедленно телеграмму, с половины дороги возвращался, бормотал, спотыкаясь, бегал по незнакомому запутанному вокзалу, добиваясь начальника станции, требовал у носильщиков какого-то коменданта, грозился написать заявление в жалобную книгу и пугливо отскакивал от собственного отражения, шедшего на него с трех сторон в сумрачных зеркалах буфета. А Ваничка бегал за ним, таща за рукав, и покорно шептал, что не надо никаких телеграмм, а надо итти, пока не стемнело, в город, на барахолку и продавать пальто. Обессилев от хлопот, Филипп Степанович сдался на Ваничкины доводы. Они вышли с вокзала и, расспросив встречного красноармейца, вскоре добрались до Блакбазы. Рынок уже кончался. Свистели милиционеры, разгоняя торговок. Накрапывал холодный дождь. Начинались сумерки. Незнакомый город зажигался вокруг туманными огнями. Несколько барахольщиков налетело из подворотни. Ежась от холода, Ваничка снял свое пальтишко. Барахольщики повертели его за рукав, подбросили и предложили семьдесят пять копеек. Набавили до рубля. Сказали, что больше никто не даст, и ушли. Подошли другие барахольщики, осмотрели вещь, оскорбительно засмеялись в лицо, скомкали и сказали, что даром не возьмут. Тогда Филипп Степанович быстро снял свое пальто.

Барахольщики ловко распяли его под фонарем, пересчитали дыры и латки, о существовании которых едва ли до сих пор догадывался и сам, ткнули в лицо протертыми локтями и карманами, посоветовались и, сказавши, что теперь не сезон, предложили три с полтиной. Филипп Степанович ахнул, но барахольщики уже удалялись, даже не оборачиваясь. Филипп Степанович побежал за ними, чавкая отстающей подметкой по лужам и задыхаясь — берите! — бросил в них тяжелое пальто, то самое пальто с каракулевым воротником, прекрасное элегантное пальто, которое всегда казалось ему необыкновенно дорогим, солидным и вечным.

На обратном пути заблудились в незнакомых улицах. Пока расспрашивали прохожих, пока кружили в переулочках, стало совсем ночь — злой дождь лил во всю ивановскую, ледяной ветер окатывал со всех сторон. Со шляпы Филиппа Степановича побежала вода. На Екатеринославской улице под розовыми фонарями гостиниц и кинематографов по щербатым плиткам изразцового тротуара плясали стеклянные гвозди, пенистая вода окатывала из водосточных труб худые штиблеты. Черным глянцем блистали зонтики, макинтоши, крыши экипажей. Пешеходы сталкивались и с бранью расходились.

— Изабеллочка! — вдруг закричал Филипп Степанович диким голосом и в ужасе прижался к кассиру. — Изабеллочка! Вон она. Бежим!

И точно нагоняя их по плещущей мостовой, как призрак катил экипаж на дутых шинах. В экипаже, освещаемая беглым светом уличных фонарей, сидела Изабелла в розовой шляпе с крыльями. Навалившись грузным своим телом на тщедушного типчика с портфелем подмышкой, она стучала по спине извозчика зеленым зонтиком, громко командуя:

— Извозчик, прямо и направо! Котик, ты ничего не имеешь, мы остановимся в гостинице «Россия»? — Щеки ее воодушевленно тряслись, серьги грузно болтались. Она была ужасна.

Филипп Степанович вобрал голову в плечи и, прыгая боком через лужи, изо всей мочи пустился бежать по улице, сбивая прохожих и щелкая по изразцам кожаным языком отставшей подметки.

Ваничка едва поспевал за ним. Только очутившись на вокзале, Филипп Степанович несколько пришел в себя. Его бил озноб. На щеках выступил шафранный румянец. Руки тряслись. С сивых усов падали капли. Он хотел говорить, но не мог — непослушный язык неповоротливо забил рот — выходило пугливое мычание.

Поезд в Москву уходил утром. Ночь провели на вокзале в помещении третьего класса. Филипп Степанович сидел, забившись в угол грубого деревянного дивана. Его душил сухой дерущий грудь кашель. В мозгу тошнотворно скребли жесткой щеткой. Скулы туго подпирали дикие глаза, глаза бессмысленно блуждали, почти не узнавая окружающего. Всю ночь Филипп Степанович бормотал в усы неразборчивые какие-то слова. Иногда он вдруг вскакивал, хватал Ваничку костлявыми пальцами за плечо и шептал:

— Изабеллочка. Тсс! Вот она. Бежим! — И ему казалось, что он видит Изабеллу, которая в розовой шляпе, с распростертыми крыльями, плывет на него, ядовито улыбаясь из непомерной глубины вокзала, стуча ботами и размахивая зеленым зонтиком, говоря: «Котик, котик, куда же ты едешь, котик? А ну-ка плати алименты, котик!».

Он, корчась, прятался за перепуганного кассира, трясся весь и, прижимая голенастый палец к усам, шептал с хитрецой:

— Тсс! Не увидит. Тсс! А вот и не увидит!..

Иногда его лицо становилось осмысленным. Тогда он, поправив пенснэ и откашлявшись, говорил с убедительной лаской:

— Постой, ведь мы не посчитали корову. Корова — сто двадцать, раки семьдесят, гостиница шестьдесят, фрукты восемь... Не понимаю, куда же они девались?

В переполненном вагоне ему стало совсем худо, однако лечь было нельзя — билеты купили сидячие. Он сидел, полулежа в тесноте, положив ослабевшую голову на Ваничкино плечо, полузакрыв покрасневшие веки, трудно дышал, словно выталкивая свистящее дыхание из опустившихся на рот усов. Вокруг пищали какие-то дети, скрипели корзинки, громыхал чайник, с верхней полки торчали толстые подошвы подкованных сапог с налипшей на них кожурой колбасы, крутился и падал табачный дым. Решетчатый скупой свет мелькал из окна по хаосу угловатых вещей, слабо перебивая унылую вагонную темноту. Гул и колесные перебои обручем обхватывали голову, давя на виски тыками. И надо всем этим кошмаром царила, как бы руководя им и подавляя, атлетической комплекции усатая дама в ротонде и дымчатом пенснэ.

Вошла она в вагон еще в Харькове, поместилась против Филиппа Степановича и сразу же оказалось, что ею заполнено все отделение. Ее сопровождал хилый молодой человек с плохими зубами, в полосатых брючах и галстуком бабочкой. Суетясь, он тащил следом за ней объемистый тюл, непомерной величины парусиновый зонтик и громыхающий чайник. Подле нее он копошился, как у подошвы горы, а она мела подолом вагонное сметье и говорила громким басом:

— Да будет тебе под ногами путаться! Садись на лавку и сиди смирно. Тьфу, сморчок, смотреть на тебя противно — и в кого это ты только родился таким поганцем, прости господи!

— Фи, мамаша, как вы выражаетесь при посторонних. Они могут подумать бог знает что.

— А вот ты у меня поговори еще, цаца! Не смей меня называть мамашей! Какая я тебе мамаша? Добро бы еще был законный, а то, извините, выстрюк!

— Хи-хи, — тоненько хихикнул молодой человек и поправил галстучек, — вы ее, товарищ, не слушайте.

— Как это — не слушайте? Извините, пожалуйста! Нет, слушайте все, как я из-за этого недоноска третий год сужусь!

Дама грозно уперла руки в бедра, выставила вперед чудовищный бюст, по форме своей напоминающий сердце, и, уставившись в упор на Филиппа Степановича глазами, заклеенными черными пластырями пенснэ, пробасила:

— Нет, слушайте все! И вы, молодой человек, слушайте! — Она ткнула Ваничку пальцем в грудь. — И вы, там на верхней полке, и вы, мадам. Все слушайте, какие мне приходится терпеть муки ради этого шмендрика, которого я — тут ее голос дрогнул и вдруг перешел на флейту — которого я, может быть, носила под своим сердцем!

Засим она вытерла щеки большим полотняным платком, трубно высморкалась и рассказала всем подробно и громко свою длинную историю, которая в коротких словах заключалась в том, что в свое время она жила экономкой у некоего полтавского холостяка помещика, отставного гвардии-ротмистра Попова-Попова, красавца и негодяя. Отставной ротмистр ее соблазнил, вследствие чего в 1896 году родился сын. Жениться и признать ребенка красавец негодяй решительно отказался, несмотря на благородное происхождение экономки. Она поклялась отомстить, хотя и продолжала оставаться экономкой. После революции хутор у отставного ротмистра Попова-Попова отобрали и объявили совхозом, а самого его сделали заведующим. Однако же, и впав в ничтожество, покрыть старый грешок Попов-Попов отказался. Тут вышел советский закон об алиментах, и хотя к тому времени сыну уже оказалось под тридцать и молодому человеку пора было уже подумать о карьере, обольщенная экономка решила жестоко судиться и не оставлять дело до тех пор, пока ей не присудят с негодяя алименты за все тридцать лет с начислением установленной пени и взысканием судебных издержек. И началась волынка. Она подавала в нарсуд, из нарсуда переносила в губсуд, из губсуда в верхсуд, из верхсуда в ВУЦИК. Всюду отказывали. Она ездила к Петровскому в Харьков и рыдала в приемной необыкновенным басом. Петровский тоже отказал. Теперь же она ехала в Москву к самому Калинину.

Голос ее гремел, как орган, то рокочущими низами, то фистулой верхов, а вся ее повесть в целом звучала взволнованной и мощной ораторией. Говорила она до чрезвычайности долго, а когда выходила по своей надобности из вагона, молодой человек говорил соседям:

— И совершенно напрасно мамаша тратится, я уже, слава богу, не маленький, мне в киностюдию поступать пора-с.

Дама говорила весь день и всю ночь — заговорила всех в доску. У Филиппа Степановича начался жар. В ушах шумело нестерпимо. Печень ныла. Сердце давало перебои. Дикие мысли скакали в голове, как остатки разбитой в бою конницы. Голос дамы забивал уши душной ватой, а сама дама реяла и простиралась до необъятных размеров. Она качалась уже в воздухе. На ее голове расцветала вдруг, как виктория-регия, розовая шляпа с крыльями. В ушах начинали болтаться серьги. «Изабеллочка»,— в ужасе шептал Филипп Степанович, хватаясь за Ваничку потными руками. — Тсс! — И грозный бас стучал молотком по вискам: «—... изви-

ните, говорит, мадам, но закон обратной силы не имеет», а я ему, а ребенок, спрашиваю, обратную силу имеет? — Так я и самому Калинину скажу, а ребенок скажу, товарищ, обратную силу имеет? — Пускай негодяй платит алименты!

Пытка продолжалась до утра. В десять приехали в Москву на Курский вокзал. Филипп Степанович еле держался на ногах. Ваничка посмотрел на него при белом утреннем свете и ужаснулся — он был страшен. Они вышли в город. Термометр показывал пять градусов холода. Дул гладкий ветер. Обглоданные им деревья упруго свистали в привокзальном сквере. Камень города был сух и звонок. По окаменелым отполированным лужам ползла пыль. Граждане с поднятыми воротниками спешили по делам. Трамвай проводил по проволоке сапфирным перстнем. Обозы ломовых упрямо везли зашитую в рогожи кладь. Дети бежали, раскатываясь по лужицам, в школу — иные были в башлыках. Приезжие с корзинами в ногах ехали гуськом в экипажах, изумленно глядя на кропотливое трудовое движение Москвы, освещенной трезвым, неярким, почти пасмурным небом.

— Постой, — сказал Филипп Степанович, как бы приходя в себя после обморока, и засуетился, наводя на ужасное лицо выражение превосходства, — постой! Прежде всего спокойствие. Тсс!

И он озабоченно поднял вверх указательный палец.

— Ты вот что, Ваничка... Отправляйся ты прямо, не заходя домой, на службу... У нас какая сегодня наличность в кассе? Впрочем, это не суть важно... Затем, значит, ты того... Ты там присмотри за ними, чтобы они все чего-нибудь не напутали. И молчок — тсс! Никому ни звука. Как ни в чем не бывало. Понятно? А я сейчас. Вот только съезжу домой и устрою кое-какие дела... Отчет надо подготовить. Главное — тсс! Ни звука. И все шито-крыто. Корова — сто двадцать, раки семьдесят пять, свиная конституция — четыреста... А пальто — это вздор, воздух сравнительно тепел и я ни капли не озяб без пальто... Сейчас вот я пойду к портному и закажу себе другое пальто. Я, представь себе, без пальто чувствую себя гор...раздо бодрее, чем в пальто... Надо только воротник поднять и все в порядке. Так ты значит отправляйся, а я это все оборудую... Можешь на меня положиться... К двенадцати я заеду... Ну, пока.

Ваничка грустно подсадил Филиппа Степановича на извозчика. Филипп Степанович поднял воротник пиджака и, придерживая его у горла, поехал, валясь поголубевшим носом вперед.

— Главное спокойствие — никакой паники, тсс! — И все в порядке... Можешь положиться на меня... Я это сейчас все улажу... — разговаривал он по дороге сам с собой убедительным голосом. — Сейчас я все сделаю. Ви-но-ват, какое у нас сегодня число? А Изабеллочке — дуля с маком! — И он украдкой показал извозчику язык.

Ваничка некоторое время стоял равнодушно, смотря ему вслед, потом подумал, повернулся и, роя носками землю, пошел в МУУР.

Глава двенадцатая, последняя.

Тяжело сопя, Филипп Степанович взобрался по лестнице на третий этаж и остановился возле двери. Тут он сердито покашлял, оправил одежду, потер озябшие руки и наконец четыре раза позвонил. За дверью по коридору шумно пробежали и притихли. Дверь распахнулась.

— Филя! Филичка! Дружок! — воскликнул рыдающий женский голос и вслед за тем жена припала к плечу своего мужа.

Бодро покашливая, Филипп Степанович вступил в переднюю.

— А вот и я, Яниночка, — сказал он несколько поспешно и развел руками.

Она оторвалась от его плеча и, пошатываясь, отступила.

— Боже мой, боже мой, — прошептала она и в ужасе заломила руки. — Филичка! Котик! В каком ты виде! Без калош! Где твое пальто? Какой ужас! Тебя искали, за тобой приходили, боже мой, что же это будет! Все продано. Зоя ходит стирать белье. Мы не имеем, что есть! Я схожу с ума.

— Прежде всего спокойствие, — высокомерно сказал Филипп Степанович в нос. — Все в порядке. Ваничка уже там. Тсс!

Он таинственно поднял палец и блуждающими глазами посмотрел вокруг. Из дверей в коридор выглядывали соседи. Не замечая их, Филипп Степанович деловито прошел в комнаты.

Голая чистота нищеты посмотрела на него из пустого угла столовой, где должна была стоять ножная швейная машина Зингера. Занавесей на окнах не было. Над столом не было лампы. Но ничего этого не заметил Филипп Степанович, весь поглощенный лихорадочной суетой деятельности.

На подоконнике боком сидел Коля в пионерском галстуке. Прикусив изо всех сил руку, чтобы не плакать, с пылающими от стыда малиновыми ушами и заплаканными глазами он в отчаянии смотрел в трубу самодельного громкоговорителя, сделанного из бутылок за время отсутствия Филиппа Степановича из дому. Из трубы слышался строгий, будничный голос, произносивший с расстановкой: «...запятая предлагает краевым запятая областным и губотделам труда выработать такие нормы запятая при чем должны быть учтены местные условия работы точка абзац при составлении норм запятая...».

— Вот что, Николай, — деловито сказал Филипп Степанович, — все — вздор! Сейчас мы будем составлять отчет. Возьми бумажку и карандаш и записывай. Ты должен помочь своему несколько рассеянному отцу. Сейчас я тебе продиктую все по порядку, а потом мы перепишем. Главное спокойствие. Пиши же, пиши...

Филипп Степанович забегал вокруг стола, — в шляпе, с портфелем подмышкой, — сильно жестикулируя и бормоча:

— Пиши: железнодорожные билеты восемьдесят пять, на чай три, извозчики семнадцать, раки семьдесят пять, свиная конституция — четы-

реста, корова — сто двадцать... Пиши, пиши, сейчас мы это все устроим. А Ваничка — уже там. Надо только поторопиться.

Жена стояла в дверях и безмолвно крутила руки. Коля сидел на подоконнике спиной, давя изо всех сил головой в раму. Филипп же Степанович продолжал бегать по комнате, натыкаясь на углы мебели и размахивая руками.

— Пиши, пиши, — бормотал он... — Сейчас... Погоди... Все это чепуха! На чем я, бишь, остановился? Виноват! А уполномоченный-то оказался гу-усем! У меня шесть, у него семь. У меня семь, а у него восемь! Как вам это понравится? Ха-ха. У меня восемь — у него девять!

Филипп Степанович засмеялся сухим, деревянным смехом и сам вдруг испугался этого смеха. Он очнулся, посмотрел вокруг осмысленными глазами и весь осунулся. Его лицо отекло, стало сизым. Он слабо потрогал пальцами длинную свою шею.

— Яня, — сказал он густым, высоким, нежным и спертым голосом, — Яня, мне худо.

— Филичка, дружок!

Он обнял ее за толстые плечи, пахнущие кухней, опираясь на них доплелся до постели, лег и застучал зубами.

Вечером его взяли.

В самом начале марта, около четырех часов дня, из ворот московского губернского суда под конвоем вывели двух человек.

Морозный день был прекрасен. Ваничка шел косолапо, с поднятым воротником, глубоко засунув руки в карманы пальтишка, несколько сбоку и впереди Филиппа Степановича, который еле поспевал за ним, торопясь и спотыкаясь. Лютый воздух цепко охватывал дыхание и возился вокруг кропотливым, кристаллическим мельканием секундных стрелок. Янина и Зоя ожидали Филиппа Степановича на улице. Едва его вывели и повели посредине санной дороги, они побежали за ним по обочине тротуара, оббегая снежные кучи и скользя по накатанным выемкам подворотен.

Филипп Степанович был одет в потертый дамский салоп на вате; голова его была по-бабьи закутана в башлык, завязанный на затылке толстым узлом; из башлыка торчали поля каракулевой шляпы уточкой, мертвый нос, да острая, седая борода; в руках болталась веревочная кошелка с бутылкой зеленого молока. Ничего не видя и ни на что не обращая внимания, он шел, старчески валясь вперед, путаясь и усердно семеня согнутыми в коленях и одеревенелыми ногами.

Солнце опускалось за синие крыши. Розовое, совершенно чистое небо хорошо и нежно стояло за куполами Страстного монастыря. Иней падал с белых ветвей бульвара. Твердый снег визжал под подошвами и трещал селитрой. Дворники сбрасывали с крыши пятиэтажного кафельного дома снег. Плотные пласты вылетали на обморочной высоте из-за карниза, в голубом дыму, и, увеличиваясь, неслись вниз компактными штуками белого матерьяла, разворачивались на лету волнистыми стол-

бами туманного батиста и хлопались, разлетаясь в пыль, у подошвы дома. Санные колеи и трамвайные рельсы блистали на поворотах сабельным зеркалом. Через дорогу под барабан важно переходил отряд пионеров. Рабфаковцы в пальтишках на рыбьем меху перескакивали с ноги на ногу и лепили друг другу в спину снежками. Под деревьями бульвара мелькали пунцовые платки и щеки. Звенели и слипались, как намагниченные, коньки. На площадках трамваев везли лыжи. В засахаренных окнах были продуты леденцовые глазки. Иногда из переулка с Патриарших прудов долетало несколько парадных тактов духового оркестра — там был каток. Тончайший серп месяца проявился над городом, и человек в австрийской шинели уже устанавливал у памятника Пушкина телескоп. Гроздья воздушных шаров — красных, синих, зеленых, — скрипя и покачиваясь, плыли над толпой, радуя глаза своей свежей яркостью, яркостью волшебного фонаря и переводных картинок. Город дышал молодым дыханием езды и ходьбы.

Сослуживцы дошли до угла Тверской и вдруг увидели Никиту.

Он бежал навстречу им, за решеткой бульвара, кивал и делал знаки,— спрашивал. Ваничка вынул из кармана руку и украдкой показал Никите растопыренную пятерню — пять лет.

Никита вытянул лицо и покачал головой с состраданием.

«Пять, мол, лет. Ай, яй, яй».

И тут Ваничка вдруг, как будто в первый раз, сквозь уходящий сон увидел и ощутил по-настоящему всю свежесть и молодость движущейся вокруг него жизни.

Пять лет! — И он стал думать о том чудесном, замечательном и неизбежном дне через пять лет, когда он выйдет из тюрьмы на свободу.

Думая об этом, он улыбался и оглядывался и видел двух женщин, бегущих рядом с ними по обочине — одну толстую взволнованную, утирающую лицо платком, другую — молодую, тонкую, в оранжевой вязаной шапочке, в бедном синем пальто, без калош, озябшую, милую, с заиндевевшими кудерьками волос и слезинкой, замерзшей на румяной щеке.

1925—1926 г.г.

Дневник генерала.

(1885 г.)

Борис Садовской.

1 января. Вчера мы встречали вместе Новый год: я, Като и Паша Панютин. Я подарил Като турецкую шаль. Сухой Редерер, по-моему, несравненно приятнее полусухого. Что-то теперь делается в Петербурге? Бедный Маркевич! Его отпевали в той же церкви, где и Пушкина. Честь эта им вполне заслужена. После «Перелома» ничего порядочного у нас не появлялось, а уж пора бы. Говорят, что Маркевич любил мальчиков. Я не осуждаю.

Паша рассказывал про своего дядю, покойного Николая Сергеевича Панютина, жандармского генерала. Он жил в доме Невского на Малой Покровке, а напротив жил отставной генерал Степанов. Оба они между собой знакомы не были, но любили сидеть у окна и глядеть на улицу, и кто придет позже, вежливо кланяется пришедшему до него. Так они лет пятнадцать прожили, наконец, Степанов умер. Панютин идет на панихиду и узнает, что покойник свой дом завещал ему. Паша помнит, как этот самый Панютин делал жандармам смотр и парад у себя перед домом. Генерал стоит на крыльце в халате, подпоясанном дамской шалью, а жандармы перед ним гарцуют на конях в полной парадной форме.

Вчера вдвоем с Пашей мы выпили 5 бутылок шампанского, и Паша ушел от нас в пятом часу, а нынче был у обедни. Я же выехал в собор только к молебну: голова болела.

6 января. Чалый хромает. Ветеринар сказал, что опоя нет, а опухоль на ноге от растяжения жилы. Бисмарк просит полтораста тысяч марок на иностранные расходы. Этого я, признаться, не понимаю, что за церемонии. Заезжал с визитом губернатор, рассказывал, как у них в Морском корпусе был кадет Пасынков. На экзамене у генерала немца он сказал: «Лютер был, хотя немец, но храбрый человек». Тогда адмирал ответил: «ну, г. Пасынков, а вы хоть и русский, а большой дурак». Лет 25 тому назад Баранов был в Лондоне, когда служил старшим мичманом на корабле Олег. В Лондоне они с капитаном пошли делать визиты. Сначала к послу Бруннову, тот их не принял. Потом отправились к Герцену-

Искандеру. Выходит Искандер; офицеры не знают, что сказать. Наконец, Баранов надумался: «мы хотим поставить на носу корабля фигуру князя Олега, не можете ли сообщить нам, в каком костюме ходил Олег?» — Извините, но я никогда портняжным ремеслом не занимался, — поклонился и ушел. Баранов хорошо рассказывает, заслушаться можно. Он очень сильный, разрывает руками колоду карт пополам. У Като мигрень.

15 февраля. Паша Панютин рассказывал, что покойный губернатор Анненков выезжал на охоту прямо из губернаторского дома. Велит спустить на Благовещенской площади зайца или лису и бросить на нее всю стаю. Лиса летит по Большой Покровке, за ней собаки, охотники, псари и все это с криком и гамом, через весь город несется прямо в поле. Негры убили генерала Гордона. Давно пора. У Чалого и задние ноги опухают. Ума не приложу, что за болезнь.

6 апреля. Всю Пасху я пролежал и только сегодня был с визитом у Баранова. Говорили про покойного государя. Последние годы он перестал краситься и стал весь седой, а лицо черное, от возбуждающих капель, которые Боткин прописывал ему для Юрьевской. Покушений он ужасно боялся. Когда Валуев с Маковым составили проект верховной комиссии, то Валуев думал занять место начальника ее. Государь остался в восторге от проекта и при всех сказал: «Ну, спасибо, превосходно, остается назначить лицо. Надеюсь, что ты, Лорис-Меликов, единственный человек, способный занять это место». Валуев был в отчаянии. Чтобы утешить его, ему дали графский титул. Государь, назначив Макова министром, спросил: «А что, Маков, воображал ли ты, стоя на правом фланге в лейб-уланах, что сделаешься такой важной птицей?». Вчера у нас были: Паша, Анна Петровна, А. А. Одинцов и Коля с супругой.

8 апреля. До Ивановой ярмарки почти 3 месяца, а мне не на чем выехать. Като советует взять левую пристяжную у Коли. Губернатор отдал визит. Рассказывал, как он объявлял смертный приговор убийцам покойного государя и предлагал им исповедываться и причаститься. Кибальчич сказал, что он на том свете не бывал, может быть загробная жизнь и есть, и попросил священника. Желябов отказался. Перовская, когда к ней вошли, раскладывала пасьянс. На вопрос Баранова, не желает ли она священника, Перовская отвечала: «если молод и недурен, да». Вот стерва! Я бы ее собаками затравил. Во время казни с Перовской сделался обморок и ее так в обмороке и повесили. Кибальчич много страдал в петле, потому что был худ и легок. Желябов из крепости писал Баранову записки, а тот показывал их государю, который делал на них свои пометки. Смешная история вышла во дворце, на панихиде, после первого марта. Митрополит зовет Баранова в алтарь и говорит, что убийца здесь, в хоре придворных певчих. Тотчас сделали розыск и оказалось, что это был не убийца, а богатый курский или орловский купец, который дал регенту большую взятку, чтобы, переодевшись певчим, проникнуть в хор и видеть на панихиде всю царскую фамилию. Баранов ездит на сером рысаке Воейковского завода.

10 апреля. Была Кармен Зыбина и сообщила Като, что у великого князя Владимира Александровича был на Пасхе афинский вечер. На дессерт подали голую француженку из балета, обложенную виноградом. Хорошо бы попробовать этого виноградцу; вот, чай, сладко! Ай да Комаров! ловко наклал афганцам! Как бы только не случилось войны.

14 апреля. Обедал Паша Панютин и рассказывал, что государь в Петербурге заехал в Александровский лицей и, застав всех мертвецки пьяными, сказал: «был бардак и есть бардак». Я описал Паше афинский вечер у Владимира Александровича, а он мне другую историю поднес. Великий князь с компанией кутил у Донона, а Грессер предложил им разъехаться по причине позднего времени. Тогда великий князь вымазал Грессеру лицо горчицей. Тот в таком виде отправился прямо к государю. Что было за это Владимиру Александровичу, неизвестно, но по головке вряд ли погладили. Грессера я отлично помню. Он был у меня субалтерном в гренадерском полку, а потом служил в Харькове губернатором. Шампанское пил прямо из горлышка. Ростом он немного пониже Петра Великого.

2 мая. День моего ангела. Служили молебен на дому, по причине моего нездоровья. От нечего делать хочу записать наши приключения в Париже во время Коммуны. Когда я женился на Като, ей очень хотелось посмотреть Париж, и мы отправились в заграничную поездку, употребив на это предприятие остававшиеся еще у меня выкупные. Франко-прусская война только что окончилась, осаду с Парижа сняли, и в нем находилось временное правительство. Вскоре по нашем приезде мы узнали, что генерал Лекок и еще какой-то, фамилии которого я не помню, расстреляны и что в Париже провозглашена Коммуна. Мы не придали этому известию никакого значения, полагая, что оно к нам, как к иностранцам, относиться не может. Однако мы горько ошиблись. Я думал, что Коммуна — это разбойничье правительство, при котором никаких законов не существует, но что иностранные подданные освобождены от подчинения этому правительству, — вышло же как раз наоборот. Мы с Като поселились в Hotel du pavillon des Rohnas в большом 8-этажном доме. Одной стороной он выходил на площадь Palais Royal, другой на улицу Saint Honoré, третьей к Лувру на улицу Rivoli и четвертой стороной на какую-то маленькую уличку. Все это место очень бойкое, выложенное четырехугольными плитами или panés, из которых главным образом и строились баррикады. Из окон нашей комнаты виден был дворец Tullerie, тогда еще бывший в полной сохранности, а весь тюллерийский сад и Луврская площадь были полны бараками, палатками и лазаретами, везде тут виднелись военные в блестящих мундирах коммунальной гвардии. Мы платили за комнату по 30 франков в сутки. Как сейчас помню чудный весенний день в конце марта или в начале апреля 1871 года. Мы с Като пошли погулять и, кстати, позавтракать. Веду я ее под руку и ничего не думаю, вдруг налетает какой-то господин и хватает мою Като за другую руку. Я предложил ему убираться прочь, но он со смехом обнял

Като за талию. Тогда я его ударил и сшиб с тротуара. Тогда нас всех захватили и, узнав, что мы с Като иностранцы, повели на Vandôm'скую площадь, где помещался главный штаб и Комитет общественной безопасности. Против этих зданий расположился почетный караул из федеральных солдат или разведчиков c'eféreurs de Paris, как объяснил нам наш portier, взятый с нами в качестве свидетеля. Като страшно волновалась и даже плакала, я же твердо знал, что меня, как полковника русской службы, никто не смеет тронуть, и был спокоен. Мы ждали около двух часов. Вдруг показался национальный гвардеец с протяжным криком, наподобие уличного разносчика: «Procureur de la commune!». Все засуетились, и вошел господин, довольно полный, еще не старый, курчавый, с русой бородкой и очень хорошо одетый. Перед ним шли два гвардейца с ружьями, а сзади секретарь с портфелем. У прокурора был утомленный вид. Он выслушал сначала Като, потом меня. Когда я упомянул о своем чине, он улыбнулся и сказал фразу, которую я не понял. Потом обратился к нахалу, затронувшему Като на улице, допросил свидетелей и нашего portier и сказал краткую речь. Он сказал, что правительство не дает привилегий никому, но дамам оно предоставляет полные права, поэтому важна не обида, нанесенная даме, а то, что дама может обижаться на такие пустяки. Вообще что-то в этом роде, всего я хорошенько не помню, а остальное забыл. Затем он сделал строгий выговор нахалу и предложил ему удалиться. Нам же он посоветовал как можно скорее выезжать из Парижа и вообще из Франции. Разумеется, мы с радостью согласились, и прокурор велел сейчас же выдать нам пропуск. Тем дело и кончилось.

6 мая. Кармен Зыбина заезжала проститься перед отъездом за границу и привезла пикантную новость про министра Делянова. В Петербурге на Знаменской площади есть номера, куда забираются на ночь парочки. Чиновник ревизовал ночью эти номера и хотел пройти в одну из комнат, но хозяин чуть не на коленях умоляет его не ходить. Тот рассердился и все-таки вошел. Смотрит — а в кровати Делянов с дамой.

Обреченные.

(Быль).

Гр. Смолянский.

Поляков продвигался «по веревочке» — от корчмы до корчмы. Дорога шла от Мозыря по крутому обрыву вдоль узкой полесской реки. Старый Гедаля заложил знаменитую в местечке белую пару и, охая, вздыхая, причмокивая губами, гнал непередаваемой еврейской рысцой. Время было тревожное. В городке после немцев сидели большевики, а из окрестных сел и соседних местечек появлялись каждый день все новые и новые беженцы, и рассказы о «бандах» зловещим шопотом передавались из уст в уста. За чертой городка кончалось представление о власти, и старик-балагула беспрестанно и тревожно оглядывался кругом.

Борис Поляков сидел глубоко в «фаэтоне» и полудремал. Последняя поездка в Москву утомила его. Партия, в которую он слепо верил, которой он безраздельно отдал свою жизнь, находилась на ущербе. Он ощущал инстинктивно какую-то бесцельность своего предприятия. Но сила рутины, беспрестанный риск и опасность, привычный образ мыслей, созданный десятилетиями суровой борьбы, гнали прочь эти минутные сомнения. Поляков знал твердо: нет ничего более святого, чем террор. Из памяти не выходила прощальная ночь, проведенная в Москве в обществе обожаемой всей партией старой террористки Леонтьевой, и последний материнский поцелуй, который она подарила ему, благословляя на смерть и на подвиг.

* * *

Когда-то, лет десять назад, в глухом швейцарском городке, Борис Поляков впервые поверил. Вся страстность еврейского мальчика, нараспев изучавшего детские годы талмуд, была в этой вере. Он верил в чистое знамя партии, ее непобедимую мощь, в ее незримых руководителей, престарелого Левинсона, побелевшего в революционных боях, во всех стариков, у которых на стенах портреты народовольцев, прогнившие от цынги зубы, желтые от табака бороды, а за спиной — десятилетия одиночных камерных мук и кандального звона.

Мальчик из зловонного душного гетто, он упивался мечтами о деревенском просторе, о повстанческой вольнице, волжской шири. Слабый

и робкий — он лелеял одно лишь желание: вырасти из слабой своей оболочки, стать сильным и смелым. Он знал, что там, где эсдеки платят тысячелетиями тюрьмы, эсеры платят молодой драгоценною кровью. И выбор был прост и понятен. И когда в странной нише на рейнском мосту белый, как лунь, Левинсон передавал Полякову первую явку в Россию, смотря на него в упор своими пытливыми и умными глазами, он без труда прочитал сокровенные мысли и чувства еврейского юноши.

* * *

С тех пор, как произошел переворот, Борис Поляков не знал ни минуты отдыха. День и ночь он бегал по митингам, писал, говорил, заседал в комитете, строил то, что он и его друзья называли аппаратом партии, не понимая, что партии уж нет. Было все просто: царь, генералы, охранка; партия, старики, революция. И случилось как-то так, — и Поляков не заметил, как это произошло, — что генералы стали говорить, как старики, а старики думать, как генералы. Рассказывал Левинсон: когда выезжал из Лозанны под пломбой — у входа в вокзал показалась худая фигура старика Любатовича. Иссохшие палки быстро промчались, голос был резок и глух: «Марк, осиновый кол себе на могилу вбиваешь!» А через день, у Народного Дома, аскет, который стоял лицом к эшафоту и два раза мерил туда и обратно великий кандальный тракт, злобно каркал своим голосом жутким, загробным: «Жиды Россию продать хотят!»

Заметил также Поляков: рассказ Левинсона был тих, осторожен. Словно стеснялся чего-то старик.

* * *

Впереди бьет барабан. Ожили шеренги — и легко и свободно двинулись в путь. Безучастно смотрит — и в ногу идет Поляков. Он любил и боялся толпы. Вон рота матросов: брюки клеш, белый хлеб из кармана торч т, лица помяты и бледны, как после бессонных ночей в кабаках и притонах. Через час — кто из них с окровавленным черепом мостовую на Невском займет? В глазах странный блеск и решимость. Сильные руки знамя сжимают. «Вся власть советам!» «Война дворцам!»

* * *

— Вы в Смольный, товарищ?

В полумраке зимнего петербургского дня светят серые лучистые глаза Ксении. Ксении 29 лет. Совсем юной девушкой - полуребенком — она со скамьи института благородных девиц попала в Акатуй. Нежная, стройная, из числа тех изящных эсеровских барышень, что с поясом, начиненным динамитом, пускались в пляс, она за десять лет тяжелого каторжного режима приобрела грубые рабочие руки и суровый загар. Но когда лицо улыбалось, исчезали преждевременные морщины и словно мягкое весеннее солнце испускало лучи.

— Как, вы ничего не знаете? Ведь там сегодня собрание повстанческого комитета! Немцы наступают и наши решили организовать крестьянские восстания у них в тылу. Торопитесь!

Посмотрев затем пристально: «А знаете что, товарищ Борис, ведь нам с вами надо подумать! Пожалуй, для настоящего революционера найдется сейчас хорошая работа... Что вы скажете о терроре?»...

За высоким сугробом снега у пустынного переулка улыбнулись на прощанье глаза. Характерный нервный шаг постепенно замирает. Так, вероятно, бродил по снежным пустыням Петербурга прадед-декабрист и страстно мечтал о тираноубийстве.

* * *

Март тысяча девятьсот восемнадцатый. Так же, как всегда, улыбается застенчиво весеннее солнце и на Невском, рядом с мутными лепешками и шоколадом, продают фиалки. Но взгляды людей беспокойны. Необычно торопливы шаги редких прохожих, и мальчишка на углу неуверенно выкрикивает: «Немцы и Рада взяли Киев!». «Наступление германских войск на Петроград!».

Комитет решил созвать большое совещание.

Когда Поляков открыл дверь, за большим круглым столом шел ожесточенный спор. В центре восседала группа каторжанок-террористок, составляющих ядро партийной верхушки. Исступленно-фанатично чернели глазные впадины Леонтьевой, обведенные зловещей зеленой каймой. Черты нечеловеческих мук запечатлелись на странно-бледном лице и веяло от всей тщедушной фигурки каким-то нездешним упорством. Рядом с Ксенией сидела молча и сосредоточенно смотрела пустыми глазами, как бы изучая и оценивая присутствующих, коротко стриженая, похожая на старого актера, Самойлова. «Женщина-дьявол» — шутя говорили друзья. И было странно видеть в роли политических руководителей партии этих законсервированных, полубольных женщин, заменявших в партии стариков, отступивших в авангарде разбитого войска. Резким диссонансом выделялась в углу библейская борода Левинсона, который смотрел умными, понимающими глазами и беспрестанно кряхтел. В глаза бросалась фигура брюнета с смуглым южным лицом, оживленно и взволнованно жестикулирующего. Это — первый оратор партии, Сомов. Человек одаренный, но легко поддающийся чужому влиянию и безответственный. Устремив взор на своего собеседника напротив, явно ожидая от него поддержки, он говорил скороговоркой, но раздельно и как бы вслушиваясь в музыку своей собственной речи. Его собеседник, кавказец Зарганян, составлял с ним полную противоположность. Скупой на слова, организатор по призванию, пожалуй, единственный организатор в этой среде безвольных, прекраснодушных интеллигентов, он легко подчинил их своему влиянию и фактически диктовал комитету свою волю. Этот человек знал, чего он хотел. Поправляя поминутно привычным жестом пенснэ, он пускал густые клубы дыма из причудливой восточной трубки.

Кругом бегали и суетились прилично одетые, бритые молодые люди, с выражением «сверхчеловеков» на «подающих надежды» высоких лбах.

До Полякова донеслись обрывки заключительной речи Сомова:

— Мы не можем, товарищи, без конца слепо итти за большевиками... Наступает момент, когда партия должна действовать самостоятельно — даже если ей придется столкнуться с большевиками. В тот день, когда в Москву приедет посол германского кайзера, будет подписан смертный приговор революции. Войне империалистической мы противопоставим войну революционную. Пусть немцы наступают — они захлебнутся в великом партизанском море... Энтузиазм рабочих масс Красного Петрограда — порукой того, что мы сумеем организовать мощное революционное сопротивление. Наша партия растет с каждым днем. И мы должны быть готовы — когда час пробьет — взять власть из слабеющих рук капитулирующего большевизма...

— Браво! — шумно аплодировали бритые молодые люди. Крепко сосал длинную трубку и загадочно улыбался Варганян. И еще тяжелее, чем обычно, как бы о чем-то предостерегая, в углу кряхтел Левинсон.

В углу, окружив себя бритыми юношами, не спеша и манерно, с оттенком легкой иронии, говорил о «неизбежном» высокий изящный эстет Володин, деливший досуг между заседаниями комитета и кафе на Петровке, где собиралась богема. Для него революция — это «пафос жеста». Вокруг стола, где сидела Леонтьева, по-стариковски семенил Левинсон и, вытирая красным платком вспотевшую от волнения лысину, жалобно плачущим тоном убеждал Леонтьеву стоять на своем. Из угла в угол, пощипывая рыжую бородку, качаясь как на молитве, шагал неровной походкой революционер-мистик и талмудист Гольдберг. Изредка останавливаясь против Сомова, он бросал ядовитые реплики-парадоксы. Даже здесь, в этом собрании раритетов, где заботливо культивировалась «личность», это был единственный в своем роде, непревзойденный уникум. В глазах — странная смесь: столетия гетто, «вечного жида» — и «пафос жизни», жажда солнца, людей и борьбы. По утрам, повернувшись лицом на восток, в одеянии чудном — плач о Сионе; вечером — Смольный, бунт всенародный, «гибель богам». Гольдберг — кумир каторжанок. Наивно-восторженно следит Ксения за тощей фигурой, и уродство в ермолке и с бомбой в руках, взращенное в четырех белых стенах ешибота, окружает ореолом «духовного горения».

Движение в комнате все возрастало: все говорили, перебивали, убеждали друг друга — и не было внутренней веры в словах, витал рок обреченных судьбою.

Зло и убежденно раздался глухой, хриплый голос Варганяна. В чахоточных глазах — наследие каторги — болезненный упрямый огонь. И это упрямство и убежденность тона, как гипнозом, внушают уверенность и душевное равновесие. «Мы не будем больше стоять на запятках... Развитие нашей партии требует от нас или самостоятельных действий, или самоубийства. Хотите ли вы добровольно покончить с собою? Посмо-

трите на сотни наших делегатов на съезде... За каждым из них стоят губернии и уезды... Разве октябрьская революция была сделана с большими силами?.. Во время войны я был сторонником сепаратного мира. Но разве может революция существовать милостью прусского короля?.. Так неужели мы будем цепляться за призрак власти? И все равно нам боя не избежать»...

Теснее грудились ряды комитетчиков. Каждое новое слово Варганяна вселяло бодрость и готовность к борьбе.

Поляков был охвачен общим настроением. С умилением он разглядывал знакомые близкие лица, и ему казалось, что нет той силы, которая могла бы вырвать его из этой семьи. Как в заброшенном, обреченном отряде — во вражеском кольце — все ближе ютились друг к другу, и Поляков, как и все здесь присутствующие, считал эту интимную близость выражением высшей любви и преданности партии.

Кто-то сзади негромко назвал имя Полякова. Обернувшись, он заметил легкий кивок Леонтьевой. Любовно глядя на него и на Ксению, она передала ему, что Комитет подтвердил создание боевой организации и план убийства германского генерала. Для Леонтьевой террор — святая святых, и имя его она произносит шопотом. Сердце Полякова часто забилось — от прилива гордости за огромное доверие, оказываемое ему партией, и от странного беспокойства, причины которого он не понимал. Взволнованный, счастливый от нахлынувших чувств, он торопливо попрощался и вышел на улицу.

Когда он снова проходил по Невскому, улица была совершенно пустынной. Навстречу попался отряд моряков. Идут беззаботно и просто. Стыдливо волнуется алое знамя и в складках скрывает призывы о мести. Добровольцы на Дон. Первые вестники гражданской войны.

* * *

На Потсдамской площади, в огромном кафе, Поляков должен был встретиться с немцами. Был теплый майский вечер. По первому взгляду трудно было бы разгадать, что город четвертый год ведет беспокойную жизнь полуголодного существования. Сновали густые толпы народа. В вечернем сумраке не так бросались в глаза бумажные модели и деревянная обувь в роскошных витринах. Залитые электричеством рестораны, веселая задорная музыка и пышные разрисованные пирожные из суррогатов давали иллюзию сытого благополучия.

За круглым мраморным столиком сидели женщины и двое мужчин. Еще у входа Поляков сразу заметил карикатурно-конспиративные лица и беспокойный взгляд, который бросали их обладатели. Высокий, немолодой уже, с характерной бородой немецкого учителя, Кинкер подошел к Полякову, взял его за руку и, не выпуская ее, подвел к своим товарищам.

За столиком завязалась оживленная беседа. Длинно и обстоятельно рассказывал Кинкер о том, что делается на театре военных действий, как вся страна, самые широкие рабочие массы живут сейчас надеждой на

скорую и решительную победу на Западном фронте. После неудавшейся январской забастовки настроение берлинских рабочих падает с каждым днем. Правительство, арестовав Либкнехта, Розу Люксембург и др., свирепствует, как никогда. Политическая и общественная реакция достигла своего апогея.

— И самое тяжелое для нас, немецких социалистов, — закончил он, обращаясь к Полякову — это сознание, что мы являемся палачами вашей революции. Когда я встречаюсь с русскими товарищами, мне стыдно перед ними за то, что я немец.

— Почему же, в таком случае, вы не ведете активной подпольной борьбы с вашим правительством?

— Такую борьбу мы ведем, хотя в очень слабых размерах. Время от времени нам удается выпустить одну-другую прокламацию, кое-где организовать забастовку, иногда даже провести демонстрацию. Но все это тонет в общем море жестокой реакции, возглавляемой Гинденбургом и Людендорфом.

— Почему вы тогда не применяете террористического метода русских социалистов-революционеров? Неужели среди вас не найдется таких, которые способны отдать свою жизнь за дело рабочего класса? Наконец, мы, русские, можем вам помочь в этом и предоставить вам нужных людей.

Лицо благодушного немца изобразило одновременно широкую довольную улыбку и какой-то внутренний, затаенный испуг.

— Хорошо бы! — мечтательно произнес он. — Но только среди нас, пожалуй, действительно не найдется людей, подобных вашему Каляеву или Сазонову. Допустить же, чтобы в момент генерального наступления на Западе акт был выполнен русским, значило бы с нашей стороны совершить величайшее преступление. На вас будут смотреть, как на наемных провокаторов Антанты. В лучшем случае вас будут считать мстителями за поруганное национальное самолюбие России.

Затем, нагнувшись, тихо добавил:

— Впрочем, есть еще выход. На Восточном фронте, там, где штык прусского империалиста вонзился в живое тело вашего народа, убийство германского генерала было бы понятно и вашим и нашим рабочим.

Еще долго продолжался разговор. Сосед Кинкера, франкфуртский доктор, редактор партийной газеты, хотел все знать о России. Его живые черные глаза впились в Полякова. Вопросы были тонки и метки; в частых репликах сквозило легкое недоверие. Слушая рассказ Полякова, он время от времени как бы ронял про себя: «Какая ошибка». В тоне — сознание своего превосходства.

Поляков устал. Неудача раздражала его. С досадой смотрел он на высокий лоб франкфуртского доктора, думал о русских ошибках и мучительно гадал, почему собеседник... не ошибался.

* * *

По Институтской, вверх, у самого края крутого, извилистого спуска, стоит двухэтажный кукольный дом. Внизу у подъезда бутафорская стража в фантастических ярких нарядах. В двенадцать часов раздается удар барабана, и на эстраду выходит сто двадцать статистов. Царя Гороха почетная стража. С балкона спускается стройный, высокий брюнет. На бритом и длинном лице — железная воля актера на сцене. Грозно сверкает оружие статистов. Мощное «виват!» доходит до самого края дворца. Сбоку две пары сверкающих глаз возбужденно следят. «Ксения, как это мы без оружия?»

День рождения гетмана всея Украины.

* * *

Улица, где жил генерал, тихая и широкая. От власти к власти не меняют каштаны зеленой одежды своей и со свежими ранами загубленных надежд равнодушно встречают новых хозяев. Рядом со штабом, где ведется учет хлеба и крови подневольного края, монотонно жужжит телеграф. На перекрестке, откуда взглядом коротким и быстрым улицу схватишь, как на ладони, черный помятый котелок — единственное штатское пятно в этом гнезде победителей — предупредительно-назойливым взором провожает медленно удаляющуюся Ксению.

Напротив — окно генерала. На темных обоях отливаются золотом рамы портретов: направо — Вильгельма; налево, поменьше — философа Фихте. Позднею ночью бросает зеленый абажур мягкий томный свет и рисует силуэт низкого, плотного генерала в домашнем халате и с трубкой в зубах. На массивном столе — уставы, «дела», донесения о кухнях солдатских и раскрытая книга с отмеченной недочитанной страницей восторженной идеалистической философии.

Когда стрелка часов на военном телеграфе показывает без пяти минут два, раздается оглушительный сигнальный звонок. Торопливо строит ряды караул. Генералу навстречу спокойно идет рязанский матрос. Поровнялись. Взгляды скрестились. Рука поднялась. Со звоном ударилась крышка о камень и медленно катит к ногам генерала. Змеиным матросским движением хватает Донцов слетевшую крышку. Машинально подняв воротник,— как бы пряча лицо от непрошенных взоров, — идет к перекрестку.

Недоуменно застыли серые каски.

Пытливо и странно глядит генерал...

* * *

... Бледный, худой стоит Донцов перед Ксенией. Впали и покрылись скорбной дымкой глаза. В полумраке заброшенной дачи — штаба отряда — заглушается шопот порывом ветра в открытую дверь.

— Пятый раз выхожу — и все неудача. Вчера между мной и генералом осталось каких-нибудь десять шагов. Вдруг путь преградила военная лошадь. Сегодня казалось, что все уж готово. И когда рука поднялась — слетела с термоса крышка. Что вы должны обо мне думать? Но я, только я доведу до конца!

За окном однообразно и нудно отбивает дробь мелкий холодный дождь. Шелестит густо поросший вокруг дачи орешник, и тихим опасливым шагом входит старик Беленчук.

Отряд в сборе. Хотя все пятеро видятся почти каждодневно, но в нервно-напряженных лицах, в бледной тени мерцающих свеч, во всей необычности внешней обстановки — печать особой значительности сегодняшней встречи. Пять раз под-ряд выходил Вася Донцов со снарядом. Пять раз по утрам целовались, тоскуя, друзья. И задумчиво множатся морщины на усталом лице Ксении. Раздражительной и желчной становится речь Беленчука. Кривится во весь рот ядовитая усмешка Валентина.

— Ну, что, опять ничего не вышло? — отрывисто бросил Беленчук. — Впрочем, я и так это вижу, без пояснений.

Понуро опустил голову Вася Донцов. Ласково и без упрека глядит на наивно-круглую матросскую физиономию Ксения. Не спускает усмешки чуждое лицо Валентина.

Поляков первый нарушил тишину.

— Дело не в упреках, друзья. Надо торопиться. Я сегодня видел представителя комитета, который сообщил мне, что у нас есть конкуренты. Украинские эсеры чуть не на этой неделе готовят удар. И если мы не сумеем их предупредить, акт может быть вырван из наших рук... Я условился с ним: если акт будет наш — на дереве, у скамьи, где наши свидания, будет вырезан крест.

— Так вот оно что, — встрепенулась Ксения. — Теперь я понимаю. Когда я в последний раз следила за домом генерала, впереди меня медленно и долго прогуливался какой-то студент. Я приняла его за шпика. Но этот ищущий, напряженный взгляд, эта специфическая устремленность фигуры, свойственная и понятная лишь нам, меня совершенно с толку сбивали. Сейчас ясно. Это был наш «конкурент».

— Все равно, ничего не выйдет! И я советую бросить все это дело! А сам я уйду в партизаны...

Злорадно усмехнулись разлагающие глаза Валентина и быстро исчезли в темноте густого орешника.

На минуту воцарилось неловкое молчание. Взволнованно срывается с места Донцов, как бы желая вернуть Валентина. И в детски обиженном голосе новая, нездешняя нотка, — что как током пронизало всех.

— Нет, он неправ! Генерал будет убит, и убью его я!

И так же странно и пытливо смотрел Вася Донцов, как генерал перед крышкой от бомбы.

Был во всем виде Донцова резкий контраст с боевиками-украинцами. Там — темперамент, буйство казацкой ватаги, нетерпение степного коня. Здесь — простор русских полей, тихая безоглядная преданность и мягкая застенчивая рязанская улыбка.

— Мы все сделаем, как раньше. Никаких попыток к побегу. Я только назад отскочу, чтобы целым остаться для первых показаний от имени партии... А сейчас — спать. Мы все ведь устали.

Не возражая, все разбрелись по углам. Напротив Васи Донцова лежал Поляков и сосредоточенно и молча вслушивался в монотонную музыку ветра. Еле светит, догорая, свеча. Голова, как свинцом, наливается, и перед глазами мелькают красные точки. Один генерал... два генерала... много генералов в грозных блестящих касках... Под окном, на крыльце, на каждом кустике и ветке орешника — тоскливые серые каски... Вспыхнула в предсмертной агонии свеча. Осветила румянец на круглых матросских щеках и ровно дышащую грудь. Скорее подумал, чем вслух произнес Поляков:

— А завтра генерал будет убит!

* * *

— Будет сегодня или не будет?

Сидя на прилавке у чистенькой кирки, чертит на песке Поляков.

Ксения, опустив голову, бессознательно читает глазами. И оба не заметили, как пред ними очутился Донцов.

— Что случилось? — В тревожном вопросе Ксении крик, близкий к отчаянию.

— Ничего не случилось. Осталось пятнадцать минут. И чтобы не бросаться в глаза, я к вам подошел. Ведь я в квартале от вас, — за углом... Прощайте, товарищи!

Осторожно кладет термос на левую руку и, еще раз обернувшись назад, исчезает в переулке.

Проходит пять, десять минут. Как завороженные, на маленьких часиках Ксении оба считают секунды. Вот точка на двух. Остановить бы движение стрелки...

«Бах!» Шарахнулся и быстро промчался вниз высокий франтоватый господин. На лице понимающая, загадочная улыбка.

Тихо. Кругом ни души. Как прикованные, сидят Ксения и Поляков и не спускают глаз с переулка. Таким таинственным и недоступным стал сразу загиб. Вот-вот мелькнет знакомое серое пальто и простая рязанская улыбка осветит круглый загар.

Все чаще и чаще шныряют серые каски. Подозрительно и сурово глядят на прилавок у кирки.

Условились с Донцовым: каждый раз, после двух, полчаса ждать внизу в «варшавской» кофейной. И тяжелым шагом спускаются Ксения и Поляков к блестящему центру. В кафе музыка. И в шум города не ворвался еще сухой треск от разорванной бомбы.

Через час извозчик — в полуоборот к Полякову — торжествующе сообщил:

— Наши генерала убили!

— Какие наши?

— Оттуда!

На высоком тополе, что на третьей аллее ботанического сада зияет свежий черный крест.

* * *

На Лукьяновской площади, напротив ржавых решеток «романовых дач», глухо стучат топоры. Лихорадочно суетятся арестантские халаты, подгоняемые матерным окриком тюремного аспида, «старшего» Боровчука. Огромного роста, со злобными белесыми глазами и до пояса рыжей бородой, он представлял живое олицетворение героя жуткой детской сказки. В годы первой революции, когда по ночам на заднем дворе, где больница, строились высокие виселицы, он за волосы таскал приговоренных «экси-стов» на казнь. А по воскресеньям и праздничным дням в темном углу тюремной церкви истово крестился и клал земные — до крови — поклоны.

Весело и споро стучат топоры. И когда на востоке алеет заря, испуганно и крестясь спешат мимо пройти редкие прохожие на соседний базар.

Мерно бьет барабан. Не произносит, а лает команду лейтенант. Заволновались ряды генералов, столичных журналистов, профессиональных политиков не у дел, что лениво, скучая, бродят по центру.

Ахнула толпа. — Где ж человек?.. Одиноко темнеет на помосте пятно, что когда-то называлось Васей Донцовым.

— Эй, палач, знай свое дело!

Угрюмо-задумчивы Фрицы и Гансы.

Затаенною местью светят щели ворот.

* * *

В городе было тесно. Настороженно смотрят надменные лейтенанты, ловя тайный злорадный блеск полу-опущенных — при встрече с серыми касками — глаз. И когда стальные ряды тевтонских когорт провожали в последний путь генерала, призрак смерти — длинная бледная тень — тянулась от гроба, покрывая ряды.

В городе душно. И в черные киевские ночи напролет до рассвета бродят по лесу Поляков и Ксения, вдыхая одуряющий аромат высокой смолистой сосны. Еле волочатся усталые ноги, а красные, воспаленные глаза не оторвать от густого орешника, где в центре, невидно для глаза, расположена желтая дача — штаб боевого отряда.

Этот день был полон тревоги. После бессонных ночей в лесу, спускаясь с вокзальной площадки, Поляков лицом к лицу столкнулся со старой еврейкой, хозяйкой квартиры, где жил он и Вася Донцов. Та всплеснула руками.

— Наконец-то, господин, вы пришли! Как хорошо.. Я думала — живы ли вы? Из сыскного отделения сказали: как только придет — сейчас вместе с ним явиться туда.

Любопытно и с удивлением смотрят прохожие на странную пару. Минута — сомнение... И по дороге в город, смешавшись в куче крестьянских подвод, быстро-быстро спешит непривычный пешеход в ярко-светлом костюме и нарядной соломенной шляпе.

— Эй, панич, довезем!

— Пеший конному не товарищ!

На брест-литовском шоссе, в группе нянь с грудными детьми, мелькает осунувшееся, грустное лицо Ксении.

— Ну, что?

— Провалились!

— Как же быть? Ведь я условилась с представителем комитета, что мы сегодня обо всем побеседуем у нас. Придется эту ночь провести еще на даче. Я не думаю, чтобы все провалилось сразу. Это какая-нибудь случайность.

В кафе, где все трое сошлись, было неотвязчивое ощущение западни. Неприятно щупали бегающие глаза темного субъекта в углу. Странно улыбался хозяин. И в глазах друг у друга читали вопрос: «шпикомания или — крышка?».

Тихо у дачи. В темноте густого орешника взялись за руки. На веранде в условленном месте ключ.

— Стой! Ни с места! Руки вверх!

Тяжело поднимаются серые каски. Быстрее, чем молния, освещают орешник ручные фонарики.

— Стой! Не смей бежать!

Часто и гулко трещат револьверы.

Как тяжело бежать! Словно пудовые гири давят на карман платок и перчатки.

Под мостом часовой.

— Darf ich hier durchgehen? Ich habe mich im Walde verirrt.

— Bi-tt-te schön!

Тревожно гудит автомобильный рожок. Пытливый прожектор лишь на секунду задержался над необычными кругами стоячей воды неглубокого рва.

Над городом зарево. Горит стеклянный завод. И в толпе смешалась и быстро исчезла окровавленная фигура в грязном ярко-светлом костюме и нарядной соломенной шляпе.

* * *

По Тверской, с Александровского вокзала, в желтом френче и запыленной студенческой фуражке, задумчиво спускался Поляков.

Скудно освещали редкие фонари заколоченные витрины, и одинокие прохожие молча, как тени, миновали друг друга. Казалось, что город вымер. И грязная заплеванная мостовая, и яркие футуристические плакаты на стене, и полудохлая кляча московского «ваньки» — почти музейного представителя минувшей эпохи — были так далеки от крепкого, сытого запаха киевской улицы. Но каждым атомом своим ощущал Поляков напряженное и частое биение пульса великого города. И была такой милой и болезненно-близкой убогая внешность э т о г о центра.

Когда Поляков подошел к зданию комитета, он нерешительно задержался. — «Куда итти?» Три дня, проведенные им в обществе уцелевших остатков комитета, обнаружили перед ним картину полной растерянности

и разброда. Все было полно противоречий. Фанатик «сурового долга» Татьяна Леонтьева, почти накануне восстания звавшая к миру любою ценой, сидела за густою кремлевской решеткой. Она «исполняла долг» перед партией. Террористка Коваленко, всю свою молодость отдавшая каторге, проклинала убийство немецкого графа, как величайшее предательство революции. Рожденный «божьей милостью» организатором масс, Варганян в глубоком подполье строил воздушные замки заговоров и восстаний. Участники восстания отрицали самый факт восстания. Молодые, бритые юноши, никогда не нюхавшие раньше пороха, вся жизнь которых протекала за лаборантским столом или тетрадкой лирических «поэз», ходили нахохлившись и призывали к «священной мести». Чувствовался безысходный тупик в речах «ортодоксов» о великих традициях партии, — такой же точный тупик, как тогда, когда старики, бросая первыми боевые доспехи, рассеянными отрядами исчезли в небытии. И было все это так непохоже на то, что пережито там, за темно-синим украинским горизонтом, где враг стоит перед лицом и все было так просто и ясно.

Дверь комитета с шумом открылась, и оттуда вывалила оживленная компания — Коваленко и ее «фракция».

— А, Поляков, мы вас ищем! Пойдемте с нами.

Взяв под руку Полякова, Коваленко стала с жаром рассказывать ему о том, как комитет обманул партию, устроив восстание, а потом от него отказавшись. Беспрестанно обращаясь назад, она с возмущением передавала об интригах, которые ведут против нее старые комитетчики. Чувствуя, как почва у них колеблется под ногами, они пускают в ход демагогию, желая дискредитировать ее в глазах партийной массы.

— Но это им не удастся! Мы готовы на все. И с нами уйдет вся партия, — оставив их в приятном подпольном уединении...

Поляков слушал этот рассказ в третий раз. И хотя он смутно чувствовал правоту Коваленко и готов был признать легкомысленное поведение комитетчиков, но это не доходило как-то глубоко до его сознания. Коваленко казалась ему одержимой специальной ненавистью не без примеси личных отношений — к комитетчикам. И в то же время добивать лежачего — каким представлялся ему в этот момент комитет — он считал недопустимым, нетоварищеским актом, — более того, преступлением по отношению к партии и революции.

— Ну, а вы как, Поляков?

— Трудно сказать! Когда мы с Ксенией на Крещатике читали первые телеграммы о восстании и видели радостные улыбки на лицах разряженной черни, шныряющей по центру, я сразу почуял, что случилось что-то нехорошее, быть может, даже непоправимое. Но что же делать? Какой путь указываете вы? С партией прожита вся жизнь, и расстаться с ней можно только в гробу. Как говорится: «vivre et mourir pour la meme raison». Правда, как это сделать?.. Впрочем, что касается меня лично, то я вижу, что мне здесь не жить. Я задыхаюсь в этой атмосфере дрязг и взаимных обвинений. Поеду снова на Украину доделывать свое дело.

— Кустарничеством заниматься — холодно и ядовито улыбалась Коваленко. — Нет! дорогой товарищ, теперь время других масштабов. Все-таки, подумайте. Если захочется, приходите сегодня вечером ко мне на квартиру. У нас совещание. Перед решительным боем. А пока, бывайте здоровы!

Поляков смотрел на нее озадаченный. О каких масштабах она говорит? Разве убийство немецкого генерала — малый масштаб? Чуждое полувраждебное чувство одолевало его к этим людям.

Вяло попрощался он со спутниками Коваленко и медленно, машинально направился на конспиративную квартиру Варганяна.

* * *

В кривом переулке, между Большой и Малой Бронной, в сыром подвале, по условному стуку тихо и опасливо открылась дверь. В полумраке, в углу, сидел незнакомый пожилой человек и пристально глядел на входящего. Только освоившись с темнотой, Поляков стал узнавать знакомые черты Варганяна. Тот самодовольно улыбался.

— Ну, что, трудно узнать? В этом парике я ездил из Петрограда в Москву в штабном вагоне вместе со всей большевистской знатью — и никто из них не догадался. Правда, клей размяк и размазал краски по лицу, и меня спасло, надо думать, лишь отсутствие освещения в вагоне.

Только после этого он встал, подошел к Полякову и горячо расцеловался с ним. Долго и подробно стал расспрашивать о Ксении, Донцове, об отдельных эпизодах убийства генерала. Требовал деталей — самых тонких и мелких. Наконец, обняв Полякова и расхаживая с ним по комнате, задал в упор ставший трафаретным вопрос:

— Ну, а как вы относитесь к нашим событиям?

— Не нравятся мне ваши здешние дела. Хочется бежать поскорей. А больше всего — не по душе мне отношения, которые создались сейчас внутри комитета.

И Поляков вкратце передал о своих впечатлениях и встречах.

Когда речь коснулась разговора с Коваленко, густой черный парик зашевелился на круглой голове Варганяна. Он весь преобразился. Махая трубкой в такт своей речи, он заговорил страстно и горячо:

— И пусть уходят! Будет меньше на несколько ренегатов в нашей партии. Вы не знаете, какой живительный процесс происходит сейчас в наших рядах. Партия очищается от наносных элементов, и в ней остаются лишь истинные революционеры, преданные настоящие борцы. Пусть нас будет немного, но зато мы подлинная ч и с т а я партия революции.

— А вы не считаете ошибкой это восстание?

— Опять — восстание! Да поймите вы, что восстания по существу никакого и не было! В этом-то вся трагедия. Леонтьева обвиняет нас всех, говоря, что мы и комитет обманули. Хотели убийством графа демонстрацию устроить, а тайно подготовили восстание. И вы тоже — восстание! А дело, к несчастию, обстояло иначе. Представьте себе бал-

кон, где помещается наш комитет. На нем пулеметы. Нужно выиграть время, чтобы спасти нашего товарища, — раненого террориста. А на углу, в квартале от комитета, уже виднеются кремлевские части. Я умоляю матросов: «стреляйте же, товарищи!». И хоть бы кто тронулся с места! Я хватаюсь сам за пулемет. Трогаю, двигаю, может выстрелит... Наконец, два или три матроса так вяло подошли и выпустили несколько лент. Вот вам и восстание!.. Не восстание, а миф, и больше всего — миф наших врагов. Вы знаете, само небо вас сейчас прислало сюда! Вы должны пойти на свидание, пробраться в Кремль, объясниться с Леонтьевой и раз навсегда положить конец этой вздорной истории...

Поляков не отрывал глаз от взволнованного лица Варганяна.

Беседа продолжалась. Поляков заявил, что он хочет снова уехать отсюда, чтобы закончить начатое с Ксенией дело. Поразил его ответ Варганяна. Точь в точь, как слова Коваленко.

— Стоит ли, Борис? Ведь теперь не время для этого... Если есть какой-нибудь смысл так рисковать, то лишь с единственной целью — вырвать Ксению из немецкой тюрьмы. Она — могучий агитатор. Ее поездка по югу была сплошным триумфом. Десятки тысяч людей гипнотизировала она своим словом.

Поляков не понимал. Внимательно смотрел он в глаза Варганяну и упорно молчал.

Когда он вышел на улицу, была уже глубокая ночь. Ходить на ночевку пришлось далеко, через мертвые бульвары — за Москва-реку. За углом раздался одинокий, воровской выстрел. В голове мелькнула острая, тревожная мысль: «А почему матросы не хотели стрелять?».

* * *

Свидание с Леонтьевой не удалось. Когда Поляков спускался с Мясницкой к Кремлю, бешено мчались автомобили и белым снегом распускались по площади тревожные короткие листки. Город грозно притаился. Молчаливою кучей хватали листки и прыгали буквы в угрюмых глазах. «Дыхание — ровно... Пульс — учащенный»... Буквы росли и суровою черною тенью застилали осеннее солнце.

— Товарищ, крепче держи винтовку!

— Вы уже на свиданье?.. — слабо, по-старчески улыбается Коваленко.

Далекие, жалобные морщины залегли за губами.

— Попытайтесь! Только вряд ли что выйдет. Не до нас в суматохе.

Затем, не сдержавшись:

— Шарлотта Корде! Полуслепая, со слабым сознанием, нафанатизированная истеричка... Воспользовались. Ведь я ей долгие годы в тюрьме отдала. Три года слепая была. Как мать выходила, пока не открыла глаза. Знала бы я... Право же, как мизерны и жалки наши герои Жиронды!

— Кстати, Корде и Татьяна. Недавно столкнулась. Набросилась на Татьяну, разругалась.

— «Звери вы, палачи! Хуже — лакеи палачей». Плюнула и ушла. А Татьяна сидит и комитет покрывает. Как дико все на свете устроено!

— Ну, ладно, идите скорей!

Прощаясь, оживилась:

— А наши-то, наши! Ни туда, ни сюда. Вот дураки!

Под темными сводами Троицкой башни гулко стучат сапоги. На площади мертво. И за рядами колонн, где в центре, повернувшись к народу спиной, на царь-пушку любовно глядит самодержец, шевелится затравленный нервный комок. А рядом под тем же конвоем — ирония соседства! — сухие бояре, смешные прорезы министров, у гранитного трона последние тени. Казалось, вот выпрыгнет нервный комок, в полукруг отбежит и пулю с мужицкой слезой прошедшему веку вдогонку пошлет.

— Как дико все устроено!

— Борис... Коваленко... Письмо...

Еле доходит придушенный шопот. Строго машет Татьяна рукой и на город глядит.

Под темными сводами Троицкой башни гулко стучат сапоги.

Куда и зачем?..

Вспомнил самодовольные бритые лица в комитете, старческие морщины Коваленко, загнанное возбуждение больного Варганяна.

Партия?.. Вожди?.. Комитет?..

Полуслова. Полудела. Полуподполье.

Бежать поскорей!..

* * *

На всех перекрестках, от Институтской к собору, выжидают «посты». Кольцо смерти замкнулось. Последней по счету, у самой ограды собора, застыла Лиза. Тихая, верная Лиза. Казалось — враг не уйдет.

На морозном солнце веселыми искрами блестит крест на Владимире. Протяжным заунывным басом гудят колокола. Бесконечною узкою лентой тянут гробы. Б е л ы е гробы. На лицах печаль. Тоска, ожиданье. Чей завтра черед?..

В темную осеннюю ночь занесло снежною бурею причудливый отряд. В полушубках навыворот — отряд «пугачей». Шли на деревню — чтобы жить, как отцы. Но страшна сила земли. Только свист раздался и полегли белые дети в белых гробах.

Едет.

Глухой, строгий ропот прошел по толпе.

— Лиза!

Не видит. Вся вперед устремилась. Крепко сжимает коробку.

— Лиза!

Как от сна пробудилась.

— Не надо! Несчастье... Запал не работает... Скорей уходите.

Чуть не выпал блестящий снаряд. Глаза неподвижны. Из д р у г о г о мира пришла.

Уходя, оглянулась. Как бы сейчас увидала толпу. И в первом ряду — он, цель всех стремлений, в бутафорском наряде — поблекший пан гетман.

— Лиза, что с вами?

Молчит.

— Вы сердитесь на нас?

Усмехнулась.

Сказала зло и с досадой:

— По воробьям стрелять хотела.

* * *

И опять Москва. Каждый раз в новом наряде. Зябко жмутся лишенные скромной одежды деревья бульваров. Неумело работает кирка в огрубелых руках, а губы шепчут тайно, с тоскою: «холодно, холодно, на святой Руси!». И немую тишину бульвара, заставляя вздрагивать скользящие кирки, прорезает дерзкий, властный топот :«смело мы в бой пойдем!»...

На стук Полякова никто не отозвался. Побродивши немного вокруг дома, он попробовал открыть. Дверь подалась — и Поляков очутился на грязной лестнице огромного пустынного помещения комитета. В глубине коридора показалась одинокая женская, фигура и грубый голос Самойловой — это была она — подозрительно окликнул:

— Что вам?.

Вглядевшись:

— Поляков, это вы? — Резко, по-мужски взяла за руку. Не говоря ни слова, втолкнула в первую дверь. — Смотрите!

Поляков стоял один посреди небольшой, уютно-обставленной комнаты и не мог оторвать глаз от траурной рамы портрета.

Как живой стоял Варганян...

В круглых кавказских глазах чуть смешливый огонь, и легкий, прозрачный дым из затейливой трубки, казалось, отделялся от краски и обволакивал, гипнотизируя, собеседника.

Внизу черное знамя — и жесткие, злые слова.

Хотя Поляков знал о болезни, — каких много видел в своих скитаниях между двумя Россиями, — захваченной в пути Варганяном и вырвавшей его из первой шеренги комитета, но мысль отказывалась логически рассуждать. Какой-то комок подкатывал к сердцу, зажигая тяжелые, недобрые чувства. И хотелось мучительно, страстно забыть все сомнения и еще крепче, теснее спаять единую братскую семью.

Вечером, сидя при слабом мерцающем свете зловонной керосиновой лампы, безвольно слушал возбужденную, запальчивую речь осунувшейся, недавно освобожденной Леонтьевой.

— Вы не знаете, Борис, как мы работаем. Без помещения, без средств, держимся только на громадном энтузиазме нашей активной группы. А что они делают со страной, с мужиком. После похабного мира с немцами готовы итти на поклон в Версаль. Нет!.. Вы должны освободить Ксению,— она душа боевой организации — и отправиться туда, на торжище миро-

вой буржуазии. Мы покажем им настоящий международный террор! И тем хуже для большевиков, если они будут с ними...

Куда-то далеко отодвинулись переживания последних недель. Мелькнули и исчезли в тумане — как быстрые тени — Лиза, суровое лицо Коваленко. Перед глазами Париж, дипломаты, торжественный торг насильников всего мира — и мститель за кровь миллионов...

— Вот это размах!..

* * *

— Стой!

Знаменитая белая пара старого Гедали покорно остановилась после первого окрика. Гарцуя вокруг длинных саней, молодой парень в новенькой солдатской шинели и рваной залихватской папахе грозно тыкал концом берданки в плечо балагулы.

— Откуда едешь? Поворачивай! В штаб, к атаману!..

Без слов, охая и причмокивая, дернул вожжи старик. Белые кони, словно чуя кровавый запах разодранных хозяйских перин, долго упирались и лишь после острого удара берданки поплелись тихой трусцой к городку.

Когда на окраине местечка проезжали мимо старой корчмы — что напротив «большой» синагоги прославленного на десятки верст молодого цадика, к которому сам Высоцкий из Москвы приезжал на поклон — со всех домов появились грязные, испуганные фигуры, в лапсердаках и рваных платках, и со стоном и причитаниями бежали вслед за санями:

— Евреи, спасайте!

Откуда-то из кривого переулка показалась рыжая борода низкого толстого еврея, который, вглядевшись в Полякова, схватился за живот и со всех ног бросился к верховому. Это был известный всему городку ловкач и ходатай — Хаим Путник, ревностный хасид и поклонник мудрого цадика, с которым целые годы делил Поляков за игрой и фолиантом талмуда. Долго и упорно шептался с «козаком» и, сопровождаемый дружеским ударом кнута по спине, ввел сани во двор «постоялого дома». Затем быстро закрыл на засов ветхие, полуразрушенные ворота и властным тоном крикнул толпе: «Чего не видели? Хотите в прорубь еврея послать!».

В большой «чистой» комнате «постоялого дома» было полно. Со всех местечек и деревень, гонимые жуткими рассказами о пытках огнем и водой, прорубью — глубокою ночью, — и кипящей водой в жарко натопленной бане, шел великий «исход». И, не находя нигде покоя, шли дальше и дальше, устилая путь жалким скарбом нищих местечек, пухом разорванных перин и обильною кровью.

— Ну, как же, хозяин, ехать нам дальше?

Торжественно встал старик посредине, гладит длинные пейсы и широкой ладонью обводит каждый серебряный волос.

— Что же! Советовать ехать — может каждый из нас. Не ехать — это совет.

Хаим Путник толкнул Полякова С уважением шепнул:

— Умный еврей!

Решили ехать. Когда городок погрузился в ранние зимние сумерки — крадучись, поодиночке, пробрались за последние ворота. Ухарски чмокнул Гедали, и знаменитая белая пара понеслась по унылому грязно-серому полю.

На третий день утром Гедали, прервав свой заунывный синагогальный мотив, радостно крикнул:

— Вот и Киев!

* * *

В нарядно-самодовольном круглом здании купеческого собрания, где «хлеборобы» в изящных английских костюмах в патриотическом экстазе качали немецкого генерала, давшего твердую власть и порядок,— судили палачей Васи Донцова. За перегородкой, на возвышении, сидел невзрачный, худой парень в кожаной куртке. За поясом торчал огромный наган. С левой стороны от стола прижались друг к другу два палача — старший надзиратель Боровчук и непомнящий родства арестант. За двадцать целковых керенками и две бутылки самогона он взмылил немецкую веревку на шее матроса. Судорожно передергивалось лицо, а глаза тупо смотрели в переполненный зал.

Кожаная куртка заволновалась, и тоненький писк:ливый голос звонко прокричал:

— Граждане! Не случайным является тот факт, что Верховный Трибунал, открывая свою первую сессию на Украине, посадил на скамью подсудимых палачей матроса Донцова. Победивший рабочий класс в их лице судит старый режим. Конечно, главные действующие лица — генералы, помещики, банкиры и охранники — бежали вместе с побежденными немецкими генералами. Но в лице этих отбросов мы судим весь вековой режим насилия и рабства...

Поляков сидел вместе со своими товарищами по комитету и возмущался процедурой суда. «Какое о н и имеют право? Им нужна эта декорация для того, чтобы показать, что они, т о л ь к о они вели к борьбе и победе. А наши жертвы где?..»

— Свидетель Поляков!

Как боевой конь, подхлестываемый накипавшим негодованием, стал против председателя Поляков. Он начал с того, как партия самоотверженно боролась против оккупантов и гетмана. Говорил о великодушии победившей революции, моральном величии ее героев. «В истории террора это первый случай, когда на скамье подсудимых сидит непосредственно палач террориста. Разве этот жалкий больной арестант есть типичный представитель старого строя? Ему место не здесь, а в больнице для душевно-больных»...

Голос Полякова осекся. Боровчук смотрел на него в упор, и в злых белесых глазах зажегся внезапный огонь — искра надежды.

Председатель подметил причину заминки и иронически улыбался.

— Обокрали проклятые...

Со всех концов глядела тысячная масса битком набитого зала и издевательски улыбалась.

Суд совещался.

Ровно столько, сколько требовалось формой закона.

— Встать! Трибунал идет!

Председатель быстро вбегает и, не давая опомниться, скороговоркой бросает в толпу:

— Считая все преступления доказанными... Верховный Революционный Трибунал объявляет обоих подсудимых врагами народа и приговаривает их к высшей мере наказания...

В зале все стихло. Ни сожаленья, ни аплодисментов.

Поляков стоял за трибуной и смотрел на подсудимых. Когда конвой повел их на улицу, он инстинктивно поплелся за ними. Завтра они познают тайну небытия. Как-то по-собачьи выл арестант. Боровчук держал в руке горшок с горячим картофелем и тупо-безучастно жевал. Сбоку, отгоняемая конвоем, простоволосая женщина всхлипывала сухо, без слез. Позади, цепляясь за юбку матери, мальчуган лет пяти жалобно простирал ручонки к палачу:

— Пап-п!.. Папанька!

* * *

Письмо, которое Борис получил из Москвы, было гневное и короткое: — «От вас, дорогой товарищ, мы этого менее всего ожидали. В то самое время, когда все ваши близкие друзья здесь томятся за крепкой большевистской решеткой, вы там колеблете нашу линию, ведете компанию с прямыми ренегатами и раскольниками. Это вы-то с вашим прошлым! Стыдитесь! Но мы все же думаем, что вы случайно заблудились — и поэтому вам пишем. Я лично не представляю себе, чтобы вы могли работать с нами врозь. Вы должны повидаться с нами или, по крайней мере, с Ксенией».

Внизу неясными, разбросанными каракулями: «Татьяна Леонтьева».

Поляков вертел в руках полуизорванный белый лист и сосредоточенно, по тюремной привычке, шагал взад и вперед. Он был зол на себя. Как ни уговаривал он себя самого, что нужно быть твердым, что революционеру стыдно связывать себя «сантиментами», но именно эта власть личных интимных связей более всего тяготела над ним. «А что, если сделать еще одну, последнюю попытку выправить линию, собрать все распавшиеся звенья в единую неразрывную цепь?»

Через неделю Ксения была в Киеве. На высоком обрыве запущенного со времени революции царского сада, — аллеи вздохов двух десятков киевских гимназий, — состоялось свидание. После немецкой тюрьмы и двухмесячного ожидания казни Ксения была почти неузнаваема. Потухли серые лучистые глаза, и усталая старческая тень легла на лицо.

Но неиссякаемая энергия была в этой женщине, и ее энтузиазм, как могучий родник, питал окружающих. Обращаясь с упреком к Полякову, она первая прервала молчание:

— Неужели вы хотели расстаться с нами?

— С вами?.. Я боялся расстаться с революцией?.. Быть может, там, в Москве, вы создаете когорту лучших, чистейших. Но здесь, на периферии...

Волнуясь, он стал рассказывать о том, как воспринимаются здесь лозунги, бросаемые из Москвы. Погромные призывы против коммуны ведут к тому, что партия неизбежно возглавляет крестьянские восстания. Стирается грань между партией и прямой контр-революцией. Бывали случаи, когда видные члены партии молча санкционировали еврейские погромы. Другие идут в партизанщину, к Махно и Григорьеву. Судьба революции ставится на карту.

При последних словах Полякова Ксения вся встрепенулась:

— Какой революции?.. Революция кончилась. Ее убили в Москве. И, право же, я затрудняюсь сказать, что будет хуже для революции — Колчак или большевики. По крайней мере, не будет иллюзии народной власти, и народ будет прямо знать, кого ему бить... Впрочем, давайте об этом не говорить. Через неделю-другую здесь будут белые, и мы можем объединиться для общего удара. Ведь прошлое нас так связывает. И все же мы ближе друг другу, чем кто бы то ни было другие.

Для Полякова вопрос был решен еще до прихода суда. Предстоящее подполье притупляло все острые противоречия. Казалось, ожили и снова смыкаются старые шеренги. Он пил из этого неиссякаемого источника энергии и чувствовал, как в душе закипала могучая жажда борьбы с наступающим, неведомым врагом.

Где-то далеко за Днепром бухала артиллерия. Улицы Подола, всегда живые и подвижные, представляли мертвую пустыню. Внизу, где «кукушкины дачи» в своих неприступных пещерах ютили бездомных и беглых людей, шевелились какие-то черные точки и ползали вправо, где круче — подальше от взоров людских. То готовились дезертиры выйти из мрака пещер.

Земля глухо дрожала. Грозная неведомая сила наступала все ближе и ближе.

* * *

Ранним утром, когда гул орудий сменился мертвой тишиной, загудел торжественным басом огромный колокол с Софии. Ему навстречу, разыгрывая сложную и тонкую симфонию, откликнулись задорно монастырские колокола. Два высоких худощавых монаха, из темной глубины собора следившие за последними отрядами уходящей Красной армии, медленно прохаживались по площади и, истово крестясь, любовно глядели на толстую булаву Богдана Хмельницкого: «волим под царя московского, царя русского!».

Улица быстро наполнялась народом. Хозяйка подвального ресторана, показав жирные икры под телесного цвета ажурным чулком, заботливо прибивала икону к дверям. Старый еврей-лавочник откуда-то вытаскивал громадные ковриги белого хлеба и раскладывал их на прилавке, держа дверь на всякий случай полуоткрытой. Блестели на солнце новенькие кокарды, и радостные канцелярские улыбки шли приветствовать вернувшееся начальство. Какая-то толстая еврейка, сверкая кольцами и позолоченной челюстью, бросила с балкона пучек белых роз к ногам неуверенно гремевшего шпорами офицера — красного дезертира. У ворот полуразрушенного деревянного домика быстро смывали свежую кровь, и несколько озабоченных фигур хлопотали около раздробленного детского трупика. Высокий — прокурорского типа — господин, в форменной фуражке с белыми чехлом, набожно перекрестился и, не обращаясь ни к кому, негодующе бросил в пространство: «проклятые большевики!».

Снизу, со стороны Крещатика, доносилось громовое «ура!». Молодая франтоватая парочка, запыхавшись и спеша, останавливала прохожих и возбужденно сообщала:

— Торопитесь, скорее! Там генералы. Понимаете — настоящие генералы!..

Людской поток двигался вниз, и торжествующий звон колоколов тонул в шуме и кликах толпы.

Поляков стоял у раскрытого окна и следил, как Нина лихорадочно сжигала бумаги.

Оставленная большевиками в подполье, она в первый же день нарушила правила конспирации и пришла к нему на квартиру. Но слова упрека, готовые сорваться, бессильно стыли на губах.

Он глядел на нежное — казавшееся совсем полудетским под кокетливой шляпкой «директории» — лицо и с ужасом думал: «что если она попадет к ним в руки?».

— Что это?..

Знакомый зловещий свист прорезал воздух.

Толпа растерянно бежит обратно.

— Казаки петлюровцев гонят!..

В коридоре раздался резкий властный звонок.

— Кто там?..

— Офицер русской армии!..

* * *

Было уже совсем темно, когда, выйдя из дома, Поляков услышал за собой пьяную ругань озлобленно подметавшего мостовую дворника: «Шляются тут, жиды проклятые! Перевешать бы всех надо!». На каждом перекрестке, на каждой остановке трамвая стояли мрачные субъекты, и воздух поминутно оглашался диким раздирающим криком: «стой! чекист!». Через площадь вниз молоденький — почти мальчик — кубанский казак тащил на аркане окровавленную прилично одетую женщину.

По временам прохожие с каким-то азартом отчаяния набрасывались друг на друга, и всеобщая свалка уводила очередную жертву.

В кухмистерской «Маяк», где беженцы со всех местечек и городков пылавшей «черты» шопотом, потупив взоры, рисовали скорбную повесть исхода и с утра до вечера меняли деньги друг у друга, — представитель комитета Панюшкин уже ждал его. Золотые пенснэ и белобрысая «кацапская» физиономия резко выделялись в этой среде. Завидев Полякова, он не сдержался, бросился к нему и отрывисто спросил:

— Все живы?

Поляков утвердительно кивнул головой.

— Что толку с того, что живы? Делать вот ничего не можем!

Голубые глаза Панюшкина поднялись кверху, и он неуверенно произнес:

— Комитет надеется, что и на этот раз будет так же успешно, как дело немецкого генерала...

Поляков раздраженно прервал его:

— А не кажется ли вам, дорогой товарищ, что наше положение несколько странное. Большевики в подполье знают, что они здесь роют, а там им навстречу идет сила несметная. Ну, а мы кого ожидаем?.. Почти все, что мы имеем, мы бросили сюда. А они придут и разгонят. И снова сомнения, и снова расколы.

Панюшкин смущенно молчал. Затем, как бы осененный, положил руку на плечо Полякова и, смеясь, громко сказал:

— Чудак вы, право! Белые идут от победы к победе, деревня пока что молчит, а вы уже заглядываете так далеко. Я не знаю, как вы, но у меня нет никакого чувства уверенности, что Деникин не будет в Москве...

— Что же, по-вашему, нам делать?

— Террор уходящей революции!..

Голос Панюшкина звучал убежденно и твердо. И это сразу победило Полякова. — «Прочь философии! Нужно выполнять свое черное, боевое задание!»

— Ну, ладно, я счастлив, что все целы и живы. Передайте им всем горячий привет.

Поляков крепко пожал протянутую ему руку и неожиданно для себя выпалил:

— Скажите, Панюшкин, вы не знаете, что такое кустарничество?..

* * *

Ровно в семь утра дверь осторожно открылась и вкрадчивый мужской голос деликатно, но настойчиво предложил:

— Одевайтесь!

И не успел еще полусонный Поляков притти в себя и очнуться, как ввалился вслед — блистая погонами и длинным шомполом — высокий надушенный офицер.

— Здравствуйте, Боренька!

Самодовольно гладит напомаженный пробор, и зверски улыбаются углы кокаиниых глаз.

Где-то это лицо много раз примелькалось. Где?

— Не узнаете? Сейчас припомните...

Что-то тупое ударило о затылок, и в глазах забегали мириады красных огоньков...

* * *

В контр-разведке было бестолково и шумно. В чистой офицерской камере гремели шпорами безусые корнеты, ухарски ухаживали и подмигивали друг другу новенькие френчи, солидно спорили о политике бакенбарды в генеральских погонах. Рыжая кокетливая немка заливалась звонким смехом. В воздухе то-и-дело неслось: «корнет»... «полковник»... «пра-ашу!». Все избегали говорить о причинах ареста, и каждый сохранял вид беспечный и уверенный. Только, когда открывалась дверь и на пороге показывалась фигура дежурного офицера, подобострастно вытягивались лица, и в беспокойных глазах мелькал страх — жестокий и бесстыдный. И нарочито-подчеркнуто становились подальше от угла, где избитые и окровавленные лежали пойманные «чекисты».

На рассвете этапом перегнали в тюрьму. Когда под широкими сводами тюремных ворот принимал партию надзиратель, он радостно окликнул Полякова:

— Старый знакомый! Хорошо было в те годы... Политика была серьезная, боевая. А теперь — что за народ! Одно слово — шпана...

Направо и налево сортировали арестантов. Офицеров — в одну сторону, евреев — в другую, и всех прочих смертных — отдельно. Когда к концу пришла перекличка, надзиратель приветливо протянул руку Полякову и грозно крикнул команду:

— На жидовский коридор!..

* * *

Шли дни за днями. Разношерстное население камеры мало-по-малу привыкло друг к другу. Завязывались знакомства и дружба. Общая неизбежная участь — погром коридора в случае осложнений на фронте — спаяла воедино старого патриархального купца и двух вороватых одесских артистов, подпольного адвоката и местечкового меламеда, петлюровского министра и большевика. Профессиональный вор из Житомира с явными следами сифилиса и огромной шишкой на голом, гладком черепе, смакуя, рассказывал сальные анекдоты. Набожный меламед под аккомпанимент веселых одесситов, причмокивая и завивая пейсы, лихо отплясывал «веселую». А на коридоре напротив какой-то гнусавый голос тянул без конца:

Жила была Россия
Великая держава.
А теперь Россия
. !..

Жирный хохот провожал густую арестантскую рифму.

Люди, казалось, забыли, что сидят за решеткой.

Угрожающе перебирает ключи надзиратель и бьет о железную дверь.

— Это что за шум, жидовское отродье! Марш по местам!..

Все мгновенно летят по углам. И два одесских артиста успевают стащить у меламеда белый хлеб с колбасой.

Вдруг... свист... другой... И частая, сухая дробь пулемета. В коридоре снаряд. Стоны. Кровь. И груда красного человеческого мяса.

— Ломай!..

Звенят разбитые стекла. Как пушечный выстрел, гремит скамейка о дверь.

— Ура!..

Несется лавина к воротам.

— Свобода! Ура-а-а!

Как во сне плетется в толпе Поляков.

— Куда итти?

На противоположной стороне другая толпа с чемоданчиками и узлами, бросая кокарды и погоны, торопясь и толкая друг друга, длинной лентой тянется вверх. Два потока.

Завернул на площадь — за угол. И вдруг — не сон ли?.. Посреди площади, держа на веревке белую лошадь — грязный, оборванный солдат. На груди красная лента.

С забившимся от волнения сердцем Поляков со всех ног бросился к нему.

Над гостиницей «Франсуа», где был штаб контр-разведки, показалось зловещее красное зарево.

Волна на волну набегала.

Тиль Уленшпигель.

Весенним утром кухонные двери
Раскрыты настежь — и тяжелый чад
Плывет из них. А в кухне толкотня:
Разгоряченный повар отирает
Дырявым фартуком свое лицо,
Заглядывает в чашки и кастрюли,
Приподымая медные покрышки,
Зевает и подбрасывает уголь
В горячую и без того плиту.
А поваренок в колпаке бумажном,
Еще неловкий в трудном ремесле,
По лестнице карабкается к полкам,
Толчет в ступе корицу и мускат,
Неопытными путает руками
Коренья в банках, кашляет от чада,
Вползающего в ноздри и глаза
Слезящего...
А день весенний ясен,
Свист ласточек сливается с ворчаньем
Кастрюль и чашек на плите, мурлычит,
Облизываясь, кошка, осторожно
Под стульями прокрадываясь к месту,
Где, незамеченный, лежит кусок
Говядины, покрытый легким жиром.
О, царство кухни! Кто не восхвалял
Твой синий чад над жарящимся мясом,
Твой легкий пар над супом золотым!
Петух, которого, быть может, завтра
Зарежет повар, распевает хрипло
Веселый гимн прекрасному искусству,
Труднейшему и благодатному...
Я в этот день по улице иду,
На крыши глядя и стихи читая,
В глазах рябит от солнца и кружится
Беспутная, хмельная голова.
И, синий чад вдыхая, вспоминаю

О том бродяге, что, как я, быть может,
По улицам Антверпена бродил...
Умевший все и ничего не знавший,
Без шпаги — рыцарь, пахарь — без сохи,
Быть может, он, как я, вдыхал умильно
Веселый чад, плывущий из корчмы,
Быть может, и его, как и меня,
Дразнил копченый окорок и жадно
Густую он проглатывал слюну.
А день весенний сладок был и ясен,
И ветер материнскою ладонью
Растрепанные кудри развевал.
И, прислонясь к дверному косяку,
Веселый странник, он, как я, быть может,
Невнятно напевая, сочинял
Слова, еще невыдуманной песни.
Что из того! Пускай моим уделом
Бродяжничество будет и беспутство,
Пускай голодным я стою у кухонь,
Вдыхая запах пиршества чужого,
Пускай истреплется моя одежда,
И сапоги о камни разобьются
И песни разучусь я сочинять,
Что из того — мне хочется иного:
Пусть, как и тот бродяга, я пройду
По всей стране, и пусть у двери каждой
Я жаворонком засвищу, и тотчас
В ответ услышу песню петуха.
Певец без лютни, воин без оружья,
Я встречу дни, как чаши до краев
Наполненные молоком и медом;
Когда ж усталость овладеет мной
И я засну крепчайшим смертным сном,
Пусть на могильном камне нарисуют
Мой герб: тяжелый ясеневый посох
Над птицей и широкополой шляпой
И пусть напишут: «Здесь лежит спокойно
Веселый странник, плакать не умевший.
Прохожий! Если дороги тебе
Природа, ветер, песни и свобода,
Скажи ему: спокойно спи, товарищ,
Довольно пел ты, выспаться пора».

Э. Багрицкий

Российское.

Россия, дрёмная Россия —
Поля, овраги да горбы,
Взлетают кверху верстовые
Над перелесками столбы.

Трусит кобылка тряско, труско,
Ей не дано скакать в пути.
Труси, труси... От лени русской
Нам все равно ведь не уйти.

Но за горами, за морями,
В ненашей грешной стороне
Сидят царевны с дураками
И лущат семечки в окне.

Там золотые сарафаны
И ярче золота штаны,
Да не пробраться в эти страны
Из нашей бедной стороны.

За далью яркой, яровою,
В даль не проехать, не пройти —
Запорастали трын-травою
Все перепутки да пути.

Поет ямщик о горькой доле
С надрывным хлипом мужика,
И сердце режет поневоле
Большая звонкая тоска.

С холодной дрожью спозаранок
Заря зевотой красит рот.
Вот на пригорке полустанок
Разлегся как сибирский кот.

Порядку ради кверху глядя,
С зеленой тряпочкой в руках,

Стоит на переезде дядя
В веселых ситцевых портках.

С великою российской ленью
Он чешет всероссийский зад,
И я смотрю с недоуменьем
В его сирийские глаза.

Смотрю на голову, на шею,
На желтый полосатый тик,
И кажется, что я глупею
И свирепею в этот миг.

Но вот нежданно из-за леса,
Врываясь в недра синевы,
Принес гремящий шум экспресса
Шум и сверкание Москвы.

И я под этот шум вагонный,
Под гулкий паровозный шум
Забыл уже, неугомонный,
Тоску провинциальных дум.

И мне почудилось: не ты ли
В посеребренных ковылях
Встаешь из-за дорожной пыли,
Россия светлая, в полях!

По косогорьям, по курганам
Осенней сини бирюза
Вдруг полыхнула сарафаном
В завороженные глаза.

На лебеду, на подорожник
Скользнула тень за полумглой,
И солнца пламенный кокошник
Заколыхался над землей...

О, Русь чудесная! Жива ты,
Как живы русские блины.
Твои соломенные хаты
Овсяной тайною полны!

Сермяжным духом да пурынью
Пропах твой голубой шесток,
И веет медом и полынью
С кривых ухабистых дорог.

Своя земля как кладень древний,
Над ней кочует свет и мрак.
И в каждой хате есть царевна,
И в каждой улице — дурак.

На них цветные сарафаны
И залихватские штаны...
На кой же чорт иные страны,
Кроме советской стороны!

И я люблю тебя такую
С тоской и горечью полей
И не отдам твою тоску я
За всех заморских журавлей.

Павел Дружинин.

Мой сад.

Мне выпала печальная услада —
Устами юных рассказать свое.
Я широко раскрыл ворота сада,
Где сам засеял песен забытье.

Мой заповедный сад, мой потаенный!
Ты весь, мой сад, пошел на семена.
И я смотрю, как дуб уединенный,
На всхоженные мною времена.

Я выходил березке белотелой
Стыд девичий и слезы злей людских,
Чтобы ее печалью оробелой
Звенел рязанского кудрявца стих.

Я звонницу построил в куще сосен,
Чтоб застонали ввысь колокола,
И синевой таежных, древних весен
Олонецкая загудела мгла.

Я Волги зачерпнул ковшом созвездья
И корни вволю буйством напоил,
Чтоб по увеям леса вольной вестью
Ширяевские пели соловьи.

Хвостатой нечисти уют и ласку
Я дал в своем застенчивом саду,
И вот балакири, забыв опаску,
Гуторить про лешачий мир идут.

Мой вешний сад, как ты богато вырос!
Как широко гудит зеленый звон!
Ни вихорья времен, ни крови сырость
Не тронули твоих высоких крон.

И речь идет по певчему народу,
Что мне пора, давно уже пора

Свалить себе на смертную колоду
Хороший ствол ударом топора.

Но мне еще не хочется под дерен.
Я сруб рублю. А в сад старинный мой
По вечерам, работою уморен,
Хожу вдыхать свой отдых, как домой!

Он в стороне от грохота и гула,
От новых, неукатанных дорог.
Молитва в нем сухим листом уснула,
И маленьким пеньком засохнул бог.

Но поросли так весело, так свеже
Теснятся, тянутся избытком сил,
Как будто бы они все те же, те же,
Которые когда-то я садил.

Сергей Городецкий.

Песня.

Как наденет майку голубую,
Да расчешет кудри на пробор.
Так, небось, приворожит любую,
Он на это скор.

Уж не знаю по какой причине,
Видно, уродился он таков:
Светел, как серебряный полтинник
В шапке медяков.

На работу ли, на песню — тоже,
Закусить и выпить не дурак.
Только, вдруг, как будто занеможет:
— Я, — говорит, — так...

Что, — говорю, — сокол ты мой русый,
В жу, мол, болит в тебе душа.
Али щи да каша не по вкусу,
Я ль не хороша?

Он как взглянет сумрачный да темный,
Да в сердцах как головой тряхнет:
— Прямо будем говорить — никчемный
Женщины народ!

Думают, что кашами да щами
Человек бывает пьян и сыт.
Эх, благополучные мещане
Все вы, говорит.

Мне бы, говорит, коня в работу.
Маузер, говорит, или ноган,
Вот когда бы я, говорит, в два счета
Был и сыт, и пьян.

А, бывало, помню было дело:
Вьюга. Ночь. Ни неба, ни земли.

Кто там скажет — красный или белый,
Знай — пали.

А теперь не то: стакан да блюдце,
Чай да сахар, тряпка да лоскут.
Негде человеку развернуться,
Да и не дают.

Все, говорит, добро отдай да мало
За один денек такой, как наш...
Я уже и слушать перестала
Этакую блажь.

Но глядеть — гляжу: постель раскинет,
Зубы — сахар, волосы, как шелк.
Светел, как серебряный полтинник,
Да какой в нем толк!

Вера Инбер.

Мюнхгаузен.

Нас выдумок веселый гений
Как в детстве посещает вдруг
В пыли дорожных приключений
В дыму непроходимых вьюг.

О, милый враль иного стана
Иной земли, иных времен!
Над пенящимся океаном
Вы пролетаете,
Барон!

И мчит героя по дороге
В кипеньи звездного огня
Не конь, а бес четвероногий,—
Бес, обернувшийся в коня.

Он к славе мчит не уставая
В рассветах розовых,
Во мгле,
На колокольнях засыпая
И просыпаясь на земле...

Осенней скукою томимый,
Свирепой скукой
И тоской,
Я вас ищу,
Высокочтимый,
На Театральной и Тверской.

Правдивы у прохожих лица,
Правдиво небо надо мной,
Но ложь в глазах иных змеится
Болотной,
Черною водой.

И в сутолоке незнакомой,
У ярмарочных площадей

И пьяный крик и лживый гомон
Я слышу в голосах людей.

Барон!
Иного века житель
— Через седые рубежи —
Людей угрюмых научите
Веселой,
Безобидной лжи!

Мих. Рудерман.

Москва-река.

Затонули рощи, затонули дали,
На таком разливе, говори, пропали!

Белая березка замочила ногу.
— Помогите, люди, выйти на дорогу!

— Дайте вашу руку!.. помогите, што ли!
Выйти на пригорок через это поле!

Загудели льдины в синие просторы.
Вот уж стало видно Воробьевы горы.

Поднялась водища брызгами и пеной,
Плавают в разливе каменные стены...

Поглядел я сверху, с порыжелой крыши, —
А вода всё шире, а вода всё выше,

И плывут разливом не луга и пашни, —
Золотые главы, расписные башни,

И кресты, и флаги, и шесты над домом,
И Иван Великий вслед за Совнаркомом!

Вижу и не верю этим водным дивам,
Что такое, правда, разлилось разливом?

Русское ли сердце, песня ли подпаска,
Русское ли горе, русская ли пляска?

Потекли просторы в утро фонарями,
Засияли воды сивыми полями,

Солнце затопило полевые всплёски,
Бродят по разливу сонные березки...

Что за наказанье!.. уж шестые сутки
Плавают деревни по полям, как утки!

Петр Орешин.

Методологические проблемы искусства.

(Очерк третий).

Л. И. Аксельрод (Ортодокс).

В процессе мысли над главными задачами этой работы я пришла к заключению, что необходимо, во избежание предвидимых мною недоразумений, еще раз остановиться на вопросе о спецификуме искусства и, в связи с этим, выяснить марксистский взгляд на эту проблему, как он выразился у основателя марксистской эстетики — Плеханова. И далее, ввиду того, что в большинстве современных произведений, посвященных так или иначе марксистскому искусствоведению, вплетены главные основы толстовского учения об искусстве, приходится остановиться и на этом вопросе, т.-е. на вопросе о том, приемлем ли для нас Толстой в какой бы то ни было степени.

Выяснение указанных вопросов должно повести к уточнению нашей основной мысли на спецификум искусства и вытекающих из определения искусства важнейших, с нашей точки зрения, выводов.

I.

В настоящее время, отчасти в западно-европейском искусствоведении, а, главным образом, у нас, сосредоточено все внимание на социологическом об'яснении искусства.

В важности и решающем значении социологического об'яснения происхождения, развития и содержания искусства менее всего может сомневаться марксист, т.-е. последователь той великой теории, под влиянием которой возникло и получает все большее и большее развитие плодотворное и истинно-научное социологическое об'яснение искусства. Но марксист, обладающий, я бы сказала, диалектической дисциплиной, т.-е. привыкший соблюдать в сложных проблемах должную меру, научился ставить определенные границы и социологическому об'яснению. Вот эту самую границу решительно не умеют поставить себе современные псевдо-марксисты. Являясь иностранцами в дотоле неведомой им стране марксизма и стремясь приспособиться к новым условиям, наши псевдо-марксисты, как обычно бывает в таких случаях с иностранцами, теряют всякое чувство меры. Их усердие часто заставляет вспомнить известные слова Маркса: Moi-même, je ne suis pas marxiste.

Но чаще всего и ярче всего выступает в их «марксистских» упражнениях прямая антитеза к их собственным прежним идеалистическим взглядам. Антитеза же всегда содержит элементы тезисов в их подлинном смысле. Социологическое об'яснение искусства приводит их, благодаря «марксистскому» усердию, к полному отрицанию специфического характера искусства.

В чрезвычайно интересном предисловии к 3-му изданию сборника «За двадцать лет» Плеханов с горечью восклицает: «Я не знаю, придет ли такое время, когда мы избавимся, наконец, от удовольствия ломать копья с подобными критиками». Критики, о которых здесь идет речь, приписывали Плеханову полное отрицание эстетической стороны искусства. То, что делали идеалистические критики, искажая марксистское понимание и об'яснение искусства с целью компрометировать и хоронить марксизм, — то же самое делают современные псевдо-марксисты во славу марксизма. Так что, пародируя восклицание Плеханова, можно сказать теперь: придет ли такое время, когда мы избавимся, наконец, от таких усердных сторонников!

В ответ критикам-идеалистам Плеханов в том же предисловии дал своим взглядам на методологию искусствоведения следующее выражение: «Критики-идеалисты школы Гегеля, — пишет Плеханов, — считали своей обязанностью переводить идеи художественного произведения с языка искусства на язык философии. Но они очень хорошо понимали, что выполнением этой обязанности еще далеко не ограничивается их дело. Указанный перевод составлял в их глазах лишь первый акт философской критики; задача второго акта этого процесса состояла для них в том, чтобы, — как писал Белинский, — «показать идею художественного создания в ее конкретном проявлении, проследить ее в образах и найти целое и единое в частностях». Это значит, что за оценкой идеи художественного произведения должен был следовать анализ его художественных достоинств. Философия не устраняла эстетики, а, наоборот, прокладывала для нее путь, старалась найти для нее прочное основание. То же надо сказать и о материалистической критике. Стремясь найти общественный эквивалент данного литературного явления, критика эта изменяет своей собственной природе, если не понимает, что дело не может ограничиться нахождением этого эквивалента, и что социология должна не затворять двери перед естетикой, а, напротив, настежь раскрывать их пред нею. Вторым актом верной себе материалистической критики должна быть, — как это было и у критиков-идеалистов, — оценка эстетических достоинств разбираемого произведения. Если бы критик-материалист отказался от такой оценки под тем предлогом, что он уже нашел социологический эквивалент данного произведения, то этим он только обнаружил бы свое непонимание той точки зрения, на которой ему хочется утвердиться. Особенности художественного творчества всякой данной эпохи всегда находятся в самой тесной причинной связи с тем общественным настроением, которое в нем выражается. Общественное же настроение всякой данной эпохи всегда обусловливается свойственными ей общественными отношениями. Это как нельзя лучше показывает вся история искусства и литературы. Вот почему определение социологического эквивалента всякого дан-

ного литературного произведения осталось бы неполным, а следовательно, и неточным в том случае, если бы критик уклонился от оценки его художественных достоинств. Иначе сказать, первый акт материалистической критики не только не устраняет надобности во втором акте, но предполагает его, как свое необходимое дополнение» [1]).

Совершенно очевидно для всякого непредубежденного читателя, что формулировка, данная в этой выдержке Плехановым, является не случайно брошенным замечанием, а что она, наоборот, представляет собою главную основу марксистского отношения к искусству вообще и к художественной критике в частности. Что это не случайно высказанный взгляд, легко подтвердить многими, рассеянными по всем произведениям основателя русского марксизма, замечаниями, а также всеми его работами, специально посвященным анализу и критике художественного творчества. Это — во-первых. Во-вторых, формулировка эта поставлена в предисловии к третьему изданию сборника «За двадцать лет», и она, стало быть, выражает собой результат двадцатипятилетней [2]) деятельности в деле разработки марксистской теории вообще и в частности — общий итог многолетней работы в области искусствоведения.

Что же, спрашивается теперь, сказано по существу в приведенной выдержке? В ней говорится ясно, с точностью и определенностью, свойственными Плеханову, что для анализа художественного произведения социологическое исследование необходимо, но не достаточно. Это исследование является первым актом, но за ним должен следовать и второй акт — художественная оценка. В противном случае «критика изменяет своей собственной природе». Спрашивается дальше, какой вывод можно сделать из требования эстетической оценки предметов искусства для определения спецификума искусства? Мы полагаем, что всякий мало-мальски вдумчивый читатель сделает тот вывод, что спецификум искусства, т.-е. отличие искусства от других форм общественного сознания, от науки, религии, философии и т. д., заключается в эстетической стороне. Ибо ясно ведь, что социологический анализ является необходимым требованием и для всех других областей. Итак, с точки зрения Плеханова, отличительное свойство искусства сводилось к удовлетворению эстетической потребности.

Глубоко справедливым является марксистский взгляд, что искусство, несмотря на видимый, суб'ективный и индивидуальный характер художественных произведений, подобно всем другим формам общественной идеологии, есть продукт общественного бытия. Но этот научный методологический взгляд принял рационалистический характер у некоторых марксистообразных искусствоведов, превративших марксистский метод в своеобразную метафизику. Прежде всего, как нами было уже упомянуто в первом очерке, марксистскую

---

[1]) Бельтов, За двадцать лет, Спб., 1908, стр. XV — XVI (Курсив Плеханова).

[2]) 2-ое изд. вышло 5 лет спустя после первого.

теорию искусства соединили и смешали с религиозным и по существу аскетическим отношением Толстого к искусству. Остановимся поэтому более подробно на выяснении основных принципов учения Толстого об искусстве.

В отношении критики культуры, искусства и науки мысль Толстого отличалась необычайным лукавством. Когда Толстому ставили на вид, что он отрицает науку и искусство, он всегда отвечал с глубочайшим негодованием, кратко формулируя следующим образом: «Как же я могу отрицать такие необходимые элементы человеческой жизни, как наука и искусство? Разве возможно существование человека без науки, без искусства? С тех пор, как существует человеческое общество, существуют также науки и искусства». И т. д. Так гласили его общие рассуждения. Но как только начиналась аргументация в защиту науки и искусства, то результатом этой аргументации было все же отрицание науки и искусства. Истинной наукой называл великий художник знание о том, как построить мельницу, как сделать лопату, как вырыть колодезь, когда и как посеять зерно, а затем, далее, как самая высшая проблема в жизни человека, следовали вопросы о своем «я», о смерти и бессмертии, о боге, об отношении человека к божеству и т. д. Таким образом, то, что Толстой называл наукой, сводилось к примитивному, элементарному, практическому приспособлению человека к среде в его борьбе за элементарное существование. Над этим же элементарным существованием возвышался другой этаж — религиозно-моралистическая надстройка, состоявшая из тех кирпичей, которые были названы: я, бог и т. д. Истинная же наука — все современное естествознание, обществоведение, материалистическая философия — являлись с точки зрения Толстого исключительными орудиями в руках господствующих классов для угнетения классов порабощенных, и важнейшей преградой на пути к царству божию в нас. А посему все эти культурные ценности не только не необходимы, но вредны, и тем самым не могут называться наукой.

Совершенно такое же отношение у Толстого было к искусству. Как же жить без искусства, восклицает Толстой: разве возможно такое общество, которое бы жило без искусства? Но все то, что вы, представители и поклонники искусства, называете искусством, это не искусство, а в лучшем случае баловство, которым забавляются праздные высшие классы общества для того, чтобы придать хоть какой-нибудь смысл своей пустой и бессмысленной жизни. Итак, Шекспир, Гете, Бетховен, Вагнер — все это развратители общества, служители господствующих классов и извратители самого искусства. Что же такое истинное искусство? Точный ответ на этот вопрос мы находим в известном трактате Толстого об искусстве, который, кстати сказать, в противоречие с главной своей мыслью, содержит отдельные весьма ценные, интересные и глубокие замечания. В этом трактате мы читаем: «Для того, чтобы точно определить искусство, надо прежде всего перестать смотреть на него, как на средство наслаждения, а рассматривать искусство как одно из условий человеческой жизни. Рассматривая же так искусство, мы не можем не увидеть, что искусство есть одно из средств общения людей между собой. Всякое произведение искусства делает то, что воспринимающий

вступает в известного рода общение с производившим или производящим искусство и со всеми теми, которые одновременно с ним, прежде или после него восприняли или воспримут то же художественное впечатление» [1]).

Тут мы имеем формулировку искусства как с точки зрения его отрицательных признаков, так и с точки зрения его положительной стороны. Тут сказано, что искусство не должно быть наслаждением. А для того, чтобы быть истинным искусством, оно имеет своей задачей об'единять людей.

Выше, в первом очерке, нами было указано, что факт об'единения людей не может служить отличительным признаком искусства и определять его, как таковое. Ибо все формы общественной жизни служат об'единяющим началом. И, наоборот, есть такие формы общественной деятельности, которые в известном смысле в бо́льшей степени могут об'единить людей, чем искусство. Определяя, таким образом, искусство, как специальное орудие для об'единения людей, Толстой, преследуя свои исключительные цели, сознательно игнорирует классовый характер общества. В классовом обществе искусство в такой же степени может об'единить людей, как и, наоборот, раз'единить их, посеять сильную и серьезную ненависть, внушить чувство борьбы, возбудить сильные страсти общественно-политического характера, и т. д. Если стать на Толстовскую абстрактную точку зрения, то вся гражданская поэзия и вообще все гражданское и революционное искусство всех времен и всех народов, словом, все то искусство, — а оно представляет собою огромное поле — протестующее так или иначе против господствовавших и господствующих классов и правительств и, следовательно, не только об'единяющее, но и раз'единяющее людей, — не может рассматриваться, как искусство, и фактически Толстой всю эту обширнейшую область исключает из своего определения искусства. Далее, с точки зрения Толстого, к искусству нельзя причислить не только резко выраженные формы протеста угнетенных классов против своих угнетателей, но и вообще подавляющее большинство произведений искусства, которые, благодаря чувственно-образному выражению этой отрасли общественной идеологии, возбуждают страсти к жизни и к запрещенному толстовским учением наслаждению. Толстой понимает это очень хорошо, и потому все мировое искусство служит, с его точки зрения, лишь к раз'единению людей, между тем как искусство должно, согласно его формуле, людей об'единить. Когда же и при каких условиях искусство, может быть, согласно теории Толстого, истинным? — Только тогда, заключает по-своему последовательно Толстой, когда люди будут повиноваться присущему каждому человеку христианскому сознанию, т.-е. врожденному стремлению взаимной любви и врожденному моральному и религиозному чувству. Послушаем самого Толстого: «Всегда и во всякое время и во всяком человеческом обществе, — говорит яснополянский моралист, — есть общее всем людям этого общества религиозное сознание того, что хорошо и что дурно, и это-то религиозное сознание и определяет достоинство чувств, передаваемых искусством. И потому у всех народов всегда искусство,

[1]) Собр. соч., изд. Сытина (ред. Бирюкова), том XIX, стр. 34.

передававшее чувство, вытекающее из общего людям этого народа религиозного сознания, признавалось хорошим и поощрялось. Искусство же, передававшее чувство, несогласное с этим религиозным сознанием, признавалось дурным и отрицалось; все же остальное огромное поле искусства, посредством которого люди общались между собой, не оценивалось вовсе и отрицалось только тогда, когда оно было противно религиозному сознанию своего времени. Так это было у всех народов: у греков, у евреев, у индусов, египтян, китайцев, так это было и при появлении христианства. Христианство первых времен признавало хорошими произведениями искусства только легенды, жития, проповеди, молитвы, песнопения, вызывавшие в людях чувство любви к Христу, умиление перед его жизнью, желание следовать его примеру, отречение от мирской жизни, смирение и любовь к людям; все же произведения, передававшие чувства личных наслаждений, оно считало дурными и потому отвергало все языческое пластическое искусство, допуская пластические изображения только символические» [1]).

Вот в каком смысле Толстой понимает свою формулу: истинное искусство должно служить об'единяющим началом для людей. Человеческое сознание сводится с этой точки зрения к общему религиозному сознанию, устраняющему все возможные формы общественной борьбы и т. д., — словом, основа учения Толстого об искусстве является весьма последовательным выводом из его общего христианско-мистического мировоззрения.

Что же, спрашивается, могло ввести марксистов, работающих в области художественной критики, в такое заблуждение, что могло послужить поводом к смешению таких противоположных теорий искусства, как марксистская теория, насквозь проникнутая материалистическим, если угодно, языческим началом, и теория Толстого, исходящая из христианско-мистических основ? Первая причина такого смешения заключается в том, что абсолютно-отвлеченное понятие об'единения людей отождествляется с конкретными человеческими отношениями, которые, как известно, не представляют собой чего-то единого и однообразного. Несомненно верно в формулировке Толстого утверждение, что «всякое произведение искусства делает то, что воспринимающий вступает в известного рода общение с производившим». Но эта мысль справедлива лишь постольку, поскольку она указывает на то, что художник не стал бы творить художественных произведений, если бы он очутился в положении Робинзона на необитаемом острове, не имея в качестве об'екта-суб'екта даже Пятницы. Другими словами, художественное произведение является, даже в самой элементарной своей форме, *общественным явлением* в том исключительно психологическом смысле, что творчество художника необходимым образом предполагает воспринимающих его творение людей. И люди эти, естественно, об'единяются вокруг того или другого художественного произведения. Но это самое положение становится совершенно абстрактным, когда ему придают всеобщее значение в том, принятом теперь, якобы социологическом смысле, что искусство вообще

[1]) Собр. соч., т. XIX, стр. 39.

об'единяет людей. В последнем смысле исчезают все классовые и групповые различия. Французская марсельеза об'единила ее творца с революционным народом, настроение которого она формулировала и выразила. Но она отнюдь не могла служить об'единяющим началом с контр-революционной Вандеей и Бретанью. Гражданская поэзия Некрасова соединяла крепкими связями поэта с радикальной народнической интеллигенцией, но отнюдь не могла служить связующим звеном с крепостниками. Призыв Гервега «Wir haben lang genug geliebt, wir wollen endlich hassen» [1]) спаивал поэта с революционными массами, в сердцах которых он мог найти самый горячий отклик; но с правящей буржуазией призыв этот соединил поэта-революционера разве только в том смысле, что она его принудила оставить Германию. Или же современный «Интернационал», зовущий на борьбу современный пролетариат, содействуя об'единению пролетариев, отталкивает в той же самой мере буржуазию, возбуждая, несомненно, свирепейшую ненависть последней против автора этого произведения искусства и одушевлявших ее чувств.

Абстрактно-метафизическая формула искусства, как фактора об'единения людей, вообще, в абсолютном значении, не выдерживает критики ни с какой точки зрения. Формула эта ошибочна даже по отношению к религиозному сознанию, коль скоро мы оставим абстрактную почву и вспомним о конкретных формах проявления религиозного сознания. Дело в том, что и религиозное искусство также может об'единять в одно общее настроение лишь людей одного и того же вероисповедания. Все христианское искусство отталкивает ортодоксальное еврейство. Церковные службы, как православные, так и католические, воспринимаются старым еврейством, как возмутительное кощунство. Весьма многочисленная христианская секта «Армия спасения» совершает свое богослужение пением веселых фривольных мотивов, заимствованных из различных оперетток, при чем тексты, разумеется, взяты из евангелия. Прославляют, таким образом, Христа при помощи мелодий из «Прекрасной Елены», «Корневильских колоколов» и т. д. Всякий христианин церковного толка или иной христианской религиозной секты, конечно, придет в величайший ужас от такого христианско-религиозного искусства. Адепты же «Армии спасения», наоборот, достигают под влиянием этих странных парадоксальных сочетаний величайшего религиозного экстаза, об'единяющего всех верующих в одно общее мистическое настроение. Словом, когда речь идет об искусстве, как о средстве об'единения людей, то естественно и неизбежно возникает ряд вопросов: какое искусство, каких людей, в какую эпоху, при каких условиях и т. д. Все эти конкретные вопросы и возможные на них ответы уничтожают абсолютный характер толстовской формулы.

Но, совершенно забывая и совершенно упуская из виду сущность диалектического материализма, некоторые марксистские художественные критики увлекаются в учении Толстого, помимо формулы об'единения людей,

---

[1]) Довольно долго мы любили, хотим ненавидеть наконец.

еще его непосредственным рационалистическим утилитаризмом и полным огульным отрицанием буржуазного искусства. Это увлечение также происходит от решительного непонимания общего толстовского миросозерцания и тех его мотивов, из которых исходит толстовская критика господствующих классов и обслуживающего их искусства. Вообще, во всех своих нравственно-религиозных произведениях Толстой пользуется с виртуозной ловкостью классовыми противоречиями для обоснования своего религиозно-аскетического жизнепонимания. В трактате же об искусстве Толстой так ловко бьет искусство этим именно оружием, т.-е. критикой классовых противоречий, что не легко бывает отличить мотивы его критики от исходных точек критики классового общества марксистами. «В каждом большом городе, — пишет с негодованием Толстой, — строятся огромные здания для музеев, академий, консерваторий, драматических школ, для представлений, концертов, сотни тысяч рабочих — плотники и каменщики, красильщики и столяры, обойщики, портные, парикмахеры и ювелиры, бронзовщики — целую жизнь проводят в тяжелом труде для удовлетворения требования искусства, так что едва ли есть другая деятельность человеческая, кроме военной, которая поглощала бы столько сил, сколько эта». Все искусство, — продолжает Толстой, — покоится в конечном счете на тяжелом труде трудящихся масс, и трудящиеся массы им не пользуются. На эти серьезные критические замечания, продолжает Толстой свои рассуждения, обыкновенно возражают, что если в настоящее время не все имеют возможность пользоваться искусством, то виновато в этом не искусство, а классовое устройство общества, что, следовательно, должно быть изменено общественное устройство, а не уничтожено искусство, и что можно, следовательно, представить себе, что в будущем искусство будет в одинаковой степени доступно всем. На это совершенно правильное возражение, исходящее из социалистического лагеря, Толстой отвечает, что «наше утонченное искусство могло возникнуть только на рабстве народных масс и может продолжаться только до тех пор, пока будет это рабство» [1]). Далее следует еще развитие того довода, что именно потому, что все историческое искусство возможно на почве рабского труда, и потому, что оно, благодаря этому, отличается утонченностью, оно недоступно и не может быть доступно народной массе. Но, продолжает дальше Толстой, утверждают, что если народ в настоящее время не понимает нашего искусства, то из этого не следует, что он никогда его не поймет и в доказательство того, что народ со временем поймет наше искусство, ссылаются на то, что некоторые произведения, прежде не нравившиеся массам, начинают им со временем нравиться. Это, утверждает Толстой, доказывает только то, что «толпу, да еще городскую, наполовину испорченную, всегда было легко приучить, извратить ее вкус к какому хотите искусству» [2]). Ко всем этим мотивам Толстой присовокупляет свою убийственную, ядовитую характеристику современного искусства. Произведение искусства в этой характеристике бичуется и высмеивается им на том основании, что

[1]) Стр. 40.

[2]) Стр. 50.

искусство есть по существу забава, игра, а не подлинная действительность. И с этой точки зрения описывается с суровой иронией опера с самого начала трактата об искусстве. И с этой же точки зрения изображается «Нибелунгово Кольцо» Вагнера. Тут подвергаются критике не недочеты оперы, а опера избирается для того, чтобы представить в карикатурном, смешном виде искусство, как таковое, бичуя это последнее, как сказано, исключительно за то, что оно не является подлинной действительностью. Отсюда должно следовать, что истинное искусство только то искусство, которое растворяется и сливается с самой жизнью. И отсюда следует дальше, что театры, музеи, памятники и т. д. и т. д., словом, все то, что можно назвать самостоятельным миром искусства, является по существу каким-то сплошным безумием, обусловленным праздностью и развращенностью вкуса высших господствующих и господствовавших классов.

Вся эта ловкая, искусная критика ведется с той единственной целью, чтобы окончательно обосновать и утвердить ту мысль, что искусство, если оно хочет быть истинным искусством, должно слиться с самой жизнью, а сама жизнь, в свою очередь, должна быть сведена к воображаемой Толстым однообразной христианско-религиозной простоте, об'единяющей всех людей в одном христианском сознании, т.-е. в любви к богу. В этом именно смысле Толстой понимает свою формулу: искусство имеет своей задачей об'единить людей.

Весь исторический период классовой культуры об'является у Толстого сплошным безумием, каким-то навождением дьявола, и в этом смысле все, выработанное историей до наших дней, сводится к нулю. В то же время Толстой пользуется классовыми различиями и классовыми противоречиями для того, чтобы показать всю бессмыслицу человеческой жизни с точки зрения высшего и верховного христианского сознания. Искусство находится в полной противоположности, заключает Толстой, к добру.

«Добро, — говорит он, — есть, действительно, понятие основное, метафизически составляющее сущность нашего сознания, понятие, не определяемое разумом». «Красота же, если мы не довольствуемся словами, а говорим о том, что понимаем, — красота есть не что иное, как то, что нам нравится. Понятие красоты не только не совпадает с добром, но скорее противоположно ему, так как добро большею частью совпадает с победой над пристрастиями, красота же есть основание всех наших пристрастий» [1]).

В этих выводах полностью определяется самим Толстым сущность его критики искусства. Ее исходный пункт и ее конечная цель. Искусство, говоря языком философским, относится к чувственному миру и представляет собою сплошную иллюзию с точки зрения разума и сплошной грех с точки зрения толстовского врожденного добра, «метафизически составляющего сущность нашего сознания». Пародируя известные слова Канта, Толстой мог бы ска-

[1]) Стр. 46.

зать: я уничтожил искусство для того, чтобы очистить место для религиозной веры.

II.

Образцом смешения марксистского взгляда на искусство с толстовским воззрением является статья известного искусствоведа, серьезного ученого и во многих отношениях оригинального исследователя — профессора Шмита: «Проблемы методологии искусствоведения», подзаголовок «Искусство как фактор общественности». Критический анализ этой статьи может бросить свет на ту непозволительную путаницу, которая привносится в марксистское понимание искусства вплетением в него толстовских принципов. Оговариваясь, «что Толстой во многом для нас совершенно неприемлем», проф. Ф. И. Шмит пишет: «Именно Толстой впервые попытался подойти к искусству исключительно, как к явлению общественному, и нанес смертельный удар всей той «эстетике», которая до тех пор безраздельно царила в области теории искусства» [1]). Эстетику Ф. Шмит отбрасывает вместе с Толстым, усматривая общественный характер искусства в формуле Толстого, что искусство служит к об'единению людей, и что в этом именно и состоит назначение истинного искусства. Ф. И. Шмит до такой степени смешал точку зрения марксизма с точкой зрения Толстого, что он сопоставляет Толстого с Плехановым. Ему представляется, что социологический метод марксизма и требование от искусства общественного содержания совпадают в общем и целом с голой абстрактной толстовской формулой, имеющей, как мы видели, религиозно-мистическое значение. Ф. Шмит цитирует следующие места из Плеханова, которые и мы сейчас приведем:

«Вопрос об отношении искусства к общественной жизни всегда играл очень важную роль во всех литературах, достигших известной степени развития. Чаще всего он решался и решается в двух прямо-противоположных смыслах. Одни говорили и говорят: не человек — для субботы, а суббота — для человека, не общество — для художника, а художник — для общества; искусство должно содействовать развитию человеческого сознания, улучшению общественного строя. Другие решительно отвергают этот взгляд: по их мнению, искусство само по себе — цель; превращать его в средство для достижения каких-нибудь посторонних, хотя бы и самых благородных, целей — значит унижать достоинство художественного произведения»... «Склонность художников и людей, живо интересующихся художественным творчеством, к искусству для искусства возникает на почве безнадежного разлада их с окружающею их общественною средою». И наоборот, «так называемый утилитарный взгляд на искусство, т.-е. склонность придавать его произведениям значение приговора над явлениями жизни и всегда ее сопровождающая радостная готовность участвовать в общественных битвах, возникает и укрепляется там, где есть взаимное сочувствие между значительною

[1]) Сборник комитета социологического изучения искусства, Ленинград 1926 г., стр. 18.

частью общества и людьми, более или менее деятельно интересующимися художественным творчеством» [1]).

И проф. Ф. И. Шмит заключает: «Этим вопрос об общественном характере искусства, как такового, для Плеханова исчерпан. Он не считает нужным опровергать теорию «искусства для искуства» или теоретизировать о красоте и всем прочем тому подобном, он не руководствуется никакою «эстетикою». Прямо и безоговорочно он мимоходом заявляет как-то, что «искусство есть одно из средств духовного общения между людьми» [2]).

Разберемся в этом. В приведенных цитатах из Плеханова об'ясняется, во-первых, то несомненное положение, что искусство есть общественное явление; во-вторых, говорится, что искусство должно иметь общественное содержание, и, в-третьих, указывается, что принцип «искусство для искусства» является следствием оторванности художника от общественной среды, имеющей место большею частью в периоды общественного распада или разложения того класса, идеологом которого является данный художник. Вот и все, что сказано здесь Плехановым. Следует ли из этого, что Плеханов, подобно Толстому, отрицает здесь эстетическую сторону искусства, как в этом уверяет нас проф. Ф. Шмит, и можно ли в этих положениях Плеханова усмотреть осуждение искусства, как самостоятельной отрасли общественного сознания? На эти вопросы приходится ответить абсолютным и решительным отрицанием. Проф. Ф. Шмиту кажется, повидимому, что между толстовским взглядом на общественный характер искусства и взглядом Плеханова существует сходство, и это сходство проф. Шмит открывает в положениях Плеханова, что «искусство есть одно из средств духовного общения между людьми» и что «чем выше чувство, выраженное данным художественным произведением, тем с большим удобством, при прочих равных условиях, это произведение сыграет свою роль указанного средства». Что же, собственно следует из этих положений? Можно ли вывести из них, что сущностью искусства Плеханов считает об'единение людей или что в этих положениях в скрытом виде заключается отрицание эстетического элемента? Думается нам, что ни то и ни другое. Утверждение, что искусство является одним из средств об'единения людей, яоное дело, ни в коем случае не равняется абсолютной толстовской формуле. Ибо быть одним из средств — это одно, а быть главной целью — это другое. Одним из средств об'единения людей может быть, и фактически бывает, каждая общественная функция. Например, торговля и промышленность, особенно на некоторых ступенях общественного развития, являются могучим средством об'единения людей, не только в материальном смысле, но и в духовном. «Коммунистический Манифест», рисуя в классической форме своим кованым языком космополитическую роль буржуазии, говорит: «И с духовным производством дело обстоит так же, как и с материальным. Духовный продукт отдельных народов становится общим достоянием. Национальная односторонность и ограниченность становятся все менее

---

1) Стр. 22—23.

2) Стр. 23.

возможными, из многочисленных национальных и местных литератур образуется одна мировая литература». Выходит, таким образом, что для того, чтобы искусство играло роль об'единяющего фактора, ему должен причинным образом предшествовать материальный «фактор». Вот это есть марксистская точка зрения на данный предмет.

И дальше: доказывая неутомимо, что теория искусства Плеханова по сути дела совпадает с религиозным утилитаризмом Толстого, профессор Шмит обвиняет Плеханова в непоследовательности. Выходит, что, в отличие от Толстого, «Плеханов все еще до некоторой степени остается во власти эстетики» [1]). А власть эстетики над Плехановым заключается в том, что раб эстетики Плеханов смешивает понятие красоты с понятием искусства. Такое же смешение является, по мнению проф. Ф. И. Шмита, недопустимым. Смешивать эти два понятия, действительно, не следует, но ведь ясный логический мыслитель Плеханов этого не делает. Плеханов превосходно понимал, что понятие красоты и у́же, и шире понятия искусства. У́же потому, что искусство воспроизводит предметы и явления, оригиналы которых не всегда могут входить в понятие красоты; шире потому, что понятие красоты распространяется на предметы и явления природы. Это различие не может, однако, никоим образом устранить того факта, что искусство оценивалось и оценивается на протяжении всей истории человечества не только с точки зрения его общественного содержания, но и с точки зрения понятия красоты. «Признать какую-либо органическую форму красивой, — пишет проф. Шмит, продолжая все полемизировать с Плехановым, — значит высказать свое одобрительное к ней отношение и только» [2]). Это совсем не так. Одно дело одобрение, а другое — эстетическая оценка. Всякая эстетическая оценка заключает в себе одобрение, но не всякое одобрение заключает в себе эстетическую оценку. Маркс, например, утверждал, что чтение Гомера доставляло ему величайшее наслаждение, а, с другой стороны, тот же Маркс весьма одобрительно относился к отчетам английских фабричных инспекторов, дававшим ему материал для определенных экономических выводов. Что же, можно сказать, что в обоих случаях Маркс высказывал свое «одобрительное отношение — и только»? Ясно для всякого, что проф. Шмит, быть может, слишком поспешно высказал по отношению к Плеханову весьма ошибочную мысль.

Эстетическое наслаждение от художественного произведения есть факт, и от этого факта нельзя отмахнуться никакими софизмами и никакими абстрактно-рационалистическими формулами. Подобного рода усердие не только затемняет и без того весьма сложный и запутанный вопрос об эстетических оценках, но и ведет в конечном результате, с логической принудительностью, в трансцендентный мир. Ибо естественно встает вопрос о коренном источнике эстетического отношения к предмету. Ответ на этот вопрос может быть либо материалистический, либо идеалистический. Материалист ищет этот источник в действительной материальной сфере, в биоло-

[1]) Проф. Ф. Шмит, цитир. соч., стр. 42.
[2]) Стр. 42.

гии и в социологии, т.-е. в природе и в истории. Идеалист же метафизик, исходя из той точки зрения, что подлинная действительность лежит за пределами нашего реального мира, находит этот источник или первоначало всех наших духовных форм отношения к действительности в воображаемом им потустороннем мире. По существу такова точка зрения Толстого. По Толстому, повторяем, об'единение людей, совпадающее с истинным искусством, есть служение богу и добру, «метафизически составляющему сущность нашего сознания». А проф. Шмит считает родоначальником современного социологического искусствоведения Толстого [1]). Плеханов же, по Шмиту, идет в области искусствоведения тем же путем, но менее последовательно.

Проф. Шмит пишет: «Мне все время приходится, так сказать, полемизировать с Плехановым. На самом деле я только договариваю то, что Плеханов, займись он вплотную вопросами искусства, должен был бы сказать сам и что вытекает из именно им, Плехановым, сформулированных и примененных к исследованию искусства принципов. Мои поправки имеют целью не опровергнуть плехановскую теорию искусства, а сделать ее пригодной для об'яснения всех фактов, изучаемых научным искусствоведением» [2]).

Прежде всего, приходится заявить, и самым серьезным образом, что Плеханов «вплотную» занимался вопросами искусства в продолжение многих лет, что он прочитал огромное количество книг, что Плеханов был одним из лучших знатоков всемирной литературы, что Плеханов не однажды предпринимал специальные поездки в Италию, где тщательно, с присущею ему любознательностью и усердием, изучал все памятники итальянского искусства. Он также очень хорошо знал искусство Германии и Франции по близкому, если можно так выразиться, личному знакомству со всем населением германских и французских музеев, с великими памятниками архитектуры и т. д. К тому же следует прибавить, что Плеханов, по существу, был сам большой художник с тонким эстетическим чувством и, разумеется, чего не станет отрицать проф. Шмит, весьма тонкий аналитик. Словом, Плеханов имел все данные для того, чтобы «вплотную подойти к вопросам искусства», и он вплотную к ним и подошел.

Чего же Плеханов, с точки зрения проф. Шмита, не договорил? Не договорил он следующего. Проф. Шмит цитирует заключительные строки статьи Плеханова об искусстве первобытных народов: «Человек сначала смотрит на предметы и явления с точки зрения утилитарной, и только впоследствии становится в своем отношении к ним на эстетическую точку зрения». «Можно сказать, — заявляет категорически проф. Шмит, — с полной уверенностью, что если бы Плеханов прочел вот эту фразу у какого-нибудь другого автора и без отношения к Бюхеру и Гроосу, он, как социолог, решительно ее опротестовал бы» [3]). Почему же, спрашивается, Плеханов должен был бы протестовать против своего собственного, чрезвычайно важного вывода? Потому, учит нас проф. Шмит, что на самых первых ступенях

[1]) Шмит, стр. 18.

[2]) Стр. 50.

[3]) Стр. 47.

культурного развития человек живет в коллективе. В коллективе он должен понимать ближнего и быть им понятым. А для этого он вынужден совершать «нарочитые движения, нарочитые сокращения тех или иных групп мускулов, нарочитые действия, т.-е. искусства» [1]). Предположим, что это действительно так. Более того, нам известно, что письменность начинается с художественных изображений предметов. Северо-американский индеец сообщает, напр., что он отправляется на несколько дней на охоту за морскими львами, и для этого он рисует («нарочито») человека с луком или копьем, морского льва и т. д. [2]). Ясно, что в этом случае искусство служит непосредственно орудием общения. Этого, разумеется, не оспаривал Плеханов, а, наоборот, в своих исследованиях это подчеркивал. Но в приведенном выводе Плеханова сказано нечто совершенно другое, а именно, что вначале «человек смотрит на предметы и явления с точки зрения утилитарной и только впоследствии становится в своем отношении к ним на эстетическую точку зрения». Это значит, что эти самые «нарочитые» движения и действия, которые впоследствии рассматриваются, как искусство, носят вначале утилитарный характер, и лишь впоследствии начинают рассматриваться с эстетической точки зрения.

В том же самом, только что приведенном нами примере изображенные охотник, лев, оружие и весь ритм и т. д. возникают под влиянием чисто-утилитарного мотива. Но впоследствии, если эти самые элементы достигают некоторой отделки, то они становятся ценными сами по себе, вызывая эстетическое к себе отношение.

Плеханов, следовательно, признавая факт эстетического отношения к определенным предметам, доказывал, что этому отношению предшествует утилитарный взгляд на те же предметы и явления, в противоположность идеалистам, отрицающим в том и другом виде утилитарные мотивы в области искусства. Профессор же Шмит просто отрицает факт эстетического отношения, упрекая Плеханова в непоследовательности.

Все известное нам, во многих отношениях замечательное, искусство палеолита проф. Шмит, продолжая полемизировать против якобы незаконченной мысли Плеханова, об'ясняет стремлением, посредством магии воздействовать на предметы, являвшиеся главным источником существования первобытного человека. Хорошо, искусно нарисованный зверь должен приворожить действительного зверя. Возможно, что это так; некоторые факты палеолита, действительно, говорят за то, что живопись каменного века играла такую роль. Но является вопрос, почему именно хорошо нарисованный зверь должен был содействовать овладению зверем? Насколько мне известно, полного и точного ответа на этот вопрос в исследованиях первобытного искусства мы пока не находим. Цивилизованные люди, замечает Рейнак, говорят преувеличенно о чудодейственной силе искусства. Первобытные же люди верили в это серьезно. Хорошо в этом смысле замечает тов. Фриче: «В основе этого умо-

---

[1]) Там же.

[2]) Пример заимствован из книги В. Фриче, Социология искусства, стр. 21.

настроения лежала магия, как известное мировоззрение, исходившее из того убеждения, что стоит только воспроизвести нечто, и оно станет действительностью» [1]). Если уже в этом отношении строить гипотезу, то вернее будет предположить, что изображение предметов, на которые впоследствии приходилось действовать этим магическим способом, вытекало вначале из более непосредственных мотивов, как, например, приведенный нами выше факт изображения морского льва северо-американским охотником. Нарисованный лев, изображение которого вначале, несомненно, не отличалось художественным совершенством, выполнял в достаточной мере свою непосредственно-утилитарную функцию: сообщить окружающим, куда и с какой целью отправился охотник, автор этого изображения. Но впоследствии изображение льва усовершенствовалось, и усовершенствовал его не каждый первобытный человек, а художник (судя по искусству палеолита, тогда были художники, т.-е. лица, особенно одаренные в этой области. Можно также безошибочно прибавить, что американский индеец, указавший таким способом свой путь и цель, также был художником). Лишь тогда, когда изображение животных достигло наибольшего совершенства в смысле сходства с действительностью, вызывая таким образом удивление чудодейственной силе искусства, могла возникнуть мысль о могущественной власти изображения на оригинал. Предположить же, что человек палеолита сразу придумал такую для первобытного мышления тонкую теорию, будто сходное действует на сходное, это значит стать по существу на ультра-рационалистическую точку зрения, выдавая ее к тому же за настоящий, подлинный исторический материализм. Тут опять приходится вспомнить замечательную мысль Маркса, что несравненно меньшая степень анализа требуется для того, чтобы подняться вверх по лестнице самых высших форм абстракций, чем, наоборот, спуститься вниз и найти материальные земные корни примитивного мышления.

Профессору Шмиту представляется, что он — более последовательный материалист, чем Плеханов, когда он полагает, что искусство «нарочито» изобретается для общения людей между собой. В действительности, этого рода материализм напоминает собою, по своему методу мысли, об'яснение возникновения общества или государства при помощи общественного договора. Выше приведенная формулировка Плеханова, подвергнутая таким резким нападкам со стороны нашего профессора, подтверждается на самом деле наиболее компетентными исследователями первобытного искусства.

На основании многочисленных фактов, их сопоставления между собой и весьма тонкого анализа Эрнст Гроссе приходит к такому замечательному заключению: «Украшение тела имеет для первобытных племен важное практическое значение: во-первых, как средство привлечения, во-вторых, как средство устрашения. В обоих случаях это вовсе не вздор и пустяки, а необходимое и очень сильное оружие в борьбе за существование. По цели

---

[1]) В. Фричс, Социология искусства, стр. 23.

все первобытные уборы можно разделить на привлекающие и устрашающие. Это деление не следует понимать так, что каждый отдельный вид украшения служит той или другой цели. Наоборот, большая их часть служит зараз обеим целям. То, что делает мужчину страшным для мужчин, придает ему прелесть в глазах женщин»[1]).

Этими чисто утилитарными мотивами Гроссе об'ясняет причины, почему на низшей ступени культуры развилось такое огромное, даже чрезмерное богатство украшений. Можно сказать, что это богатство украшений обусловливалось тяжестью борьбы за существование и угрожающими опасностями. Но те же самые предметы украшений, вызванные непосредственно-утилитарными мотивами, служат впоследствии предметами удовлетворения эстетической потребности. Каковы эти предметы украшения, зависит от географической среды и всей суммы материальных условий производственных отношений. Качество же этих предметов определяется, кроме их непосредственно утилитарного значения, их исключительностью, необычностью, редкостью, степенью их яркости и т. д. Некоторые из этих предметов свидетельствуют о трудности добывания, о некотором богатстве, излишестве, о мужестве и силе тех, кто их добыл, как, напр., различные трофеи.

Мы видим таким образом, что прав Плеханов и что ошибается проф. Шмит, ставя Плеханову в упрек, что тот, по какому-то недосмотру, сделал поспешный вывод из своей работы по первобытному искусству.

Недоволен проф. Шмит также следующим выводом Плеханова. Подвергнув критике теорию Карла Грооса, признающего, что игра предшествовала труду, Плеханов заключает, на основании многочисленных данных, что, наоборот, труд предшествовал игре и вообще искусству. Проф. Шмит, как сказано, не одобряет и этого вывода. «Искусство, — замечает он, — есть тот же труд»[2]). Это, конечно, верно. Но из этого не следует, что всякий труд есть искусство, понимая искусство в его специфическом значении[3]).

Утверждая свой вывод, что труд предшествует искусству, Плеханов имеет, главным образом, в виду тот несомненный факт, что, прежде чем производить предметы искусства, сам труд и техника труда, на самых первых ступенях культуры, должны были достичь известной степени развития. Ритм, играющий такую огромную роль в искусстве, ритм линии, ритмически повторяющиеся манипуляции, которые охотник производил во время обработки, скажем, камня для производства топора, стали одной из основ искусства. Кроме того, такое искусство, как, например, танцы, имеющие столь

---

[1]) Э. Гроссе, Происхождение искусства, пер. Грузинского, М. 1899, стр. 102.

[2]) Шмит, стр. 47.

[3]) В I томе Капитала Маркс, развивая теорию стоимости и усматривая, как известно, сущность стоимости в абстрактном человеческом труде и приравнивая каждый квалифицированный труд соответственно большему количеству простого труда, выделяет из этого общего закона произведения художественного и научного творчества.

огромное значение в первобытном искусстве, являются как известно, бесцельным повторением многих трудовых процессов. Это бесцельное повторение вызывается иногда избытком сил, радостным состоянием, которое вызывается успешным результатом труда и т. д. Но это же повторение служит в то же время и хорошим упражнением для дальнейшей деятельности. Тем не менее, танцы удовлетворяют, опять-таки, эстетической потребности как танцующих, так и зрителей, и совершенствуются также и в этом направлении, в смысле эстетической категории.

Все явления первобытного искусства, ясное дело, продиктованы утилитарными мотивами различного характера. Все его содержание определяется производственными отношениями. Но в то же время искусство это, удовлетворяя эстетической потребности людей, получает самостоятельную значимость. Искусство с точки зрения этой эстетической значимости до такой степени всеобще, т.-е. присуще всем первобытным племенам, что теория искусства может рассматривать эстетическую потребность, как биологический факт, как свойство человеческой природы, которое справедливо признается и подчеркивается Плехановым.

С первого взгляда, для несовсем посвященного в диалектическую мысль и в общее марксистское мировоззрение может казаться, что между методом искусствоведения, развиваемым проф. Шмитом, и марксистским методом, защитником которого является Плеханов, наиболее глубоко применивший этот метод к изучению всех форм общественной идеологии, — нет никакого существенного различия. Может казаться, что проф. Шмит, действительно, более последователен и с большею неустрашимостью доводит социологическую точку зрения марксизма в вопросах искусства до логического завершения, и что Плеханов, в известном смысле случайно, все еще оставался, как выражается проф. Шмит, «под властью эстетики». На самом деле, это далеко не так. На самом деле, при внимательном и вдумчивом анализе этого логического завершения, оказывается, что мы имеем дело с двумя совершенно различными, в известном смысле противоположными, воззрениями на искусство.

Проф. Шмит, идя по стопам Толстого, отрицает правомерность и значимость наслаждения искусством. Искусство — дело непосредственно утилитарное и суровое, оно не может быть ни забавой, ни наслаждением. Единственною и исключительною целью искусства может быть только об'единение людей: «Искусство, — формулирует свою окончательную точку зрения проф. Шмит, — есть не одно из средств общения живых существ между собой, а единственное средство общения, единственно пригодное для того, чтобы организовать отдельные особи в социальный организм и тем самым увеличить шансы этих особей на добрый успех в жизненной борьбе за существование» [1]).

Выходит, согласно такой формулировке, что искусство составляет основу как общественных отношений, так и всего общественно-истори-

[1]) Шмит, стр. 44.

ческого процесса. Ясно, думается нам, для всякого марксиста, что такой взгляд является прямой противоположностью марксистскому воззрению на общество и историю. Приписывать такое всеоб'емлющее значение искусству — значит оставить, по существу, без об'яснения как общество, так и искусство.

Не стану здесь касаться вопроса о том, что составляет сущность и основу общественных отношений в марксистском понимании общества и истории. Это известно всякому марксисту. Всякий марксист также поймет, что приведенный выше взгляд есть архиидеалистическое построение. Но несовсем очевидны выводы из этой идеалистической теории в отношении искусства. Из этой основной идеалистической предпосылки делается важное заключение, что искусство, как единственный фактор общественной связи, должно носить непосредственно-утилитарный характер, должно быть сугубо строгим, свободным от элементов наслаждения, всегда должно отличаться непосредственной и «нарочитой» целесообразностью, а посему подлежит строжайшей государственной регламентации[1]. И дальше делается еще один вывод, что искусство не может и не должно существовать как самостоятельная функция. С этой точки зрения осуждаются и должны со временем исчезнуть все такие изолированные от непосредственно-практической жизни миры искусства, как музеи, картинные галлереи, театры и т. д. По существу дела, эти конечные выводы, сознательно или бессознательно, определяются

[1]) Следуя в общем теории искусства Толстого, проф. Шмит старается реабилитировать взгляды Платона на искусство. Платон, пишет проф. Шмит, не был противником искусства, как это утверждает даже такой знаток Платона как, например, Виндельбанд. Платон лишь требовал серьезности и государственной полезности искусства. Все же прав Виндельбанд и все те, которые видели в Платоне противника искусства. Исходя из своего общего метафизического мировоззрения, Платон отрицал искусство прежде всего и главным образом с той точки зрения, что искусство является областью, наиболее отдаленной от истины. В Х-й заключительной главе книги «Государство» искусство подвергается весьма тщательному анализу. Так как действительный, окружающий нас мир представляет собою по Платону жалкую и смутную копию подлинной действительности, которою обладают одни только трансцендентные идеи, а искусство в свою очередь является лишь копией с этой смутной копии, то оно, как наиболее отдаленное от трансцендентного мира, т.-е. от подлинной истины, оказывает свое действие на низшую часть души, т.-е. на чувственную сферу, и с этой точки зрения оно должно быть отвергнуто. Отвергнут должен быть Гомер и все трагическое искусство потому, что оно размягчает нравы, и т. д. То, что можно сохранить в области искусства, это только прославление добродетели, религиозно-назидательные мифы и т. д. Признаются еще Платоном военные песни для воспитания воинского духа и музыка для приучения души к ритму и гармонии. И при этом указанная весьма ограниченная область искусства, проникнутая непосредственным утилитаризмом, должна быть строжайшим образом регламентирована соответствующими государственными мерами. Не трудно видеть, что, при таком отношении к искусству, искусство фактически отвергается и осуждается во имя совершенствования бессмертной души с целью возвращения ее на ее истинную родину, т.-е. в лоно трансцендентного мира идей. Виндельбанд, поэтому, совершенно прав, утверждая, что Платон был противником искусства.

либо общим религиозно-идеалистическим мировоззрением, которое, как таковое, всегда заключает в себе аскетический элемент (большею частью, конечно, только теоретически, ибо практически идеалист обычно отрицает наслаждение только для угнетенных классов), либо временно-историческим нигилизмом и упрощенством, как это имело место, напр., в нашей народнической литературе в качестве антитезы и протеста против роскоши господствующих классов. Диалектический же материализм не имеет ничего общего ни с тем, ни с другим направлением мысли. Стоя на той общей философской позиции, что жизнь человека и человечества исчерпывается земным историческим существованием, диалектический материализм признает все формы и виды наслаждений, но признает их постольку, поскольку они не разрушают индивидуум и не разлагают общество, т.-е. постольку, поскольку они не превращаются в свою собственную противоположность. Эстетическое наслаждение является одним из высших, облагораживающих, воспитывающих факторов как в индивидуальной, так и в общественной жизни. Признавая утилитарное значение искусства, спецификумом искусства всегда остается его эстетическая, художественная сторона.

Для иллюстрации этого положения, встречающего резкие возражения со стороны ограниченных и односторонних приверженцев содержания в искусстве, приведу еще следующий пример. Представим себе, — что, конечно, нетрудно себе представить, — что государство ставит памятник великому человеку: государство вовсе не задается непосредственною целью доставить зрителям этого памятника эстетическое наслаждение. Сооружение памятника имеет множество утилитарных целей: памятник являет собою благодарность великому человеку за его творчество; памятник должен рассказать будущим поколениям о славе и могуществе данного государства; памятник должен служить пропагандой тех идей, которые проповедывал данный великий человек; памятник должен вдохновлять юные таланты, служить двигательной силой к их развитию; памятник должен служить соединяющим звеном между данными и другими поколениями, и т. д., и т. д. Как видите, все — утилитарные великие цели, и если памятник не заключает в себе, действительно, всех потенций для реализации означенных и неозначенных утилитарных целей, то он не выполняет своего назначения. Но для того, чтобы достижение всех утилитарных целей было возможно, он должен отличаться художественной формой, т.-е., прежде всего, доставить зрителям непосредственное эстетическое наслаждение, — иными словами, он, прежде всего, должен быть произведением искусства. Все означенные цели могут быть достигнуты другими путями: проповедью, историей, биографией и т. д. Но все это утилитарное содержание, воплощенное в художественную форму, порождает новую цель — цель удовлетворения эстетической потребности. Эта новая цель и есть спецификум искусства, и ее художник-творец должен иметь в виду прежде всего. Ибо только в том случае осуществляются все утилитарные цели художественного произведения, когда выполнена художественная задача.

Найдутся, пожалуй, такие читатели (а читатели, конечно, различные бывают), которые усмотрят в такой формулировке проблемы искусства формализм. Они ошибутся глубочайшим образом, обнаружив свое полное непонимание сущности так называемого формального метода в искусстве. Формализм не тем плох, что он придает значение форме — в этом он совершенно прав. Глубочайшее заблуждение формализма заключается в том, что он сознательно или бессознательно исходит из общих, идеалистических основ и, в зависимости от этих идеалистических основ, превращает форму в содержание. Но это — пока, для того, чтобы оградить себя от обвинения в формализме. Вопрос же о форме и содержании, связанный с вопросами, поставленными в предыдущем очерке об отношении общего мировоззрения к искусству, будет рассмотрен в следующих очерках.

Приключения с царской телеграммой [1]).

Н. Ростов.

В ноябре 1905 года, в связи с всеобщей забастовкой почтово-телеграфных служащих, правительство стало пользоваться железнодорожным телеграфом особенно для передачи шифрованных телеграмм. Почтово-телеграфный союз в Москве обратился к железнодорожным телеграфистам с просьбой не принимать правительственных телеграмм.

25 ноября по всей Московско-Казанской ж. д. была разослана телеграмма: «По всей линии телеграфистам. Ярославская, Николаевская дороги постановили прекратить на всех железных дорогах прием и передачу частных и правительственных телеграмм явно противообщественного характера, имеющих целью противодействовать против телеграфной забастовки, также всех шифрованных депеш. К тем из телеграфистов, которые нарушат это постановление, будут применены крайние репрессивные меры. Настоящее постановление разослать по всем городам и станциям. Центральное Бюро Всероссийского железнодорожного и почтово-телеграфного союзов просит товарищей Казанской железной дороги немедленно сообщить ваши мнения по этому для принятия решения нашей дороги. Телеграф ст. Москва пассажирская».

Телеграфисты всей дороги присоединились к этому решению. А 27 ноября железнодорожные телеграфисты всего Московского узла отказались от приема и передачи шифрованных телеграмм.

В тот же день Начальник Московского Жандармского Полицейского Управления железных дорог докладывал Командиру Отдельного Корпуса Жандармов:

«В ночь с 26 на 27 сего ноября Начальник службы Телеграфа получил, при 3-х отношениях Управления Московских городских телеграфов, телеграммы для передачи по железнодорожным проводам; в числе этих телеграмм была шифрованная телеграмма Государя Императора от 15 ноября за № 219 в Лошагоу Главнокомандующему Генерал-Ад'ютанту Линевичу, пять Высочайших и 4 правительственных телеграммы. Телеграмму Государя Императора сопровождала телеграмма Начальника Царскосельского телеграфа, на имя начальника телеграфа Московско-Казанской железной дороги, от 26 ноября, следующего содержания: «по Высочайшему

---

[1]) Дело № 1, 7 делопр. 1906 г. Архива департамента полиции.

повелению распорядитесь передачей Высочайшего № 219 Лошагоу далее до Харбина и о последующем уведомить. Мансветов». Начальник телеграфа тотчас же сделал на препроводительных бумагах надпись в телеграф ст. Москва о немедленной передаче телеграмм, но в 11 часов утра он получил из телеграфа все телеграммы обратно, при записке следующего содержания: «Г. Начальнику службы телеграфа. Присланные Вами депеши для передачи по железнодорожным проводам, на основании общего постановления всех телеграфистов Московских и других дорог совместно с другими службами, не передавать, таковые переданы быть не могут. Телеграф». Начальник телеграфа, немедленно явившись в телеграф, об'яснил телеграфистам значение телеграммы Мансветова и предложил вновь телеграфистам передать депеши. Телеграфисты вновь отказались. Тогда Начальник телеграфа лично передал все телеграммы на первый узловой телеграфный пункт на ст. Рузаевка, для передачи в Батраки и далее. В приеме получил квитанции Рузаевки. О наблюдении за тем, чтобы телеграммы были переданы далее, мною сообщено Начальнику Пензо-Рузаевского Отделения телеграммой, которую телеграф принял к передаче. Дознание мною по сему производится и, согласно личного предложения Прокурора Окружного Суда, будет передано на его распоряжение.

О вышеизложенном мною вместе с сим донесено Департаменту Полиции.

Подполковник *Смирницкий*».

На следующий день Правление Казанской дороги телеграфировало Министру Внутренних дел Дурново:

«В ночь на 27 ноября с Правительственного телеграфа была прислана для передачи шифрованная телеграмма Государя Императора; телеграфисты ст. Москва отказались передать эту телеграмму и она была передана лично начальником телеграфа, но за отказом станции Батраки принять ее телеграмма дальше Батраков не пошла. Узнав об этом начальник телеграфа составил телеграмму начальнику телеграфа Златоустовской, но и эта телеграмма не была передана; об отказе телеграфистов станции Москва отправить Высочайшую телеграмму составлен жандармский протокол доведено до сведения Московского градоначальника. Управляющий дорогой предполагает уволить виновных телеграфистов. О всем вышеизложенном считаем долгом донести».

Дурново в тот же день доверительным письмом обратился к Немешаеву с просьбой «сделать распоряжение об увольнении телеграфистов станций Москва и Батраки». Но дело не ограничилось одной Москвой и Батраками. Злополучная телеграмма встретила сопротивление по всем линиям, вплоть до Читы, где, повидимому, и погибла. Это сопротивление приводило Дурново в бешенство. Он настолько заинтересовался этим делом, что самые зверские, как мы увидим, телеграммы писал собственноручно, что министр никогда не делал. 25 декабря директор Департамента Полиции писал Начальнику Штаба Корпуса жандармов:

«Управляющий Министерством приказал командировать способного и деятельного офицера Корпуса Жандармов для исполнения одного ответственного поручения по железнодорожным путям вплоть до станции Манчжурия. Инструкции этому офицеру, для исполнения означенного поручения, согласно преподанных мне Управляющим Министерством указаний, будут даны мною лично.

Сообщая об изложенном Вашему Высокоблагородию, долгом считаю добавить, что я с своей стороны полагал бы возложить исполнение такового поручения на состоящего при Штабе Корпуса Подполковника Спиридовича, которого и прошу Вас временно командировать в распоряжение Департамента».

Начальник Штаба Корпуса Жандармов Савич в тот же день за № 524 уведомил Департамент полиции, что «подполковнику Спиридовичу предписано поступить в распоряжение Департамента». На следующий день директор департамента полиции Вуич писал Спиридовичу: «По приказанию г. Управляющего Министерством Внутренних Дел предлагаю Вашему Высокоблагородию произвести расследование на предмет выяснения всех железнодорожных и правительственных телеграфистов, которые умышленно не пропускали на восток Высочайшие депеши и рассылали по этому поводу приказы о препятствовании пропуску означенной депеши. При производстве этого расследования особое внимание надлежит обратить на Высочайшую депешу № 219, о которой ведется также особое расследование в Главном Управлении почт и телеграфов. Действия по предлагаемому расследованию должны быть произведены со всевозможною быстротою, без особых формальностей, при чем надлежит брать под стражу всех виновных телеграфистов, как железнодорожных, так и правительственных. Директору Канцелярии Министерства Путей Сообщения и Начальнику Главного Управления почт и телеграфов вместе с сим сообщено об оказании Вам зависящего содействия.

О последующем прошу мне представить».

28 декабря Дурново написал директору департамента полиции записку:

«Сделано ли распоряжение о командировании жандармского офицера по Сибирской линии для расследования обстоятельств скрытия Высочайшей депеши.

П. Дурново».

В ответ на это Вуич сообщил ему о назначении Спиридовича.

В это время в Министерстве Путей Сообщения получился рапорт Инспектора по эксплоатации железных дорог инженера Майера от 27 декабря о задержанной телеграмме, который немедленно был передан Дурново. В нем Майер писал:

«Имею честь донести, что во время моего пребывания в Самаре Управлению Самаро-Златоустовской дороги удалось найти концы весьма важного преступления, по поводу которого Вашим Превосходительством был командирован Инспектор Манасеин, преступления, заключавшегося в задержке

шифрованной Высочайшей телеграммы на имя Главнокомандующего Линевича.

Оказалось, что телеграмма эта дошла до станции Батраки С.-Златоустовской дороги, которая приняла ее на ленту от станции Рузаевка Московско-Казанской дороги, но расписки этой последней станции не выдала и не дала телеграмме дальнейшего хода. Дня через два после получения депеши на ленте старший телеграфист станции Батраки Миленин, узнав случайно о существовании задержанной шифрованной депеши, сообщил о ней по аппарату в Самару старшему механику телеграфа Зубову, а затем, списав ее с ленты, послал тому же Зубову почтой. Зубов немедленно представил эту депешу своему непосредственному начальнику, помощнику начальника движения по телеграфу Яндоловскому (ныне уволенному), который повидимому поручал передать ее по назначению телеграфистам станции Самара, но получил записку старшего телеграфиста Короткова, в которой сообщалось, что по постановлению такого-то комитета шифрованные депеши посылать запрещено. После этого Высочайшая депеша недели две оставалась на руках у Яндоловского и найдена Зубовым вместе со всеми записками на столе Яндоловского уже после его увольнения.

Таким образом депеша задержана телеграфистами не в Челябинске как о том думали ранее, а в Батраках и Самаре, Самаро-Златоустовской дороги. Причастною является также и станция Рузаевка, которая не заявила своевременно о том, что Высочайшая депеша от нее Батраками не принята.

Имена виновных телеграфистов пока еще неизвестны и потому еще нельзя ни к кому из них пред'явить формального обвинения; но несомненна виновность бывшего начальника телеграфа Яндоловского, который по небрежности или бездействию власти продержал у себя депешу несколько дней, не давая ей никакого хода, и даже не заявил о ней Инспектору Манасеину, с которым ездил в поезде именно ради этого случая.

По сему Управление дороги, сделав соответственное заявление прокурору, указало на одного лишь Яндоловского; но надо думать, что следственная власть без труда раскроет и остальных, более важных преступников, так как время дежурства каждого лица может быть с точностью установлено».

На этом рапорте рукою Дурново написано:

«1) Сообщить эти сведения Министру Юстиции, присовокупив, что эта в высшей степени важная депеша была передаваема три раза и неизвестно когда дошла по назначению. Для расследования этого дела, имеющего значение Государственного преступления, по всей линии командирован Полковник Спиридович.

2) Нельзя ли сообщить эти сведения Спиридовичу.

3) Арестовать немедленно Короткова и Яндоловского, о чем уведомить Спиридовича».

Сообщить эти сведения Спиридовичу нельзя было, ибо департамент полиции не знал, где он. Поэтому послали шифром запрос Начальнику Московского Охранного Отделения:

«Телеграфируйте где Спиридович. Сообщите ему срочной депешей пусть указывает маршрут чтобы знать куда ему доставлять новые сведения. Числе их есть очень интересные.

Заведующий отделом *Тимофеев*».

Сведения Майера пополнил начальник Сибирского Жандармского Управления железных дорог в секретном рапорте от 2 января 1906 г. на имя Командира Отдельного Корпуса Жандармов:

«По слухам, в конце ноября на станции «Рузаевка» и в «Челябинске» были задержаны Высочайшие телеграммы. Как выяснилось в настоящее время, означенные телеграммы были приняты и не переданы дальше ст. «Батраки» при следующих обстоятельствах: 29 ноября старший телеграфист станции «Батраки» Миленин просил Самару вызвать к аппарату механика телеграфа Зубова. Зубов был занят, почему поручил старшему телеграфисту Короткову подойти к аппарату и узнать в чем дело. Миленин передал Короткову, что его станция 27 ноября отказалась принять от станции Рузаевка Высочайшую депешу, которую он списал с ленты, но, по предложению им Самаре, последняя принять ее отказалась, почему и просит указаний. Коротков посоветовал Миленину прислать депешу почтою, о чем и доложил Зубову. 1 декабря депеша получена Зубовым при следующем рапорте: «Рапорт старшего телеграфиста станции Батраки 29 ноября 1905 года № 1370 Господину старшему механику телеграфа.

«Согласно Вашего распоряжения по аппарату 29 ноября при сем имею честь представить копии шифрованных Высочайших депеш за № 272—219, не принятых нашей станцией 7—27 ноября от станции Рузаевка; депеши были приняты 29 ноября неофициально. Старший телеграфист Миленин. Зубовым депеши эти были переданы Начальнику телеграфа Яндоловскому, который, видимо, предложил телеграфистам передать их по принадлежности, так как от 3 декабря имеется следующая записка: «Леонид Николаевич (Яндоловский). По справке от Миленина оказывается, что прилагаемая шифровка принята Батраками от Рузаевки неофициально, а также квитанцию не давали. Представлена она же, как говорит Миленин, для сведения Павлу Петровичу (Зубову) по просьбе последнего.

На вчерашнем собрании телеграфистов, между прочим, было постановлено таковую не передавать. А. Коротков».

Таким образом видно, что начальнику телеграфа Яндоловскому было известно о задержании Высочайших депеш, тем не менее он не принял никаких мер, чтобы они были отправлены по принадлежности, если не по железнодорожному телеграфу, то по правительственному, который в то время в Самаре занят был саперами. Наконец, можно было отправить и по железной дороге. Мало того, что он не принял соответствующих мер, но скрывал об этом даже тогда, когда для расследования, где именно были задержаны указанные депеши, прибыл Инспектор дорог Манасеин и пригласил Яндоловского с собой для означенной цели в Уфу. Коротков и Яндоловский теперь уволены от службы.

Доносят о вышеизложенном, докладываю, что Начальник дороги просил Прокурорский надзор против виновных лиц возбудить уголовное преследование, но Прокурор Окружного Суда без предложения Министра Путей Сообщения не может начать дело, почему Начальник дороги телеграфировал о сем Г. Министру Путей Сообщения.

Начальник Управления, Полковник *Гринцевич*.
Ад'ютант Управления, Ротмистр *Эльяшевич*».

После всех мытарств телеграмма добралась до Омска. Дурново собственноручно составил телеграмму Омскому Генерал-Губернатору [1]):

«Начальник почтово-телеграфного округа имеет представить Вам депешу его Величества к Главнокомандующему Генерал Ад'ютанту Линевичу. Депеша эта имеет весьма важное значение и потому благоволите принять необходимые экстренные меры к дальнейшему наивозможно быстрейшему движению депеши на восток. Для сего надлежит направлять ее или по телеграфу если телеграф действует или с нарочными надежными офицерами которые обязаны пользоваться телеграфом где можно направляя депешу другим надежным лицам которые в свою очередь должны всеми способами под личною ответственностью заботиться непременным доставлением депеши по адресу. О движении депеши прошу мне сообщить. Прошу уведомить меня первое какие меры приняты к обеспечению сообщения с дальним востоком второе прибыл ли в Иркутск Генерал Алексеев третье что сделано для подавления мятежа в Красноярске четвертое в каком положении Забайкальская и Манчжурская дороги. Сообщите также как предполагаете наказать мятежников на железной дороге. Необходимо всех их от старшего до младшего быстро без следствия судить военным судом за бунт и приговор привести в исполнение без всякого снисхождения. Ожидаю ответа для доклада Государю Императору».

Следом за этой телеграммой летит вторая:

«Омск. Генерал Губернатору. Секретно.

Прошу Вас по об'явлении военного положения и подавления мятежа в Иркутске Красноярске и других местах сделать следующие распоряжения почтово-телеграфному ведомству первое Начальника Иркутского Округа устранить от должности второе мятежников почтово-телеграфных чинов всех уволить от службы без прошения третье распорядиться чтобы им не выдавали жалованья четвертое тех которые были главными виновниками тех которые осмелились задерживать депеши его Величества и тех которые портили провода предать военному суду для наказания самым тяжким наказанием без всякого снисхождения пятое поручить временно управление округом и конторами чинам возвращающимся из Манчжурии и затем по получении

---

[1]) Все собственноручные записки Дурново не имеют дат. Копий же телеграфных расписок в деле не сохранилось.

от Вас известий чиновники будут присланы отсюда шестое никакого снисхождения мятежникам не оказывать седьмое передать в Читу что Начальник Округа и Начальник Читинской конторы уволены от службы восьмое все служащие в Читинской конторе тоже уволены. Убедительно прошу Вас расправиться с почтово-телеграфными мятежниками самым суровым образом.

Управляющий Министерством *Дурново*».

Следующее приключение произошло на ст. Иннокентьевская. Согласно рапорту Начальника Сибирского Жандармского Полицейского Управления железных дорог...

«Смена телеграфистов старшего по дежурству телеграфиста Поперекова отказалась принять с аппарата из Томска Высочайшую Его Императорского Величества шифрованную депешу адресованную Лошангоу из Царского Села, телеграфный № 219, счет слов 289 Главнокомандующему Генерал-Ад'ютанту Линевичу отправленную из Царского Села 16 ноября сего года.

По распоряжению Заведывающего передвижением войск Сибирского Района Подполковника Кусонского депеша эта принята с аппарата, 29 ноября в 12 часов дня, в присутствии Коменданта станции Иннокентьевской командиром 1-й роты 2-го железнодорожного батальона Штабс-Капитаном Измайловым и нижними чинами той же роты, при общем протесте телеграфистов станции Иннокентьевской и явившихся депутатов от Иннокентьевских мастерских: слесаря Омонина, столяра Довнаровича, слесаря Грапммана, токаря Куварзина, молотобойца Мойкина, столяра (председателя Иннокентьевского союза рабочих) Онощко и слесаря Алексевского, протестовавших против якобы насильственного приема названной депеши.

Дело об этом Начальником Иннокентьевского Отделения передано Прокурору Иркутской Судебной Палаты».

Дурново снова телеграфирует Омскому Генерал-Губернатору (телеграмма написана его рукой):

«В ноябре месяце его Величеством была послана Главнокомандующему армией на Дальнем Востоке весьма важная шифрованная депеша, которую мятежные телеграфисты не пропустили и пришлось ее отсылать с нарочными. Об этом известно Голынскому[1]). Поручил особому жандармскому офицеру расследование дела и выяснение телеграфистов. Если только они будут обнаружены, в чем я не сомневаюсь, то с ними сколько бы их ни было необходимо распорядиться так чтоб никогда и никто на телеграфе этого не забыл, ибо неполучение своевременно Высочайшей депеши имело в высшей степени важные последствия. Мятежников телеграфистов обязательно истреблять беспощадно».

Департамент же полиции с своей стороны предписал: «Начальнику Жандармского Полицейского Управления Сибирской железной дороги:

---

[1]) Начальник Ж. П. У. Сибирской ж. д.

«На рапорт № 1221 Всех телеграфистов задержавших Высочайшую депешу возьмите под стражу порядке охраны независимо от возбуждения против них судебного преследования. О положении этого последнего дела сообщите депешею».

В ответ Начальник Жандармского Управления железной дороги прислал две телеграммы:

«Высочайший № 219 согласно состоявшемуся еще в начале забастовки согласию с начальником телеграфа сибирской железной дороги был передан 29/XI на вокзал, откуда в Томск Управления дороги 29/XI, вследствие категорического отказа станции Иннокентьевская Сибирской железной дороги и Иркутск управление Забайкальской, депеша в его присутствии была принята военным телеграфистом, при чем одновременно предложено коменданту доставить ее в Иркутск заведывающему передвижением войск для дальнейшей отправки. Настоящее время вследствие забастовки железнодорожного телеграфа участка Красноярск Иннокентьевская о дальнейшей судьбе депеши узнать крайне затруднительно, но надо полагать, что все меры к доставке по адресу приняты. Для выяснения виновных и привлечения их к ответственности дело передано Иркутскому прокурору».

Номер второй. Дело передано Начальником Иннокентьевского Жандармского железнодорожного отделения прокурору Иркутской судебной палаты. Доставлена ли телеграмма № 219 по адресу положительных сведений нет узнать настоящее время невозможно Многократные запросы Начальника жандармского управления Сибирской ж. д. остаются без ответа, ибо, хотя по имеющимся сведениям Иркутск уже занят правительственными войсками но Красноярск находится власти революционеров поддерживаемых возмутившимся железнодорожным батальоном Командующий войсками полагает что Красноярске будет формальное сражение Телеграмма № 682 от 10/XII с необходимыми сведениями отослана Красноярскому и Иркутскому губернаторам нарочным».

31 декабря заведующий Иркутской почтово-телеграфной конторой Крузе прислал в Министерство Внутренних Дел подробный доклад о положении в Восточной Сибири. В конце доклада сообщалось о положении все той же телеграммы № 219. «По сведениям телеграмма Его Величества от 15 ноября № 219 передана телеграфом Забайкальской дороги в Джелантун где задержана стачечным комитетом так же как и депеша генерала Линевича Государю. Изложенное сообщено прокурору Иркутского Окружного Суда которым производится следствие по поводу задержки телеграммы его Величества № 219 телеграфами Сибирской и Забайкальской дорог».

На этом докладе рукою Дурново написано:

«1) Составить всеподданнейшую записку.

2) Копию сообщить графу С. Ю. (Витте).

3) Телеграфировать Генералу Сухотину, что лица, виновные в задержании Высочайшей депеши, подлежат преданию военному суду и тягчайшему наказанию. Дело необходимо закончить как можно скорее и казнить мятежников. Сообщить об этом подполковнику Спиридовичу».

В Иркутск же Дурново телеграфировал (текст его рукою):

«Управляющему Губернией.

Благоволите передать Генерал-Губернатору что телеграфисты виновные в задержании Высочайшей депеши величайшей важности в случае осуждения военным судом должны быть подвергнуты немедленно казни. Никакое снисхождение не может иметь места».

Эта телеграмма послана не только до суда, но даже до ареста.

Тем временем Спиридович чинил расправу в районе Казанской дороги. 9 января он телеграфировал в Департамент Полиции:

«Доношу прибыл с линии, где Ашиткове, Перове и Косино порученному мне делу арестовано восемь человек, кои привезены распоряжение Градоначальника допрашиваю их. Сегодня намечены здесь аресты. Распоряжение Вашего Превосходительства получил Москве предполагаю пробыть три дня».

20 января:

«Доношу расследование Самарского узла закончено арестовано 15 человек числе коих двое посылавших телеграмму задержать депешу Государя Императора, всего с задержанными Москве арестовано 32 человека остается обследовать Конотоп откуда также посылалось распоряжение задержать Царскую депешу и закончить несколькими арестами Москве; имея в виду изложенное, равно то, что Иннокентьевской Иркутску аресты предуказаны телеграфным распоряжением Вашего Превосходительства предполагаю ехать немедленно Конотоп, Москва, Петербург, испрашиваю распоряжений.

Подполковник *Спиридович*».

25 января:

«Доношу прибыл сегодня ночью Конотоп выполнив местное расследование арестовав шестерых выехал Москву требуемые почтой согласно полученной сегодня телеграммы сведения для скорости везу лично предполагаю быть Петербурге двадцать седьмого подполковник Спиридович».

В январе 1906 г. карательные отряды фактически овладели Сибирской и Забайкальской ж. д. Начались расправы с железнодорожниками. Стали создавать процессы о тех, кто уцелел от скорострельного суда. Правда, иногда приходилось прибегать к всевозможным ухищрениям, чтобы сплавить в каторгу того или иного служащего. Так 3 февраля Дурново писал директору департамента полиции:

«В каком положении дело телеграфистов задержавших Высочайшую депешу»..

По этому поводу Д. П. представил справку:

«Произведенное подполковником Спиридовичем дознание предполагалось препроводить на основании 1085 статьи Устава Уголовного Судопроизводства Министру Путей Сообщения для возбуждения против виновных преследования по 329 статье Уложения о Наказании, но оказывается, что большинство арестованных Спиридовичем телеграфистов служило на частных, а не казенных железных дорогах, так что во всем об'еме это дело не под-

лежало бы рассмотрению Министерства Путей Сообщения. Вместе с тем возникло затруднение, можно ли к телеграфистам частных дорог применять 329 статью Уложения о Наказании, помещенную в разделе преступлений по должности. Засим пришлось считаться еще с тем обстоятельством, что из числа обвиняемых некоторые телеграфисты-агитаторы вовсе не знали о существовании Высочайшей телеграммы за № 219, другие же (станция Конотоп) такой телеграммы не получали, а только намерены были задержать ее в случае присылки, и таким образом применение 329 статьи Уложения о Наказании к лицам этих двух категорий могло бы встретить серьезные возражения.

Для устранения всех означенных затруднений как процессуального характера, так и вытекающих из материального права, представляется более соответственным настаивать на применении по данному делу 265 статьи Уложения о Наказании, под которую можно подвести всех обвиняемых, не обращаясь в то же время к различным властям по вопросу о возбуждении преследования, так как 265 статья одинаково относится к частным и должностным лицам, статью же 329 Уложения о Наказании следует сохранить лишь в отношении телеграфистов станции «Батраки» и «Самара» Самаро-Златоустовской казенной железной дороги».

Прокурор Иркутской Судебной Палаты в свою очередь сообщал Министру Юстиции 11 января:

«Доношу Вашему Высокопревосходительству: возникшее 30 ноября 1905 года предварительное следствие о задержании 28, 29 ноября телеграфистами станции Иркутск Забайкальской и Иннокентьевская Сибирской железной дороги Высочайшей депеши на имя Генерал-Ад'ютанта Линевича нацнях будет закончено и препровождено Временному Генерал-Губернатору. В порядке 5 пункта 19 статьи военного положения, привлечены по 99 статье уголовного уложения и взяты под стражу семь лиц. Возникшее 16 декабря предварительное следствие по обвинению бывших телеграфистов Иркутской конторы по 1143 и 1140 статьям уложения наказаниях также заканчивается, привлечены и взяты под стражу четырнадцать лиц; в текущем месяце начаты предварительные следствия по признакам преступлений, предусмотренных 126 и 129 статьями уголовного уложения об организованных служащими и рабочими Забайкальской железной дороги и станции Иннокентьевской Сибирской дороги преступных сообществах комитетах, поставивших целью контроль над действиями администрации дороги, устранение всех мер, направленных против революционного движения народа и допускающих при наличности известных условий захват дороги в свою власть; по этим делам арестовано порядке военного положения тридцать лиц. Подробные донесения представлены Прокурору Иркутского Суда; с 31 декабря Иркутский и Балаганский уезды об'явлены на военном положении. Почтово-телеграфное сообщение с Забайкальем и Дальним Востоком еще не восстановлено. Прокурор Палаты Малинин».

О телеграфистах ст. Иннокентьевская полковник Сыропятов сообщал 21 января Директору департамента полиции:

«Дело о телеграфистах станции Иннокентьевская отказавшихся принять с аппарата из Томска Высочайшую шифрованную депешу судебным следователем Иркутского окружного суда закончена и представлена временному Иркутскому Генерал-Губернатору по его требованию номер сто шестьдесят восемь».

Более детальные сведения о сибирских телеграфистах мы находим в рапорте прокурора Иркутского Окружного Суда на имя Министра Юстиции от 7 января 1906 г.:

«В дополнение к представлению от 9 декабря 1905 года за № 2174, имею честь донести Вашему Превосходительству, что 6 января сего года по делу непринятии Высочайшей депеши привлечены и допрошены в качестве обвиняемых по 99 статье уголовного уложения телеграфисты Забайкальской железной дороги Немировский и Немазанников и телеграфист станции Иннокентьевской Поперекон, и против них мерой пресечения способов уклоняться от следствия и суда принято содержание под стражею в Иркутском тюремном замке.

Кроме того, к следствию привлечены в качестве обвиняемых телеграфисты станции Иннокентьевской Гудин, Туголуков и Тихонов, они вызывались на 7 января сего года, но не явились и начальнику Иннокентьевского отделения жандармского полицейского управления Сибирской железной дороги предложено подвергнуть их приводу. Привлечен также в качестве обвиняемого и телеграфист Харитонов, но он скрылся и не разыскан.

По допросу обвиняемых делу будет дан дальнейший ход».

3 февраля Иркутский губернатор Гондатти сообщает Дурново:

«В уездах, по линии железной дороги агитация сильно сократилась, но все-таки необходимо зорко следить за учителями, возвратившимися запасными, которые являются главными агитаторами. К сожалению очень медленно идет расследование и передача дела прокурорскому надзору; если же и передаются, то сильно задерживаются надзором и еще нет ни одного дела, перешедшего в суд, за исключением дел о телеграфистах, задержавших Высочайшую телеграмму, которое предполагалось рассматриваться здесь, но теперь его потребовал к себе Генерал Сухотин; обвинение к ним пред'является по статье триста двадцать девятой; я докладывал временному Генерал-Губернатору о необходимости пред'явления обвинения по статье девяносто девятой, но Генерал Данилович не признал это возможным».

Это значило, что арестованные телеграфисты могут выскочить из петли. В тот же день Дурново посылает им самим составленную телеграмму Омскому Генерал-Губернатору:

«Имею сведения что вы потребовали к себе на рассмотрение дело телеграфистов дерзнувших задержать в высшей степени важную депешу его Величества к Генералу Линевичу. Генерал Данилович пред'являет к этим мятежникам обвинение по статье триста двадцать девятой старого уложения что совершенно несоответствует важности совершенного ими преступления за которое они заслуживают тягчайшего наказания. Прошу Вас обсудить мои

предыдущие соображения и применив к телеграфистам девяносто девятую статью [1]) нового уложения отнестись к ним со всей строгостью означенного закона. Последствия их преступления принесли неисчислимый вред Государству».

На этом Дурново не успокоился. В Сибирь был послан специально жандармский офицер ротмистр Редин. 9 февраля 1906 г. за № 2215 ему был дан следующий приказ:

«По приказанию Господина Министра Внутренних Дел предлагаю Вашему Высокоблагородию произвести расследование на предмет выяснения всех железнодорожных и правительственных телеграфистов, которые умышленно не пропускали на Восток Высочайшей депеши и рассылали по этому поводу приказы о препятствовании пропуску означенной депеши. При производстве этого расследования особое внимание надлежит обратить на Высочайшую депешу № 219, о которой ведется также особо расследование в Главном Управлении почт и телеграфов. Действия по предполагаемому расследованию должны быть произведены со всевозможною быстротою, без особых формальностей, при чем надлежит брать под стражу всех виновных телеграфистов как железнодорожных, так и правительственных.

Директору Канцелярии Министра Путей Сообщения и Начальнику Главного Управления почт и телеграфов вместе с сим сообщено об оказании Вам зависящего содействия.

О последующем прошу мне представить.

Директор *Вуич*».

На руки ему выдано следующее удостоверение:

«Пред'явитель сего Отдельного Корпуса Жандармов Ротмистр Редин командирован в разные местности для исполнения особого моего поручения.

Предлагаю местным губернским, полицейским, жандармским и почтово-телеграфным начальствам оказывать Ротмистру Редину необходимое ему содействие в исполнении означенного выше поручения путем доставления ему всех нужных сведений и справок, и выполнение требований, касающихся осмотров, обысков, выемок, арестов и других следственных действий.

Министр Внутренних Дел *П. Дурново.*
Директор *Вуич*».

К сожалению, из дела не видно, какими подвигами ознаменовал ротмистр Редин свою поездку. Возможно, что, после работы карательных отрядов, на его долю ничего уже не досталось.

2 марта 1906 г. Дурново обратился с обширным письмом к Министру Юстиции. Излагая уже известную нам историю с телеграммой Николая II, Дурново просил создать одно дело против всех арестованных телеграфистов.

Но уже 28 апреля Департамент Полиции жалуется: в Первый Департамент Министерства Юстиции:

«Департаментом Полиции получены сведения, что содержащиеся в Москве под стражею по делу о задержании Высочайшей телеграммы Ва-

[1]) Карающей смертной казнью.

силий Круглов, Николай Козлов, Михаил Новиков, Венедикт Плазков, Порфирьев, Вениамин Соколов, Павел Иванов, Владимир Минаев, Пимен Баулин, Гавриил Сергеев и Александр Бровин, привлеченные в качестве обвиняемых судебным следователем по особо важным делам, освобождены им под особый надзор полиции за исключением Бровина, против которого мерою пресечения избрано поручительство в сумме 200 рублей.

Об изложенном Департамент Полиции сообщает Первому Департаменту в дополнение к отношению на имя Г. Министра Юстиции за № 3185, присовокупляя, что принятые следователем меры пресечения, казалось бы, представляются слишком слабыми».

14 марта 1906 г. Ренненкампфовский военный суд рассматривал дело Читинских почтово-телеграфных чиновников: Хмелева, Замошникова, Костырева, Андриевского, Рыбина, Бергмана, Розова, Дмитриева, Афанасьева, Леплуна, Грекова, Сосновского и Богоявленского.

Приговором суда все обвиняемые были признаны виновными в том, что, «войдя в состав революционной социал-демократической партии... с целью низвержения существующего строя... бойкотировали и задержали Высочайшую и казенную корреспонденцию» и приговорены все к смертной казни.

Этот беспримерный приговор поразил тогда всех. До приведения его в исполнение, он подлежал конфирмации ген. Ренненкампфа.

Из всех этих осужденных Дурново запомнил Замошникова. О нем в донесении Крузе говорилось, что он стоит во главе бастовавших Читинских чиновников. И вот Читинскому военному губернатору посылается следующая иезуитская телеграмма:

«Благоволите передать от моего имени Генералу Ренненкампфу что отнюдь не позволяя себе пытаться оказывать какое-либо влияние на его решение по делу осужденных почтово-телеграфных чинов я считаю необходимым довести до его сведения что по мнению почтового начальства Замошников был главным руководителем.

П. Дурново».

Это был прямой призыв к убийству Замошникова. Повидимому эта телеграмма опоздала [1]). 15 марта в 3 ч. 42 м. пополудни ген. Сычевский телеграфировал Дурново:

«Предписание Вашего Высокопревосходительства передать Генерал-Лейтенанту Ренненкампфу значении Замошникова в деле почтово-телеграфных чиновников мною исполнено.

14 марта ген. Ренненкампф уже заменил всем осужденным смертную казнь разными сроками каторги.

Одной казни Дурново все-таки добился, но произошло это уже после его отставки.

---

[1]) По позднейшим сведениям, полученным нами от участников процесса, телеграмма Дурново была задержана телеграфистами.

20 июля Ротмистр Плешаков сообщал в Департамент Полиции:

«Читинской тюрьме делу о задержании и уничтожении Чите Высочайшей депеши № 219 содержатся бывшие телеграфисты станции «Чита» Терененко и Федоров с 10 марта, Кричевцев с 18 января. Военный прокурор, возвратив переписку дополнение сообщил, что названные лица по раз'яснении обстоятельств дела могут обвиняться 329 ст. Ул. о наказании, и на изменение меры пресечения препятствий нет, то же сообщил губернатор на прошение содержащихся. Прошу указания могут ли применить 416 ст. уст. угол. судопр.; дело ведется порядке охраны; главные виновники — Саввин казнен, Ткаченко скрылся».

Арестованные Спиридовичем в Московском узле 23 телеграфиста были преданы суду Московской Судебной Палаты. Слушалось это дело 5 марта 1908 г. Помимо телеграфистов Московско-Казанской ж. д., арестованных в связи с царской телеграммой № 219, суду были преданы телеграфисты Николаевской ж. д., отказавшиеся 25 ноября передать шифрованную телеграмму на имя военного министра, переданную с Казанского вокзала. Приговором Судебной Палаты П. Баулин, В. Юрлов, А. Морозов, В. Мамаев, И. Багринявцев, В. Круглов, М. Котрас, А. Бровин, М. Новиков, В. Рыжов, И. Беднов, В. Соколов и Н. Козлов были приговорены к заключению в крепости на сроки от двух лет до 1 месяца с зачетом предварительного заключения. Остальные были оправданы.

Скрывшийся во время общего ареста телеграфистов М. Ф. Шафнер судился отдельно 19 октября 1909 г. и был приговорен к 6 месяцам крепости.

Так закончилась столь нашумевшая история с задержанием царской телеграммы.

Пожалуй, нигде с такой яркостью личность Дурново не выступала, как в этом деле.

Существовал ли тайный Альянс?

(К истории исключения Бакунина из Интернационала) [1].

Ю. Стеклов.

1.

Как известно, Бакунин был исключен из Интернационала, во-первых, за основание тайного общества, действовавшего внутри Интернационала, а во-вторых, за употребление «нечестных приемов, направленных к присвоению чужого имущества». Последнее обвинение относилось к инциденту, имевшему связь с начатым Бакуниным переводом первого тома «Капитала».

Осенью 1869 года Бакунин через посредство проживавшего в Германии студента Любавина получил от петербургского издателя Полякова заказ на перевод первого тома «Капитала» Маркса за 1.200 рублей. В виде аванса Бакунин получил 300 рублей, выдав в том Любавину расписку. Переехав в Локарно, Бакунин приступил к переводу, который, впрочем, подвигался у него довольно медленно. Всего к концу декабря Бакуниным представлено было Любавину не более двух печатных листов перевода.

К началу 1870 года за границу вернулся из России Нечаев. Узнав от Бакунина, что тот для заработка приступил к переводу «Капитала», Нечаев убедил его бросить эту работу и всецело отдаться русской пропаганде, по-видимому, посулив ему содержание из средств революционного фонда. При этом Нечаев обещал Бакунину уладить вопрос с издателем. Но уладил он его по-своему: на бланке «Общества Народной Расправы» он в марте 1870 года послал Любавину приказ оставить Бакунина в покое и не требовать от него обратно аванса, угрожая адресату в противном случае убийством.

Можно сомневаться в том, чтобы Бакунин принимал участие в составлении этого письма: от такого шага его должна была удержать самая элементарная осторожность. Но что он проявил во всей этой истории величайшее легкомыслие, это бесспорно. Узнав о поступке Нечаева из «ругательного» письма Любавина, Бакунин ограничился выдачею новой расписки и обещанием уплатить долг при первой возможности... и успокоился.

---

[1]) Извлечение из третьего тома моей книги «М. А. Бакунин», находящегося в печати.

Между тем об этом инциденте от Лопатина узнал Маркс. Последний не сомневался в том, что Бакунин участвовал в этой истории. И когда внутренняя борьба в Интернационале разгорелась, благодаря проискам Альянса, Маркс для парализования того вреда, который деятельность бакунистов причиняла международному рабочему движению, решила дискедитировать Бакунина не только политически, но и персонально. Незадолго до Гаагского конгресса, на котором должен был рассматриваться вопрос об Альянсе, Маркс обратился к Николаю—ону, переводившему тогда «Капитал», с просьбою доставить ему то «в высшей степени возмутительное и компрометирующее письмо», которое Бакунин «написал или велел написать» Любавину. У самого Николая—она (Даниельсона) этого документа не оказалось, но Любавин, узнав о желании Маркса, немедленно прислал ему этот документ, сопроводил его собственным письмом от 8/20 августа 1872 г., в котором сообщал, что в свое время он считал Бакунина соучастником этой выходки, но, по зрелом размышлении, пришел к тому выводу, что Нечаев, пожалуй, написал это письмо без ведома Бакунина. «Одно только можно считать установленным вполне, — прибавлял Любавин, — это то, что Бакунин выказал полнейшее нежелание продолжать начатую работу, несмотря на полученные за нее деньги».

Конечно, в такой форме обвинение перестает быть особенно грозным. Но в разгаре политических страстей письмо это было истолковано в наиболее невыгодном для Бакунина смысле. Комиссия Гаагского конгресса усмотрела в этом инциденте не простое невыполнение писателем своего обязательства перед издателем, а преступное злоупотребление именем революционной организации в частном деле, подрыв авторитета революционного общества, тем более, что нечаевскую или, вернее, бакунинскую организацию, от имени которой Нечаев действовал в России, смешивали там с Интернационалом.

Но можно согласиться с теми, кто полагает, что лучше было бы ограничиться выставлением против Бакунина чисто политических обвинений, не осложняя их обвинениями персонального свойства. Главными были, конечно, обвинения первого рода. И, как бы ни относиться к инциденту с издателем Поляковым, основное обвинение, выдвинутое против Бакунина, остается в полной силе.

«Защитники Бакунина, — правильно замечает Рязанов, — должны дать ясный ответ: существовала ли действительно такая тайная организация или нет, позволил себе Бакунин надуть Генеральный Совет или нет, уверяя, что он распустил свое общество?» [1]).

Но именно ясного ответа на этот определенный вопрос анархисты дать не хотят. Они предпочитают распространяться на тему об «интригах», «диктаторских замашках» и «коварстве» Маркса, но не хотят признать столь несомненного факта, как существование тайного Альянса внутри Интернационала. И даже в тех редких случаях, когда, перед лицом неопровержимых свидетельств, они вынуждены признать этот неприятный для них факт, они

[1]) Д. Рязанов, Маркс и Энгельс, Москва 1923, стр. 213–214.

или стараются тут же затушевать и извратить его, или через короткое время пытаются взять обратно вырвавшееся у них признание. Ниже мы увидим характерные образчики этих ребяческих приемов. В большинстве же случаев анархисты, не желая доставить ненавистному Марксу и тени хотя бы посмертного оправдания, просто-на-просто прибегают к методу голословного отрицания и запирательства, особенно комичного в устах людей, принимавших самое активное участие в делах тайного Альянса и по другим поводам в этом сознающихся.

2.

Прежде всего напомним основные факты.

3 ноября 1864 года Бакунин, возвращаясь из Швеции в Италию, встретился в Лондоне с Марксом. Бакунин рассказал Марксу, что он разочаровался в буржуазно-демократических и националистических движениях и отныне намерен работать только в области социалистического движения. С своей стороны Маркс принял его в незадолго до того основанный Интернационал, послал ему в Италию Учредительный Адрес и устав Интернационала и вообще принял всерьез его обещания. Но на деле Бакунин занялся совсем другой работой. Он занялся в Италии основанием тайных обществ («братств») с анархической программой и бунтарской тактикой и в конце 1864 или в начале 1865 года создал тайный Интернациональный Союз социалистической демократии (или социал-революционеров), известный в просторечии под названием Альянса.

Осенью 1867 года Бакунин решил выступить на публичную арену. Но и теперь он примкнул не к Интернационалу, а вошел в буржуазную Лигу Мира и Свободы, принял участие в ее Женевеском конгрессе и был избран в ее центральный комитет. Повидимому, он наивно рассчитывал сделать Лигу широкой базой для своего тайного Альянса, а, закрепившись в ней, предложить Интернационалу союз на основе договора равного с равным.

Но замысел этот не удался. Буржуазная Лига Мира и слышать не хотела о бакунинском социал-революционизме. На втором конгрессе Лиги в Берне дело дошло до открытого раскола. Об'единившаяся вокруг Бакунина группа делегатов, в большинстве состоявшая из членов его тайного общества, внесла анархическую резолюцию, а когда последняя естественно была отвергнута с'ездом, с шумом ушла с него и постановила основать самостоятельную организацию, не желая и на этот раз раствориться в Интернационале.

На совещании сецессионистов, состовшемся после ухода их с конгресса Лиги, Бакунин предложил присоединиться коллективно к Интернационалу, сохранив в то же время интимную связь и расширив Альянс в виде тайного общества. Он был умнее своих французских и итальянских последователей, которые настояли сверх того еще на основании открытого международного Альянса. Выработана была известная анархическая программа и кроме того устав, согласно которому Альянс конституировался как ветвь Интернационала, но на-ряду с тем выступал, как самостоятельная международная орга-

низация со своим центральным комитетом, своими с'ездами, своими местными комитетами и т. п.

Разумеется, Генеральный Совет отклонил прием Альянса в Интернационал на таких основаниях, правильно указывая, что это означало бы внесение раздора и раскола в единые ряды международного рабочего движения. Претензии этих буржуазных интеллигентов, вчера еще сидевших в мещанской Лиге и не имевших никакого стажа в рабочем движении, вообще представляли нечто неслыханное по своей развязности. Неудивительно, что они не встретили поддержки ни с чьей стороны. Альянсисты прекрасно поняли, что они слишком рано раскрыли свои карты, и что прав был старый Бакунин, убеждавший их сохранить втайне свой Союз и предсказывавший им, что Интернационал на их домогательства не пойдет. Пришлось временно смириться и остановиться на более хитроумном плане Бакунина. Сообразно этому Центральное Бюро открытого Альянса заявило Генеральному Совету, что если он признает их программу совместимой с вступлением в Интернационал, то они согласны распустить свою организацию и рекомендовать своим секциям (которых в тот момент кстати было две-три) по одиночке вступить в Международное Товарищество.

Генеральный Совет уклонился от оценки анархической программы Бакунина, заявив, что на данном уровне рабочего движения идейное единство его недостижимо, и что оно явится результатом совместной борьбы (коекакие исправления все же были по указанию Генерального Совета в программу внесены), но согласился, в случае распущения Альянса, допустить его секции в Интернационал на общих основаниях (заседание 9 марта 1869 года). Получив этот ответ Генерального Совета, Центральное Бюро Альянса предложило своим секциям превратиться в обычные секции Интернационала, сохраняя свою собственную программу, и добиваться у Генерального Совета своего приема в М. Т. Р. Женевская группа Альянса, ознакомившись с решением Генерального Совета, во второй половине апреля 1869 г. заменила в соответствующем пункте программы слова «политическом, экономическом уравнении классов и личностей» словами «окончательное уничтожение классов и политическое, экономическое и социальное уравнение личностей», а также выработала новый устав, первый пункт которого гласил: «Женевская группа Альянса Социалистической Демократии, желая принадлежать исключительно к великому М. Т. Р., конституируется в секцию Интернационала под именем «Альянса Социалистической Демократии» (!), но без иной организации, бюро, комитетов и конгрессов кроме тех, которые имеет М. Т. Р.». На своем общем собрании 1 мая 1869 г. секция Альянса избрала комитет, в состав которого вошли, между прочим, Бакунин, Беккер, Фриц Хенг и Ш. Перрон. Центральное Бюро в июне тоже заявило о своем роспуске.

3.

Теперь началась игра с переодеваниями, началось систематическое дурачение Интернационала, его Генерального Совета и отдельных национальных организаций, которых пытались уверить в том, что Альянс больше не суще-

ствует, что он умер добровольной смертью и что инициаторы его окончательно отказались от попытки создать на-ряду с Международным Товариществом Рабочих вторую параллельную ему и конкурирующую с ним интернациональную организацию.

«Так как Центральное Бюро Альянса перестало существовать (в июне 1869 г. *Ю. С.)*, — говорит Бакунин [1]), — то наши официальные регулярные сношения с секциями, учрежденными Альянсом в различных странах, были прерваны... Неаполитанская секция Альянса, просуществовав несколько месяцев, была распущена, и большинство ее членов вступили индивидуально в Интернационал. Мадридская секция превратилась в секцию Интернационала, сохранив программу Альянса. То же самое было с секциями Альянса в Париже и Лионе [2]). Так умер добровольною смертью Международный Альянс Социалистической Демократии. Желая прежде всего торжества великого дела пролетариата и считая Международное Товарищество Рабочих единственным средством к достижению этой цели, он пожертвовал собой — не из чувства уступчивости, а из чувства братства и потому, что он был убежден в совершенной правильности решений, которые огласил против него лондонский Генеральный Совет в декабре 1869 года. Альянс, о котором я буду говорить теперь, совершенно другой Альянс: это уже не международная организация, это отдельная местная женевская секция Альянса Социалистической Демократии, признанная в июле 1869 года Генеральным Советом, как регулярная секция Интернационала».

Так писал Бакунин летом 1871 года в разгар борьбы в Интернационале. Так до сих пор повторяют за ним анархические и буржуазные писатели, плохо знакомые с историей Интернационала и Альянса. Но здесь мы имеем дело просто-на-просто с игрой слов, с попыткой затушевать факты, напустить густого тумана. Да, открытый Альянс, который должен был явно играть роль международной организации, с одной стороны, входящей в Интернационал, а с другой — параллельной ему, с собственным Центральным Комитетом, национальными и местными комитетами, с особым уставом, собственной кассой и отдельными конгрессами, — этот открытый Альянс, ввиду встреченного со всех сторон сопротивления, принужден был закрыться на первых же шагах своей деятельности. Основателям его тем более пришлось с этим примириться, что, как они могли скоро убедиться, на опыте, никакой почвы для создания второй, параллельной интернациональной организации тогда не было, что мысль о ней натолкнулась на сопротивление даже со стороны таких элементов, которые готовы были сочувствовать теоретической программе Бакунина (например, бельгийцы, юрцы). Что это так, видно из ничтожного числа тех секций, которые членам Альянса удалось основать в разных странах и кото-

---

[1]) «Доклад об Альянсе» в «Избранных сочинениях», изд. «Голос Труда», 1921, т. V, стр. 96 и след.

[2]) Эти 4 секции представляли все силы, которыми мог тогда похвастать открытый Альянс (при чем парижская весьма сомнительна).

рые упоминает Бакунин в приведенных выше строках. При этом следует заметить, что из четырех перечисленных им секций, мадридская основана была с программой Альянса, но считала себя секцией Интернационала, а о существовании особой парижской секции Альянса вообще ничего не известно; да и Лионская секция сводилась к Альберу Ришару и, может быть, паре его друзей.

Итак, открытый Альянс принужден был прекратить свое существование после неудачной попытки сопротивления. Но это вовсе не значит, что Альянс вообще перестал существовать. Не забудем, что учреждение открытого Альянса первоначально вовсе и не входило в планы Бакунина, что оно, по его словам, было навязано ему французскими и итальянскими его сторонниками. Бакунин возлагал все свои надежды не на открытый, а на тайный Альянс, руководимый Интернациональным Братством. Этот тайный Альянс, который можно рассматривать как непосредственное продолжение его старого тайного Союза, основанного еще в Италии, или как новую, если угодно, расширенную и реформированную организацию, созданную после разрыва с Лигой Мира (сам Бакунин не очень-то в этом разбирался), все время стоял за открытым Альянсом и прекрасно мог обойтись без этой, в сущности стеснявшей его и привлекавшей к нему внимание, декорации. Так оно и случилось. Открытый Альянс оказался неудобным и нежизнеспособным, и от него отказались без особенной борьбы. Но тайный Альянс остался и с этого момента с небывалой энергией взялся за работу, которая в конце концов должна была привести к расколу в Интернационале.

Но существовал ли действительно тайный Альянс после 1869 года? Не есть ли это действительно выдумка злокозненных марксистов, которые, чувствуя свою «слабость» для борьбы с бакунистами в чисто «идейной» области, сочинили легенду об этом тайном обществе, созданном Бакуниным— как вне, так и внутри Интернационала — для овладения мировым движением пролетариата в анархических целях? Большинство анархистов до сих пор наивно думает именно так. И нужно сказать, что благодаря секретности и бессистемности действий Бакунина ему удалось настолько запутать дело, что даже многие его сторонники, фактически работавшие в тайном Альянсе или в одном из его ответвлений, сами того не сознавали и удивлялись, когда им указывали на то, что они в сущности говорят альянсистской «прозой» (напр., Джемс Гильом, до конца оставшийся при «убеждении», что ни в каком тайном Альянсе он не участвовал, и в своей истории Интернационала, игнорируя признания М. Неттлау, пытающийся доказать, что и вообще-то никакого тайного Альянса не существовало).

Дело в том, что Бакунин конспирировал и секретничал с разными людьми и группами по-разному, плел одновременно свою сеть с разных сторон, строил сразу несколько различных об'единений и организаций. Возможно, что в конце концов он сам путался в них, как путался (по сообщению З. Ралли) в многочисленных условных словарях, которые он каждый раз наново сочинял и передавал своим сторонникам. Неудивительно, что даже его

единомышленники и сотрудники не могли подчас разобраться в этой путанице. Еще более естественно, что его противники, до которых доходили лишь случайные слухи о происках конспираторов, и в руки которых попадали лишь разрозненные документы о деятельности бакунинских тайных организаций, не могли хорошенько в них разобраться и бродили в этом лабиринте, как в потемках. Но только тот, кто стремится не к выяснению исторической истины, а преследует определенно партийные цели (вроде Гильома), способен использовать эту неосведомленность противников Бакунина для того, чтобы начисто отрицать несомненное существование тайного Альянса в недрах Международного Товарищества Рабочих.

4.

Комиссия Гаагского конгресса, рассматривавшая вопрос об Альянсе, была совершенно сбита с толку, с одной стороны, отсутствием достаточного количества документов [1]), а с другой — показаниями привлеченных бакунистов (Н. Жуковского, Мораго, Гильома, Фарга-Пелисера, Марселау, Алерини). Поэтому вынесенное ею решение было не совсем уверенным, тем более что в то время трудно было (да отчасти и сейчас трудно) провести точное разграничение между открытым Альянсом, тайным Альянсом, испанским Альянсом и Интернациональным Братством. Поэтому первый пункт заключения комиссии, говорящий о существовании тайного Альянса, несколько противоречит второму, в котором говорится о «попытках» Бакунина основать общества под названием Альянс (без прибавления слова «тайный»). Очевидно, здесь имеется все-таки в виду тайный Альянс, ибо существование открытого Альянса с осени 1868 г. до лета 1869 г. не составляло секрета ни для кого. И если пункт 2-й не решается утверждать уверенно, что Бакунину удалось основать общество под названием «Альянс», тогда как пункт 1-й определенно констатирует существование тайного Альянса в течение известного времени, то это видимое противоречие можно об'яснить, во-первых, недостаточной осведомленностью членов комиссии и той путаницей, которую создавали многочисленные разветвления бакунинского тайного Альянса, принимавшие в разных местах и в разное время неодинаковые формы, а, во-вторых, неуверенностью комиссии в том, что именно Бакунин, а не кто другой, положит начало тайному Альянсу. Достаточно сказать, что в Испании, например, секции Интернационала так и носили название «Альянс» (Alianza), что для России Бакунин с Нечаевым придумали особую организацию «Европейский Революционный Комитет», псевдоним все того же вездесущего и многообразного Альянса, и т. п.

---

[1]) Теперь-то они нам известны — и в значительной мере благодаря бакунистам М. Неттлау и Д. Гильому, равно как З. Ралли и пр. Но Маркс с самого начала, хотя и не имея тогда в своем распоряжении документов, но просто наблюдая развертывавшиеся в Интернационале события, чувствовал за их кулисами руку Альянса. «На словах, — писал он Энгельсу 10 февраля 1872 года, — его (бакунинский) «Альянс Социалистической Демократии» распущен, но на деле он продолжает существовать» (Briefwechsel, т. IV, стр. 241). Маркс был совершенно прав: чутье его не обмануло.

Точно также нельзя строго судить комиссию за то, что в пункте 1-м, констатировав, что тайный Альянс одно время бесспорно существовал, она прибавила, что у нее нет достаточно доказательств для утверждения, что он продолжает существовать и сейчас. Это только доказывает добросовестность комиссии. Нам же теперь известно, что тайный Альянс, несомненно, существовал и во время Гаагского конгресса (как и после него).

Поэтому заявление Гильома («L'Internationale», т. II, стр. 356), что «на Гаагском конгрессе велось следствие относительно фантастического тайного Альянса», это заявление для человека, стоявшего так близко к Бакунину и вдобавок знакомого с работою М. Неттлау, где существование тайного Альянса документально доказано, представляется слишком уже развязным.

Завербован был Гильом в тайный Альянс во время первой поездки Бакунина в Юру, имевшей место в феврале 1869 года. Бакунин и предпринял эту поездку для того, чтобы нащупать почву для Альянса в Юре и при случае постараться привлечь новых членов в свое тайное общество. По этому поводу он вел в Локле конфиденциальные беседы с Гильомом, которому он, впрочем, если полагаться на воспоминания последнего, представил дело в несколько ином виде, чем оно обстояло в действительности. «Он, — пишет Гильом (стр. 130), — рассказал мне о тайном обществе, существующем уже несколько лет и связывающем узами революционного братства известное число людей в разных странах, в частности — в Италии и во Франции; он прочел мне программу, содержание которой вполне отвечало моим собственным стремлениям, и спросил, не пожелаю ли я присоединиться к основателям этой организации. Особенно поразило меня в его об'яснениях то, что здесь речь шла не (?) о классическом типе старых тайных обществ, в которых приходилось подчиняться приказам, идущим свыше. Эта же организация представляла свободное сближение людей, об'единяющихся для коллективной деятельности, без формальностей, без торжественности, без таинственных обрядностей, просто потому, что они доверяли друг другу, а соглашение казалось им предпочтительнее изолированных выступлений.

«На это предложение я естественно (!) ответил, что я вполне готов примкнуть к коллективной работе, которая должна иметь своим результатом придание большей силы и связанности великому движению, выражаемому Интернационалом. Я прибавил, что отец Мерон является вполне подходящим человеком для участия в нашем деле. Констан Мерон, которому мы сообщили об этом в тот же день, немедленно и безоговорочно выразил свое согласие на присоединение к нам: он принадлежал до 1848 года к карбонариям и, в качестве старого конспиратора, торжествовал при мысли, что на-ряду с Интернационалом будет существовать тайное общество, способное предохранить его от опасностей, которым его могли подвергнуть интриганы и честолюбцы».

Итак, для предохранения Интернационала от неведомых честолюбцев и интриганов нужно было начать дело с колоссальной интриги, с создания внутри него тайного общества. Это общество по странной альянсистской логике должно было не ослабить и не расколоть Интернационал, а почему-то придать ему больше силы и прочности! Как бы там ни было, Бакунин нашел

в Юре подходящие элементы, из коих первым оказался Гильом, тот самый Гильом, который, как мы знаем, вскоре, по собственному признанию, основал в Локле отдел тайного общества за спиною секции Интернационала, а затем, в продолжение 40 с лишним лет до самой своей смерти, категорически отрицал существование тайного общества в рядах Интернационала!

Этот Гильом, не знавший, видите ли, о существовании тайного Альянса, не только сам основал ряд его групп в Юре, но и был агентом по вербовке членов тайного общества в других странах. Так, например, он — опять-таки по собственому сознанию в той же книге, в которой он развязно отрицает существование тайного Альянса и называет его романом, созданным марксистской кликой, — действовал в Базеле осенью 1869 года, т.-е. после того, как бакунисты поведали всему миру, что Альянса больше не существует.

Разумеется, Бакунин не мог упустить такого случая, как Базельский конгресс Интернационала, чтобы не попытаться навербовать там нескольких новых членов в свое тайное общество. Для вербовки парижан он пользовался посредничеством своего друга Гильома. Вот как последний в той самой книге, в которой он старательно отрицает существование тайного Альянса, членом которого он, однако, сам был, рассказывает об этих попытках («L'Internationale», т. I, 214—215):

«Я уже рассказал, что с февраля 1869 г. в Локле, в Лашодефоне, а затем в Валь-де-Сент-Имье, равно как в Женеве, образовались тайные группы, об'единявшие наиболее надежных людей. От Бакунина мы узнали, что уже несколько лет существует тайная международная организация, к которой некоторые из нас примкнули. Нам представлялось весьма желательным, чтобы эта организация получила дальнейшее распространение, и в особенности чтобы группы, аналогичные нашим, образовались в Париже и в главных французских городах для революционных выступлений, которые во Франции казались неминуемыми. Базельский конгресс должен был доставить случай для некоторых попыток в этом роде: не найдется ли среди французских делегатов элементов, способных войти в революционную организацию?»

Ш. Лонге был сочтен Гильомом человеком, не подходящим для участия в конспирации. Но в Базеле Гильом познакомился через Бакунина с Аристидом Реем, который явился туда в качестве корреспондента «Демократии» Шассена и который давно был членом тайного Альянса.

«Бакунин, — продолжает Гильом, — сказал мне, что Рей давно уже состоит в числе его интимных друзей. Втроем мы занялись изучением французских делегатов. Нечего было думать об уже знакомых мне Толене, Мюра, Шемале, которые были противниками коллективизма. Пэнди обладал революционным темпераментом, но он работал тогда в мютюэлистских рядах; один из моих товарищей, сборщик часовых крышек, Флоке, делегат от Локля, подружился с ним, и они обещали друг другу писать: можно было установить только эту чисто личную связь. Но там имелся человек, стремления которого совпадали с нашими и который являлся самым активным деятелем парижского Интернационала: Варлен... Рей и я взяли на себя подойти к нему. В один из последних дней конгресса мы увели его в номер, занимаемый Реем в какой-то гостинице, сообщили ему о нашем желании и, так как он выразил

полную готовность присоединиться к предложенной ему нами общей работе, мы познакомили его с нашей программой. Он заявил нам, что целиком разделяет эти мысли. Мы братски пожали друг другу руки и условились о том, что я и Варлен будем вести по возможности регулярную переписку, чтобы держать друг друга в курсе всего совершающегося в наших кругах».

Тем временем Бакунин с своей стороны подыскивал подходящих людей, которые могли бы представлять идеи Альянса в немецкой Швейцарии. Он думал, что нашел их в лице двух делегатов, проживавших в самом Базеле. Один из них них был молодой приват-доцент Базельского университета Янаш, читавший там курс политической экономии, а другой — базельский купец Коллен. «Он (Бакунин), — говорит Гильом, — сообщил мне, что оба эти гражданина сочувственно отнеслись к его предложению и из'явили готовность работать в целях пропаганды и организации революционного социализма в Швейцарии и в Германии. Бакунин часто ошибался в людях. Он ошибся в Янаше и в Коллене: никогда они не работали вместе с нами».

Кроме этого, так сказать, собственноручного сознания Гильома, в литературе существует ряд других указаний, свидетельствующих о том, что Гильом был членом тайного Альянса. Приведем одно из них, особенно показательное и исходящее от самого «учителя». В датированном 5 апреля 1872 г. письме Бакунина к Ф. Мора, которого Бакунин считал альянсистом, сказано черным по белому: «В Швейцарии я рекомендую Вам двух членов Альянса (deux alliés): Джемса Гильома и Адэмара Швицгебеля» («L'Alliance», стр. 136—137). Ришар в своей статье «Bacounine et l'Internationale à Lyon» («Revue de Paris», 1896) тоже называет Гильома в числе главных заправил тайного Альянса.

После всего вышесказанного упорство, проявленное Гильомом в деле отрицания очевидного факта, представляет прямо какую-то психологическую загадку, чтобы не сказать — ненормальность. Старик, не могший до самой смерти простить обиду, нанесенную ему в Гааге исключением из Интернационала, не хотел и по смерти оставить ненавистному Марксу хотя бы тень оправдания.

5.

Тайный Альянс бесспорно, существовал и после 1869 года, как и до того. Равным образом продолжал существовать и его главный штаб — тайное Интернациональное Братство, и Национальные Комитеты тайного Альянса. Одни из них рассыпались, другие вновь создавались, как, например, Русский Национальный Комитет, в 1869 году состоявший из Бакунина и Нечаева, а в 1872 г. из Бакунина, Сажина (Росса), Ралли, Эльсница и Гольстейна. Но вплоть до ухода Бакунина с политической арены Альянс в том или ином виде и размере не прекращал своего существования, равно как и сопутствовавшее ему (а иногда, быть может, существовавшее и без него) Интернациональное Братство.

Возьмем для начала показание З. Ралли, одно время бывшего интимным другом Бакунина и членом Интернационального Братства, равно как и рус-

ского национального комитета Альянса. Рассказав об основании открытого Альянса после Бернского конгресса, Ралли [1]) продолжает: «Программу общества написал Бакунин, и эта программа с некоторыми изменениями впоследствии послужила Бакунину для сформирования снова своего «братства» (т.-е., очевидно, после роспуска старого общества весной 1869 года, после раскола на конференции в Шапонэре. *Ю. С.)*. Относительно обвинения, которое было сделано общим советом Интернационала, что общество, созданное Бакуниным, есть тайный совет в недрах Международного Общества Рабочих, что в этом обществе Бакунин провозглашен диктатором, то это обвинение de jure не верно, а только de facto было так. М. А. написал для своего «Alliance», собственно говоря, две программы: одна была верная копия (?) с программы Интернационала, другая же, предназначавшаяся для избранных им лично членов, имела в виду организацию интернационального комитета социалистов-революционеров, которые должны были подпольно руководить явным Alliance'ом, считавшимся простыми секциями Международного Общества Рабочих. Конечно, в комитете тайном руководящая роль естественным образом оказалась в руках Бакунина, как самого активного и самого доверенного лица; но никогда М. А. не был провозглашен диктатором, никогда он и не требовал ни от кого такого титула, хотя, повторяю, фактически был полным руководителем составленного им тайного общества».

Итак, это свидетельство человека, лично участвовавшего в Альянсе и его органах, определенно устанавливает факт существования Альянса после 1868 года, наивно отрицаемый Гильомом. Оговорка же Ралли относительно того, что обвинение Генерального Совета было верно de facto, а не de jure, как видно из текста, относится не к тайному обществу, а к диктатуре в нем Бакунина. Но, разумеется, обвинение в диктатуре играло здесь совершенно второстепенную роль. Имелся ли в Альянсе какой-нибудь диктатор или нет, был ли этим диктатором Бакунин или кто-либо другой, установилась ли эта диктатура de jure или de facto, — все это не имело существенного значения. Важно было то, что в недрах Интернационала и тайком от него действовало тайное общество, ставившее себе специальные цели и дезорганизовавшее общую работу. Остальное все мелочи.

Возьмем другую часть мемуаров З. Ралли «Из моих воспоминаний о М. А. Бакунине», напечатанную в сборнике «О минувшем». Здесь мы находим не только подтверждение факта существования тайного Альянса, но и много сообщений о функционировании его аппарата, об его программе и уставе, об его комитетах и братствах и т. д., и т. д.; тут же приводятся и условные обозначения из тайных словарей, говорящие (в 1872 году) о национальных комитетах Альянса, об Интернациональном Братстве. Здесь же кстати несколько раз указывается на причастность Гильома к работам тайного Альянса (стр. 304, 307). Какая путаница царила даже среди самих участников дела, видно из того, что из рассказа Ралли никак нельзя понять, чем собственно он участвовал — в Альянсе или в Интернациональном

[1]) «Михаил Александрович Бакунин». — «Минувшие Годы», 1908, октябрь, стр. 152.

Братство, которое по уставу являлось чем-то вроде расширенного пленума Центрального Комитета Альянса. По его словам выходит, что Альянс и Братство одно и то же. («В 1872 году, — пишет он, — по предложению Бакунина, мы трое, т.-е. я, Ал. Эльсниц и Вл. Гольстейн, вошли в так называемый союз интернациональных братьев, носивший название по-французски Alliance de la Démocratie Socialiste»). Это в конце концов не столь, впрочем, важно. Гораздо интереснее то, что З. Ралли, вопреки Гильому, Неттлау и т. п., определенно, хотя и косвенно, признает, что документы, напечатанные в брошюре Энгельса-Лафарга-Утина об «Альянсе» 1873 года, во-первых, подлинны и точны, а, во-вторых, представляют вовсе не проекты, как в этом силятся убедить нас анархисты, а действительную программу и действительный устав. Эти тайные программы и уставы предназначались только для верных, для «братьев», и разглашать их возбранялось.

6.

Но вот другие доказательства.

В тайном словаре, переданном в декабре 1869 года Альберу Ришару через Гильома (который ничего о тайном Альянсе, бедняжка, не знает!) и отобранном у него полицией в 1870 году [1]), указан шифр для следующих слов: Альянс Социалистической Демократии; — открытый; — тайный; открытая женевская секция; тайная организация Альянса; тайная интернациональная организация; — национальная; — провинциальная; — местная; тайный интернациональный союзник (allié, т.-е. член Альянса); — национальный; — провинциальный; — местный; Центральное Бюро Альянса; Бюро Швейцарское; — французское; — итальянское; — испанское; — немецкое; — австрийское; — бельгийское; — английское; конгресс Альянса; член Альянса; делегат; дальше имеется шифр для отдельных видных членов Альянса. В другом словаре, повидимому, относящемся приблизительно к тому же времени, на-ряду с Интернационалом, Генеральным Советом и пр., зашифрованы следующие слова: Альянс, открытая секция, центральное бюро, национальное бюро, провинциальное бюро, тайная группа Альянса, открытый член Альянса, член тайного Альянса, Братство, брат.

Это ясно показывает, что после формального роспуска открытого Альянса, пытавшегося одно время продолжить свое существование в виде своей Женевской секции, принявшей его старое наименование, не только тайный Альянс сохранил существование, но и сделаны были попытки придать ему еще небывалый до тех пор размах и развитие. Мы, конечно, не утверждаем, что все перечисленные в тайных словарях национальные Бюро существовали на деле; многие из них, например, немецкое, австрийское, английское, наверно существовали лишь в воображении Бакунина или состояли из одного человека, но это перечисление показывает, что в план организации

[1]) Они напечатаны в известной книге Тестю — «L'Internationale et le Jacobinisme au ban de l'Europe», т. I, стр. 131—156. Тестю, которому прокуратура несомненно предоставила подлинники этих словарей, даже уверяет, что на них имеются собственноручные пометки и исправления Гильома.

Альянса входили и эти бюро. Точно так же мы не беремся утверждать, чтобы даже в наиболее охваченных влиянием Альянса странах действительно существовали все градации тайной альянсистской иерархии, начиная от местных и провинциальных групп до национальных, но что к этому заправилы тайного Альянса стремились, нам представляется очевидным. Во всяком случае одних этих словарей, напечатанных в 1872 году, совершенно достаточно, чтобы убедиться в существовании и работе тайного Альянса после 1868 года, — и тем не менее Гильом, прекрасно знавший книгу Тестю и даже сам передавший один из этих словарей Ришару, позволяет себе говорить о мнимом, выдуманном марксистами, тайном Альянсе.

Далее идет переписка Бакунина и его друзей. До сих пор она известна еще далеко не вполне, но и того, что уже стало достоянием гласности, совершенно достаточно для бесспорного установления существования тайного Альянса после 1868 и до 1873 года, т.-е. до момента ухода Бакунина с открытой политической арены. Значительную, если не большую часть этой корреспонденции опубликовал М. Неттлау в своей биографии Бакунина и в «Дополнении» к ней, из которого он извлек несколько статей. Эти документы устанавливают существование тайного Альянса за рассматриваемый нами период с непререкаемой очевидностью.

Начнем с мелочи, с обращения. К испанцу Ф. Мора Бакунин обращается 4 апреля 1872 г., как к «allié», т.-е. члену Альянса; к итальянцу Рубиконе (Л. Набруцци) — дважды как к «брату», т.-е. члену Интернационального Братства (письма от 3 и 23 января 1872 г.); с таким же эпитетом он обращается к испанцу Паоло (Т. Ф. Мораго) 21 мая 1872 г.; к французу А. Ришару 12 марта 1870 года. Ему же он поручает от имени Братства оповестить ряд французских альянсистов об интриге Утина и женевских «реакционеров» против швейцарских сторонников Бакунина (1 апреля 1870 г.). Про одного русского приятеля Бакунин сообщает, что он «allié exterieur, non intime», т.-е. не интимный, а испытуемый член Альянса (письмо к Ришару от 17/IV — 1870 г.).

В целом ряде писем Бакунин определенно говорит о существовании тайного Альянса, дает советы, указания относительно вербовки членов Братства и т. п. В письмах к А. Ришару он не только характеризует Альянс, его задачи и цели, но развивает целый революционный план осуществления «незримой диктатуры» альянсистов во время народного восстания (напр., в письме от 1 апреля 1870 г.). В письме от 10 августа 1870 г. Бакунин сообщает Ришару о проекте Альянса поднять анархическое восстание в юго-западной Европе и о практических шагах, уже предпринятых для этой цели. В письме к Ф. Мора от 5 апреля 1872 г. он говорит об Альянсе, как об организации, существующей параллельно с Интернационалом («Интернационал и наш дорогой Альянс»).

В письме к «братьям по Альянсу в Испании» (весна 1872 г.) Бакунин говорит об Альянсе, действующем в этой стране, возмущается роспуском мадридской группы Альянса, требует ее восстановления и пр. И как бы для того, чтобы отнять у Гильома возможность впоследствии дурачить публику

уверением, что в Испании существовал не какой-либо тайный Альянс, а открытый Интернационал, только называвшийся там по капризу истории «Allianza», Бакунин определенно говорит о тайном Альянсе и жалуется на то, что «разгласили тайну Альянса, хранить которую все мы обязались своею честью».

В письме к испанскому альянсисту Паоло (Мораго) от 21 мая 1872 года Бакунин напоминает, что Фанели, посланный в Испанию в конце 1868 г., основывал там секции Интернационала на-ряду с секциями Альянса. Далее он протестует против роспуска секций Альянса в Мадриде и Барселоне и говорит: «Мы считаем этот роспуск великим несчастием с точки зрения революционной солидарности всех стран, а те, кто был причиною этого роспуска и разглашения тайн Альянса, даже самого его существования, которое всегда должно оставаться тайным и невидимым и которого никто из нас не вправе выдавать, не покрывая себя позором и не нарушая высшей обязанности, соблюдать которую мы взаимно обязались, — те являются тяжкими преступниками... Те, кто предал Альянс по злостности и по непростительной слабости, должны быть навсегда удалены из него, но... добрые, энергичные, преданные... должны восстановить Альянс». Дальше об'ясняется, кого можно принимать в Братство.

Разумеется, организуя свой тайный Альянс внутри Интернационала, Бакунин хорошо понимал, что такие вещи следует тщательно скрывать. В этом отношении характерно его письмо к А. Лоренцо от 24 апреля 1872 г. Лоренцо был делегатом на Лондонской конференции Интернационала в сентябре 1871 года, где много говорили о происках Альянса. Естественно, что Бакунину очень хотелось знать, что именно там говорилось на его счет. И вот он поставил Лоренцо по этому поводу целый ряд вопросов, прося сказать ему всю правду. «Я, — продолжает Бакунин, — вправе требовать ее от Вас в качестве друга и в качестве члена Альянса. Прошу Вас только в Вашем ответе не говорить ни слова об Альянсе, потому что Альянс — Это тайна, которую ни один из нас не вправе оглашать, не совершая предательства. Поэтому я прошу Вас не называть меня альянсистом и обращаться ко мне, как и простому (!) члену Интернационала, в том ответе, которого я жду от Вас, ибо я должен Вас предупредить, что я использую его как базу для обвинения моих клеветников в свою очередь. Давно уже пора положить конец всем презренным и низким интригам, не имеющим другой цели кроме установления диктатуры марксовой шайки на развалинах Интернационала» [1]). Подпись: «Альянс и братство М. Бакунин».

Кажется, ясно? И однако это ничуть не помешало Гильому, который знал эти документы лучше нас, ибо ему одному Неттлау предоставил для использования не только первые три тома своей литографированной биографии Бакунина, но и рукописное «Дополнение» к ним, остающееся тайною для остальных смертных, так вот это не помешало Гильому до конца дней своих

---

[1]) Эта заключительная фиоритура насчет интриг... марксовой шайки в связи с тайными происками Альянса прямо великолепна. Можно думать, что читаешь самого доктора Макса Неттлау.

притворяться ничего не знающим о существовании тайного Альянса и уверять, что все это — выдумка К. Маркса, чтобы погубить своего врага Бакунина!

7.

В этом вопросе М. Неттлау оказался — временно, по крайней мере — добросовестнее и откровеннее Гильома [1]). Использованные им для биографии Бакунина документы говорили слишком недвусмысленным языком. Здесь уже нельзя было отговориться никакими «комментариями» и «раз'яснениями». Разумеется, что, верный своей адвокатской тенденции по отношению к Бакунину и прокурорской по отношению к Марксу, Неттлау старается, как и где только возможно, ослабить истинный смысл приводимых им документов и мягчить картину систематически проводимого заговора против Интернационала. Но он, в отличие от Гильома и... самого Бакунина, не пытается начисто этрицать существования и деятельности тайного Альянса после 1868—1869 годов.

Рассказав о конференции в Шапонэре, закончившейся распадением старого Интернационального Братства, и о письме Бакунина от 26 января 1869 года, в котором он заявляет о своем уходе, Неттлау (лит. биография, стр. 279 — 286) замечает: «Таким образом здесь говорится **только** о **Братстве** и о еще существовавшем тогда **открытом** Интернациональном Альянсе с его Центральным Бюро, а не о **тайном** Альянсе. Так как эти заявления Бакунина и ответ на них охватывают все тогда существовавшее, то отсюда следует заключить, что тайный Альянс в то время не существовал [2]); не должен ли был он, согласно проектам устава, явиться только в результате этого совещания? **Во всяком случае позже он существовал** (здесь подчеркнуто мною. *Ю. С.)*, как показывают, например, обширные списки шифров (приведенные у O. Testut — «L'J. et le j. an b. de l'Europe», 1871, т. I). Эти списки были составлены в начале 1870 года [3]), и там действительно появляется «тайная организация Альянса», но не «Братство» — в списке из 584 слов, тогда как другой список упоминает «Братство» и «брата», но касается, главным образом, Альянса и его организации (тайная группа Альянса; члена тайного Альянса), и упоминание «Братства» в этом списке имеет скорее исторический (?), чем актуальный характер. Итак, мы видим, как с 1869 года, но неизвестно точно, с какого момента,

---

[1]) Мы, конечно, не думаем, что это случилось потому, что Неттлау **писал** вою книгу, размноженную всего в 50 экземплярах и потому мало доступную для ирокой публики, тогда как Гильом **печатал** свою книгу об Интернационале, оступную для всех. Но странно то, что в **печатном** издании сочинений Бакунина (на немецком) Неттлау пытается взять обратно свои слова.

[2]) Это несмотря на то, что по заявлению самого Бакунина в «Историческом развитии Интернационала», Альянс, сиречь Братство, был основан им 1864 году. Ведь это просто игра слов: в большинстве случаев тайный Альянс и ратство совпадают, хотя по уставу Братство есть лишь ЦК Альянса.

[3]) Относительно первого словаря это неточно. Как рассказывает Гильом, н отвез этот словарь в Лион, а Гильом был в Лионе 4—5 декабря 1869 г.

появляется тайный Альянс, стоящее с этого времени за открытым Альянсом или секциями Интернационала более интимное об'единение друзей Бакунина. Таким образом это не что иное, как само Братство после удаления неподходящих элементов и фактически круг состоявших в более непосредственной связи с Бакуниным интернационалистов».

Для нас сейчас неважно указывать на неточности или неосновательность гипотезы Неттлау. Здесь мы хотим подчеркнуть лишь основной факт — признание Максом Неттлау, на основании изучения документов, существования тайного Альянса в тот период, в который Бакунин и Гильом, важнейшие в данном случае свидетели, пытались публично его отрицать. Точно так же для нас в данном случае неинтересна попытка самого Неттлау, немедленно вслед за признанием, ослабить значение этого кардинального факта, сыгравшего такую роковую роль в истории Первого Интернационала, и уверить читателя, будто Маркс в своих целях сознательно раздул его значение. История показала, кто был прав — Маркс ли, сразу понявший опасность бакунинской затеи, или «адвокаты дьявола», старающиеся всеми правдами и неправдами замазать и затушевать неприятную для них действительность.

8.

Итак, существование тайного Альянса внутри Интернационала после фиктивного роспуска его (вернее, после роспуска открытого Альянса, долженствовавшего одурачить Генеральный Совет) может почитаться твердо и документально установленным. Но, конспируя внутри Интернационала, суб'ективно Бакунин считал себя правым. Ему казалось, что для успеха социального преобразования нужна была, во-первых, анархическая программа, единственно, по его мнению, обеспечивавшая активное участие народных масс в революции и гарантировавшая от восстановления режима эксплоатации, а, во-вторых, тайная спевшаяся организация революционеров, обеспечивавшая правильный ход революции, ее единство и торжество над возвратными приступами буржуазной реакции. Он настолько был в том уверен, что подозревал и своих противников в таких же действиях, т.-е. в организации внутри Интернационала и за его спиной тайного общества верных, но только стоявшее не на анархической, а на коммунистической платформе.

7 февраля 1870 года Бакунин писал А. Ришару:

«О, мой друг, как эти ребята [1]) работают, какая у них дисциплинированная и серьезная организация, какая мощь в коллективной деятельности, где все личности стерлись, отказываются даже от своего я, от всякой репутации, от всякого тщеславия и от всякой славы, беря на себя только риск, опасность, жесточайшие лишения, но вместе с тем сознавая, что они представляют силу и действуют!

«Ты не забыл моего «юного дикаря» [2])? Так вот, он вернулся. Он наделал таких дел, что у вас этому просто бы не поверили. Он страдал ужасно:

---

[1]) Речь идет о русских революционерах.

[2]) Речь идет о Нечаеве.

был арестован, избит до полусмерти, затем освобожден [1]) и начал все с самого начала. И все они таковы. Личность исчезла, а вместо личностей появился легион, невидимый, неведомый и вездесущий, всюду работающий, умирающий и ежедневно возрождающийся: их арестовывают десятками, а взамен появляются новые сотни. Отдельные личности гибнут, но легион бессмертен и с каждым днем становится все сильнее, ибо пустил глубокие корни в чернорабочем мире и извлекает из этого мира массу новых приверженцев.

«Вот организация, о которой я мечтал, о которой я продолжаю мечтать и которую хотел бы видеть у вас. К сожалению, вы еще не вышли из стадии личного героизма, индивидуального красования, с драматическими эффектами и с исторической мишурой. Вот почему сила от вас ускользает, а от работы остается только шум...

«Изучи внимательно характер нашей эпохи. Наблюдается характерная оппозиция масс против всякой власти и против всякой личности, желающей навязать свою власть. Масса права, она стоит на почве нашей программы. Никакая личность не будет больше иметь силы, не будет больше ни общественного порядка, ни государственной власти. Что же должно занять ее место для того, чтобы революционная анархия не привела к реакции? Нужна коллективная работа невидимой организации, охватывающей всю страну. Если мы не создадим этой организации, то никогда не выйдем из состояния бессилия.

«Неужели ты, любитель размышления, никогда не подумал об основной причине силы и жизненности иезуитского ордена? Хочешь, чтобы я указал тебе на эту причину? Так вот, дорогой мой, она заключается в полном стирании личности перед коллективной волею, организацией и деятельностью».

А в письме к тому же Ришару от 1 апреля 1870 г. Бакунин, излагая план анархической революции, об'ясняет значение незримой диктатуры тайного Альянса.

Централизованная революционная диктатура государственников может только погубить дело. Не путем декретов центральной власти, а самочинной деятельностью масс на местах революция достигнет победы. Но это лишь при том условии, что она будет незаметно направляться спевшейся кучкой революционеров, образующей Альянс тайный.

«Анархия, вспышка всех местных страстей, пробуждение самочинной жизни во всех пунктах должны достигнуть огромных размеров для того, чтобы революция была и осталась живою, реальною, могучею. Политические революционеры, партизаны открытой диктатуры, после первой же победы революции рекомендуют умиротворение страстей, порядок, доверие и подчинение установленным революционным властям. Таким путем они восстанавливают государство. Мы же, напротив, должны будоражить, пробуждать, разнуздывать все страсти, мы должны создавать анархию и, в качестве незримых лоцманов посреди народной бури, мы должны будем ею руководить не посредством какой-либо открытой власти, а посредством коллективной диктатуры всех альянсистов, диктатуры без шарфов, без титулов, без офи-

---

[1]) Как известно, все это ложь, придуманная Нечаевым.

циального права, но тем более могучей, что она не будет иметь никаких внешних отличий власти. Вот единственная диктатура, которую я допускаю. Но для того, чтобы она могла действовать, необходимо, чтобы она существовала, а потому ее нужно заранее подготовить и организовать; ибо сама по себе она не сделается ни речами, ни изложением и обсуждением принципов, ни народными собраниями.

«Альянсистов не должно быть много, но они должны быть хорошие, энергичные, выдержанные, верные, а в особенности свободные от личного тщеславия и честолюбия люди, сильные, достаточно серьезные, люди с сердцем и умом, достаточно возвышенными для того, чтобы предпочесть реальность силы ее внешней мишуре. Если вы создадите такую коллективную и незримую диктатуру, вы победите, а революция, хорошо руководимая, восторжествует. Если нет, то нет! Если вы будете забавляться игрою в Комитеты Общественного Спасения и в казенную, открытую диктатуру, вы будете пожраны реакциею, которую вы же сами и создадите».

В письме к «Братьям по Альянсу в Испании», относящемся к весне 1872 года, Бакунин следующим образом характеризует роль Альянса и его отношение к Интернационалу:

«Предать А[льянс] это значит предать революцию. Ибо Альянс не имеет другой цели кроме служения революции. Мы не образуем теоретического или исключительно экономического учреждения. Альянс не есть академия и не мастерская: это по существу боевой союз, имеющий целью организовать мощь народных масс для разрушения всех государств и всех существующих в настоящее время установлений — религиозных, политических, судебных, экономических и социальных, в интересах полного освобождения порабощенных и эксплоатируемых рабочих всего мира.

«Тем, кто спросит нас, какой смысл имеет существование Альянса, раз существует Интернационал, мы ответим: Интернационал, несомненно, превосходное учреждение, он, бесспорно, представляет лучшее, самое полезное, самое благодетельное создание нынешнего века. Он положил основу солидарности рабочих всего мира. Он дал им начатки организации поверх всех государственных границ и в стороне от мира эксплоататоров и привилегированных. Он сделал больше, он содержит уже теперь первые зародыши организации грядущего единства и вместе с тем он внушил пролетариату всего мира сознание своей собственной силы. Конечно, в этом его громадная заслуга перед великим делом всеобщей социальной революции. Но Интернационал не является учреждением, достаточным для организации и руководства этой революцией...

«Одним словом, Интернационал представляет широкую среду, благоприятную и необходимую для этой организации, но он не есть еще эта (революционная) организация. Интернационал допускает в свою среду всех честных рабочих, совершенно не считаясь с их политическими и религиозными верованиями, на том лишь условии, что они принимают все последствия солидарной борьбы рабочих против буржуазного капитала, эксплоатирующего труд. Этого положительного условия достаточно для того, чтобы отделить

мир рабочих от мира привилегированных, но его недостаточно для того, чтобы дать первому из них революционное направление. Программа Интернационала столь широка, что монархисты и даже католики могут вступать в него. Эта широта программы абсолютно необходима для того, чтобы Интернационал мог охватить сотни тысяч рабочих; и только насчитывая сотни тысяч членов, он становится настоящей силой. Если бы Интернационал дал себе более точную и определенную программу по политическим, религиозным и социальным вопросам, если бы он принял какую-нибудь обязательную и, так сказать, официальную доктрину, если бы он, например, сделал признание принципов Альянса в религии или коммунализма в политике условием для вступления в свои ряды, то он с трудом насчитывал бы несколько тысяч членов и исключил бы миллионы фабричных и сельскохозяйственных рабочих, которые по всему своему положению, а также по своим инстинктам являются революционерами, атеистами, социалистами, но до сих пор еще не отделались от скверной привычки к реакционному образу мыслей. Интернационал составил бы в таком случае только довольно незначительную партию и во всей Европе с трудом насчитывал бы несколько тысяч членов».

Указав на то, что буржуазия, несмотря на свое моральное банкротство, еще очень сильна и организована, Бакунин продолжает:

«Перед лицом этой колоссальной организации пролетариат, даже об'единенный, сгруппированный и солидаризированный в Интернационале и Интернационалом, остается дезорганизованным. Какая польза от его многочисленности? Пусть народ считается миллионами и многими миллионами, его будут держать под угрозой несколько десятков тысяч солдат, содержимых и дисциплинируемых на его счет, против него, на буржуазные деньги, добытые его собственным трудом.

«Возьмите самую многочисленную секцию Интернационала, самую передовую и наилучше организованную. Разве она организована для боя? Вы знаете хорошо, что нет. На тысячу рабочих вы в день боя наберете самое большее о д н у или две сотни бойцов. Дело в том, что для того, чтобы организовать силу, недостаточно об'единить интересы, чувства и мысли. Необходимо об'единить воли и характеры. Наши враги организуют свои силы с помощью денег и государственного авторитета. Мы можем организовать наши силы только на основе убеждения и страсти.

«Мы не можем и не хотим собирать другой армии кроме народа, массы. Но для того, чтобы эта масса поднялась вся сразу — а только при этом условии она может победить, — что нам нужно сделать? В особенности, что сделать для того, чтобы массы, даже наэлектризованные и поднявшиеся, не оказались разделенными и не парализовали друг друга противоположными движениями?

«Есть только одно средство, а именно: обеспечить себе содействие всех народных вождей...

«Ясно, что это не может быть задачей одного человека, что только об'единение многих людей может предпринять и довести до благополучного конца столь трудное дело. Но для этого прежде всего необходимо, чтобы они

спелись между собой и подали друг другу руку для общего дела. А так как это дело преследует практическую революционную цель, то такой взаимный сговор, составляющий необходимое его условие, не может протекать открыто; этот сговор и долженствующее выйти из него общество могут вестись только тайно. Другими словами, необходимо составить заговор, необходимо основать тайное общество по всем правилам.

«Таковы также мысль и цель Альянса. Это — тайное общество, образованное внутри самого Интернационала в целях дать последнему революционную организацию, преобразовать Интернационал и все народные массы, стоящие вне его, в силу, достаточно организованную для того, чтобы уничтожить политико-клерикально-буржуазную реакцию и разрушить все экономические, юридические, религиозные и политические государственные установления» (курсив мой).

В письме от 21 мая 1872 года к испанскому альянсисту Мораго, носившему конспиративную кличку Паоло, Бакунин следующим образом характеризует задачи Альянса:

«Наша цель — это создать революционный коллектив, могучий, но всегда невидимый; коллектив, который должен подготовить революцию и руководить ею, но который никогда, даже в разгар революции, не займет ни в полном составе, ни в лице отдельных его членов какого бы то ни было официального, публичного или правительственного поста, ибо он в действительности не преследует другой цели, как разрушить все правительства и навсегда и повсюду сделать их невозможными, предоставляя революционному движению масс возможность полного развития, а их социальной организации снизу вверх посредством самочинной федерации самую полную свободу, но всегда следя за тем, чтобы это движение и эта организация не могли никогда восстановить властей, правительств, государств, и борясь против всех честолюбивых стремлений, как коллективных (шаек, вроде шайки Маркса), так и индивидуальных, путем естественного и *никогда не официального* влияния всех членов нашего Альянса, рассеянных по всем странам и сильных единственно своими солидарными действиями и единством программы и цели, которые должны всегда существовать в их среде.

«Теперь вы поймете, что для того, чтобы быть достойным членом Альянса, нужно обладать сильным характером и серьезной революционной страстью, прежде всего нужно иметь чорта в теле, а затем нужно полностью и навсегда отказаться от всех личных интересов, всякого тщеславия, всякого честолюбия, всякой карьеры и всякой славы»...

В другом отрывке, представляющем продолжение цитируемой рукописи, Бакунин старается доказать, что существование Альянса не расходится с интересами Интернационала, а напротив даже благоприятствует им (спрашивается только, зачем же он так старательно скрывал существование своего Альянса от Интернационала?).

«Интернационал и Альянс, — говорит он, — вовсе не являются врагами, как это старается внушить всему миру лондонская чисто-марксистская синагога. Напротив, Альянс представляет необходимое дополнение Интернационала, дополнение, без которого весь Интернационал, сам превратившись в своего рода международное чудовищное государство с авторитарным правительством, с диктатурой Маркса, превратится, как к тому в настоящее время, очевидно, стремится марксистская шайка, в подходящее орудие для осуществления честолюбивых замыслов, следовательно, резко противоречащих освобождению народных масс. Но Интернационал и Альянс, хотя и стремятся к той же конечной цели, вместе с тем преследуют различные задачи. Один имеет своей задачей об'единение рабочих масс, миллионов трудящихся различных национальностей и стран, поверх границ всех государств, в одно мощное и слитное тело. Другой — Альянс — имеет задачей дать этим массам действительное революционное направление. Программы того и другого, отнюдь не противореча друг другу, отличаются одна от другой степенью своего развития. Программа Интернационала, если брать ее всерьез, содержит в зародыше, но только в зародыше, всю программу Альянса. *Программа Альянса представляет крайнее выражение программы Интернационала*» (курсив мой).

Чем сильнее Бакунин настаивал на полном единстве мысли и действии в тайном обществе, этом «главном штабе» революции, призванном руководить непросвещенной чернью, погрязшей в предрассудках, из коих зловреднейшими являются предрассудки «государственнические», тем энергичнее он оспаривал необходимость этого единства в Интернационале. Попытку установить идейное единообразие в Интернационале Бакунин называет абсурдной, смешивая ее с «навязыванием» определенных идей, с «подчинением» пролетариата отвергаемым им идеям и т. п. (незаконченная рукопись «Италия и Генеральный Совет», относящаяся к концу 1871 года). Но Бакунин высказывается не только против идейного единства, но и против дисциплины в Интернационале. «Одни, — пишет он в незаконченной рукописи, представляющей начало письма в редакцию какой-то, повидимому, итальянской газеты и датированной 7 января 1872 г., — одни, не допуская, чтобы единство могло существовать без авторитета, или чтобы действительная организация социальных сил могла иметь место без руководящего правительства, хотели бы обратить Интернационал в своего рода чудовищно колоссальное государство, повинующееся одной официальной мысли, представляемой сильною центральною властью. Другие, т.-е. анархисты, к которым мы принадлежим, полагают, напротив, что введение подобной дисциплины в ряды Интернационала не только не увеличит его мощи, но даже неизбежно принизит, опошлит и убьет его, что оно задушит в зародыше свободную и стихийную мысль пролетариата и сделает невозможным всякое дальнейшее развитие этой великой Ассоциации, призванной освободить человеческий мир. Мы полагаем, что единство, действительная сила и мысль Интернационала заложены не вверху, а внизу, не в Генеральном Совете, превращенном в правительство, а в автономии всех секций и в их вольной федерации».

Еще решительнее возражал Бакунин против идеи революционной диктатуры. «Диктатура, — говорит он в письме к итальянскому интернационалисту Рубиконе (Л. Набруцци), от 3 января 1872 г., — хороша и необходима в политических переворотах, низвергающих одни государства для того, чтобы создать другие, и разрушающих одно господство для того, чтобы немедленно установить новое. Она невозможна в социальной революции, которая хочет раз-на-всегда покончить со всеми видами господства и со всеми государствами... Дело социальной революции вообще и дело Интернационала в частности отнюдь не являются личным делом, это — дело по существу коллективное. Личности, все личности у нас тонут в коллективе, и мы с отвращением относимся к претенциозным, тщеславным, честолюбивым и властолюбивым индивидуальностям. Мы — заклятые враги всякого господства, будь то коллективное или личное». Разумеется, исключение делалось для «незримой диктатуры» интернациональных братьев.

9.

Мы не станем здесь заниматься критикой программных и тактических построений Бакунина, так как этот вопрос выходит за пределы намеченной нами темы. В этой статье мы поставили себе задачей доказать, что основное обвинение, выдвинутое против Бакунина на Гаагском конгрессе, а именно создание и руководство тайною организациею, действовавшею внутри Интернационала, имевшею программу и устав, отличные от программы и устава Интернационала, и пытавшеюся направлять деятельность Международного Товарищества Рабочих без ведома его членов и секций, доказано целиком и полностью. И доказано бесспорными документами, исходящими от самого Альянса, и определенными свидетельствами видных деятелей Альянса, в том числе самого Бакунина. Нам кажется, что после всего этого отрицать столь очевидный факт значит ставить себя в смешное положение. Но, как мы видели, партийные страсти и фракционные соображения заставляют людей не останавливаться и перед тем смешным, которое убивает.

Найдутся, быть может, сердобольные люди, которые скажут, что и за это не следовало, пожалуй, исключать Бакунина из Интернационала ввиду его бесспорной преданности интересам трудящихся масс и горячего стремления к социальной революции, призванной освободить человечество. Но события с тех пор убедительно доказали, что столь противоположные доктрины, как коммунизм и анархизм, не могут ужиться в рамках единой организации. Это было невозможно и во времена Бакунина. Вопрос стоял так: кто кого убьет? И сам Бакунин не скрывал от себя этой альтернативы. Он хотел убить коммунизм, а последний, защищаясь, принужден был обезвредить Бакунина и устранить его из рядов организации, против и внутри которой он конспирировал.

Основным грехом бакунинского Альянса был все-таки его параллелизм с Интернационалом, раскол которого при сохранении и развитии тайной организации в его рядах становился неминуемым, как события это скоро и доказали. Но этот параллелизм был неизбежен, ибо в Интернационале пришли

в столкновение две совершенно различные партии, которые не могли долго ужиться под одной крышей. Бакунин был, разумеется, глубоко неправ, когда утверждал, что марксисты тоже организовали в Международном Товариществе Рабочих свой тайный союз, желая придать социальной революции специфический характер, отвечающий их собственной коммунистической программе. Но он был прав в том смысле, что в Интернационале шла борьба между различными тенденциями, одною из которых была коммунистическая или марксистская фракция (увы, в тот момент тоже далекая от полного внутреннего единства). Сначала эта борьба происходила между марксистами и умеренными прудонистами, а, после разгрома последних в 1868 — 1869 годах, началась борьба между марксистами и левыми прудонистами, каковыми в значительной степени и были элементы, группировавшиеся вокруг Бакунина. Конечно, каждая из борющихся групп не отличалась полной чистотой и единством: и вокруг марксистов, и вокруг анархистов собрались элементы, не во всем согласные друг с другом; но центральными ядрами этих двух враждебных группировок, на которые распался Интернационал, были марксисты — с одной стороны, анархисты — с другой.

Что те и другие пытались наложить на работу Интернационала, как в подготовительный период, так и в момент предстоявшей революции, свой отпечаток, что те и другие стремились добиться руководства в мировом рабочем движении и в частности в Интернационале, это совершенно естественно. Но между методами, применявшимися для этого той и другой стороной, лежала целая пропасть.

Да, были две группы профессиональных революционеров, которые хотели руководить международным рабочим движением и доставить в нем победу той программе и той тактике, какие каждая из этих групп считали правильными и гарантирующими успех освободительной борьбы пролетариата. Но как действовала для этого марксистская группа? Путем пропаганды и убеждения, путем участия во *всех* проявлениях действительного рабочего движения, путем создания и расширения *всех* форм пролетарской организации, путем выяснения пролетариату всех уроков истории, путем развития в массах *классового сознания*, путем приобщения этих масс к практической борьбе, путем воспитания будущих вождей пролетариата из самой рабочей среды, путем борьбы со всеми пережитками утопизма и сектантства и очищения от их следов пролетарского сознания. Марксисты вели борьбу с открытым забралом, работая в Генеральном Совете и в национальных рабочих организациях, проводя свои взгляды на конгрессах, в печати, в работе секций, подготовляя свою победу единственно доступным в рабочей демократии методом *открытой идейной борьбы и убеждения*. Они были за централизацию усилий, но за такую, которая добровольно принималась бы рабочими в силу логической необходимости и целесообразности; они были за революционную дисциплину, но за такую, которую сознательно установили бы передовые пролетарии, об'единенные в Интернационале. Секретничать и конспирировать они считали допустимым от правительства и господствующих классов, но они не составляли заговоров против самого рабочего

класса, против его организации, против его партий, против его международного об'единения. И они были твердо уверены, что рабочие массы, организуемые и обучаемые самим ходом реальной борьбы, постепенно дойдут до правильных воззрений, выработают верные методы действия, разовьют свою активность и осуществят основной лозунг коммунизма: «освобождение рабочих должно быть делом самих рабочих».

Не так действовали анархисты с Бакуниным во главе. Конечно, и бакунисты не брезговали методами пропаганды и убеждения, но применяли его не совсем так, как марксисты. Бакунин предпочитал личную переписку и беседы с глазу на глаз, при которых он мог давать полную волю своему воображению. И к кому он преимущественно обращался, кого старался в первую голову завербовать, кому предназначал роль руководителей социальной революции? Деклассированным элементам, выходцам из привилегированной среды, из «образованного» общества, буржуазным интеллигентам, которых считал солью земли, людьми, призванными возглавить освободительное движение пролетариата и повести социальную революцию к целям, хотя бы и не сознаваемым и не выставляемым самими массами. Конечно, Бакунин рад был завербовать и всякого рабочего, а к рабочим он умел подходить и сближаться с ними; в отдельных случаях он это и делал. Но пролетариата как класса он не понимал; его классовые задачи и историческая миссия оставались для него непонятными. В эпоху пролетарского движения он сам был как бы выходцем из другого века, искренно желающим понять новую жизнь и приспособиться к ней, но не умеющим это сделать и каждый раз невольно возвращающимся к старым чувствам и приемам.

В пролетариате Бакунин видел не особый класс, последний продукт антагонистического исторического развития, который именно своими классовыми выступлениями призван был положить конец классовому делению общества и эксплоатации человека человеком, а обездоленную, страдающую массу, проникнутую глухим инстинктом протеста и ненависти к высшим классам. Этого элементарного инстинкта для Бакунина было достаточно, чтобы признать угнетенные массы прирожденными социалистами, готовыми на социальную революцию. Эти массы полны предрассудков, живут во тьме, но они готовы к бунту, а тайная организация революционных интеллигентов, незначительная по численности, но спаянная единством мысли и воли, уж позаботится о том, чтобы народная революция приняла правильное направление и была доведена до благополучного конца. Эта организация, работающая тайком не только от масс, но и от их организаций, в том числе и от Интернационала, должна была выполнить такую грандиозную историческую задачу без ведома масс и даже вопреки их желанию путем незримой коллективной диктатуры.

То, что было положительного в организационной схеме Бакунина (в частности, указание на роль спаянной организации профессиональных революционеров), тонет в тех отрицательных сторонах ее, которые способны были только принести рабочему движению величайший вред и внести глубокое разложение в его ряды.

В Китае.

Альский.

До самого последнего времени Китай был крайне децентрализован. Высшие представители местной власти, однако, назначались и смещались центральной властью. Они обязаны были пополнять не только все предначертания центральной власти, но и передавать ей или другим, экономически более слабым, провинциям часть собранных ими с населения средств. Вместе с тем, ввиду полного или почти полного отсутствия контроля со стороны центральной власти над их деятельностью, они были совершенно самостоятельны в деле управления своих провинций, представлявших, по существу, уже и в те времена, маленькие автократические государства в государстве. Но вся полнота законодательной и исполнительной власти, армия и внешние оношения все же оставались всецело в руках центральной государственной власти.

Не завершенная до сих пор в Китае революция 1911 г. разорвала и эти слабые связи. Элементы децентрализации возобладали над элементами централизации государственной власти. В стране образовалось, в сущности, столько государств, сколько имеется у нее провинций, а в каждой из этих провинций столько, — сколько имеется дистриктов. Армия распалась по тому же признаку. Будучи наемной, она стала всецело зависимой от того, кто обеспечивает ей все необходимое, а главное ее содержание.

Остатки прежней финансовой системы, в крайне причудливом переплете с новыми финансовыми мероприятиями, превратились в орудие безответственной эксплоатации населения.

Государственное хозяйство все время расхищается.

Местные власти, суд и полиция действуют в интересах существующей милитаристической системы, от которой они всецело зависят.

Центральное правительство не пользуется никакой реальной властью в стране. Издаваемые ею распоряжения, указания и директивы ни для кого не обязательны и никто, в сущности говоря, их не исполняет. Власть организуется и распадается по воле враждующих между собой милитаристических и чиновничьих клик и группировок. В каждое данное время, она представляет лишь соотношение сил вечно борющихся между собой милитаристических клик, комбинаций и группировок. Единственной прерогативой цен-

тральной власти остались, пожалуй, одни лишь внешние сношения. Однако каждый милитарист и здесь находит прямые пути к иностранным державам, сносится с ними через голову правительства, вступает с ними в сделки, дает им концессии, продает им государственное имущество, получает займы, одним словом, продает страну и покупает, если это ему почему-либо нужно, поддержку империалистов в его борьбе с центральным правительством или с другой милитаристической группировкой.

Империалисты, в свою очередь, постоянно ищут и находят пути и к отдельным милитаристам, и к целым милитаристическим группировкам. Они используют их в своих захватнических интересах и как агентуру для охраны своих привилегий в Китае, и как орудие давления на центральное правительство в случае, если их собственного нажима на него почему-либо неудобно применить.

Всей полнотой власти в стране пользуются только милитаристы. Они и только они одни являются вершителями судеб своей страны. Их сила и власть покоятся, главным образом, на их материальной — грубой военной мощи. Влияние каждого из них определяется количеством штыков, находящихся в его распоряжении.

Процесс выделения отдельных милитаристов и даже целых милитаристических клик происходит крайне своеобразно — и сверху, и снизу. Одни из них начинают свою карьеру с создания отдельных бандитских или хунхузских шаек, другие с рядовых солдат, в сформированных уже армиях, а третьи приглашаются в качестве военных специалистов извне для возглавления какого-нибудь более или менее солидного военного отряда или даже союза таких отрядов. Мелкие воинские части вступают часто в соглашение друг с другом для борьбы или против более сильной милитаристической клики, или в целях расширения своей территории, или, наконец, для отвоевания новой территории, в видах большей эксплоатации беззащитного населения. Так или почти так образуются в Китае малые и большие армии.

По мере роста вооруженных сил нового милитаристического выскочки к нему переходят другие более слабые, но вполне сложившиеся отряды. В составе «армии» эти сохраняют в общем и свою военную самостоятельность, и свой район для «подножного кормления». Наматывая вокруг себя все больше и больше вооруженных сил и закрепляя за собой отвоеванную или полученную мирным путем территорию, каждый милитарист и вся его клика в целом начинает распространять свое влияние за пределы района непосредственной своей власти. Они или вступают тогда в соглашение с другими милитаристическими группировками и приобретают влияние на правительство, или воюют с ними за сферы своего влияния и за более богатые районы и провинции. Война сулит им не только более значительные источники доходов, но и дальнейший рост их влияния на соотношение вечно интригующих и борющихся друг против друга милитаристических сил.

Находясь в сфере политического и экономического влияния того или иного империализма, или нуждаясь в средствах и вооружении, милитаристы вступают с ним во временный или более постоянный блок, становясь или

агентурой империализма в родной стране, или временным его союзником, или, наконец, его сотрудником, в борьбе против других агентов, но лишь чужого империализма. Таким образом, сложился и еще складывается до сих пор своеобразный милитарно-империалистический трест по эксплоатации и расхищению народного достояния Китая.

Если милитарист «вышел в люди», т.-е. вырос снизу, — то он сохраняет корни в собственных отрядах и воинских частях. Его основной заботой является об'единение вокруг этих отрядов всех своих союзников и всех своих попутчиков. В случае военного столкновения он, большей частью, выставляет этих последних первыми на поле кровавой борьбы. Он всегда старается сохранить в целости свои собственные вооруженные силы.

Существующая в Китае вот уже в течение 10—12 лет, неустраненная до сих пор, система милитаризма неминуемо приводит к военным столкновениям из-за более «лакомых кусков» страны — из-за экономически более богатых провинций, областей, городов и открытых портов.

Китайский милитаризм, по самой своей сути, не может жить без войн. Войны стали своего рода обыкновенным явлением в Китае. Всеобщие милитаристические свалки происходят здесь «довольно» редко — раз в год или раз в два года, зато военные столкновения между отдельными провинциями или внутри провинций происходят постоянно. Какое разорение они несут с собой населению, главным образом, крестьянскому населению, не трудно себе представить. Армия для милитариста не только источник силы и влияния, она является для него и своего рода орудием первоначального накопления. Опираясь на материальную силу штыка, всякий милитарист, будь то главноначальствующий или маршал, генерал или военный, чином поменьше, старается прибрать в своей провинции или группе своих провинций всю власть к своим рукам. Он устанавливает налоги и сборы и собирает их за много времени вперед. Он вводит всевозможные откупа. Он продает оптом и в розницу государственное имущество. Он организует свои эмиссионные банки и эмитирует деньги, не сообразуясь ни с чем. Он накладывает «контрибуции» на отдельные группы населения. — Одним словом, он норовит получить как можно больше в свой карман. Часть награбленных им, таким образом, средств он тратит, конечно, на армию — этот основной источник своего могущества, а оставшуюся часть он обращает в фонд собственного капиталистического накопления...

В этом можно найти ключ к разгадке того, почему все без исключения милитаристы, начиная с «большого» и кончая самым маленьким, так дорожат своими армиями. В этом и только в этом, видимо, разгадка того, почему, воюя, они, по крайней мере, до самого последнего времени, больше пускали в ход хлопушки, нежели ружья; почему до, во время и после боя наблюдаются такие частые отколы целых бригад, дивизий и даже армий от слабых и переход их на сторону побеждающих армий, для совместной борьбы против вчерашнего своего союзника, хозяина или начальника, почему происходят отходы в «неизвестном направлении», сопровождающиеся открытием фронтов и тылов, во время военных операций, одним словом, почему

во время милитаристических столкновений столько предательства, неожиданностей, больших и малых измен.

Сбереженная живая сила отряда, бригады, дивизии, не говоря уже об армии, гарантирует возможность грабежа того или иного района страны, обеспечивает безбедное существование, а главное, открывает возможности дальнейшего роста, потеря же вооруженной силы сулит жалкое убежище на иностранной концессии или, в лучшем случае, у старого приятеля — милитариста, властвующего где-либо в другой провинции.

Милитаризм — это настоящий бич китайского народа и его хозяйства.

Устраиваясь в крупных административных центрах страны, милитаристическая верхушка так или иначе связывается с городской буржуазией.

Считаясь с организованной силой купеческих гильдий и торговых палат, об'единяющих почти все китайское купечество, всякий милитарист вынужден с оглядкой действовать в городе. Другое дело в деревне. Здесь у него развязаны руки.

Китайская деревня уже давно потеряла свой замкнутый феодально-родовой характер. Торговый капитал, проникая в деревню и вовлекая ее в товарно-денежный оборот страны, разложил крестьянство Китая на довольно резкие в имущественном отношении группы, которые ведут между собой довольно ожесточенную борьбу.

Данные обследования земельных отношений в Хенанской провинции в Срединном Китае показывают, например, что парцеллярные хозяйства составляют в провинции 52,3% всех крестьянских хозяйств, мелкие 21,6%, средние 14,4%, а крупные 11,8%. Первые владеют в провинции 17% всей земельной площади, вторые — 21,2%, третьи — 23,5%, четвертые — 38,3%. Таким образом, 12% крупных хозяйств располагают такой же площадью земли, как 74% парцеллярных и мелких крестьянских хозяйств. Вообще говоря, трудно сказать, насколько все эти данные отражают правильно земельные отношения в Хенанской деревне. Судя, однако, по некоторым другим данным, можно все же допустить, что они в известной мере характеризуют земельные отношения данной, а быть может, и некоторых других, близких к ней, провинций Срединного и Южного Китая.

В Китае многое и многое свидетельствует о том, что огромное большинство китайского крестьянства имеет земельные участки ниже голодного минимума и что громадная масса крестьян и вовсе не имеет собственной земли.

В условиях малоземелья и большой аграрной перенаселенности китайской деревни трудно получить в аренду хотя бы и клочок земли. Беря в аренду землю, крестьянин вынужден отдавать землевладельцу не только всю земельную ренту и всю прибыль на капитал, но и часть своей заработной платы.

Рост числа крестьянских хозяйств происходит исключительно за счет увеличения массы бедноты. Бедные крестьяне работают от зари до зари, а некоторые из них работают и по ночам. Работая круглый год без устали, не зная ни отдыха, ни праздников, они все же не имеют не только средств для приобретения одежды на зиму, но и достаточной пищи в течение года.

Крестьянство в массе своей становится из года в год все беднее и беднее. Растущая экспроприация крестьянства приводит к общему упадку всего крестьянского хозяйства и к все большему и большему обеднению страны.

Вместе с ростом товарности крестьянского хозяйства, роль торгового и ростовщического капитала в деревне значительно усиливается. Отсутствие удобных средств передвижения и хороших дорог, а также широко распространенный бандитизм затрудняют сношения крестьян с городами и ставят их в зависимое от торгового капитала положение. В их лице на шею беднейших слоев крестьянского населения садится новый паук, тоже высасывающий из них все живые соки.

Власть денег в деревне, рост торгового земледелия и специализация сельского хозяйства приводят к тому, что на другом полюсе в деревне выделяется слой крепких крестьян, наживающихся и на всеобщей нищете, и на эксплоатации наемного труда.

На почве антагонизма интересов внутри самого крестьянства и на почве многообразных и сложных противоречий в деревне возникают постоянные конфликты между земельными собственниками и деревенской властью, с одной стороны, и крестьянской беднотой — с другой. Политическим выражением этих классовых противоречий в деревне служат и всевозможные тайные организации крестьян («Красные пики», «Общество трех точек», «Общество большого меча», «Общество длинноволосых» и т. п.), и легальные «народные дружины», отряды землевладельцев, которые поддерживают «порядок» в деревне. Через своих руководителей и вождей эти отряды находятся в той или иной постоянной связи с местными милитаристами...

При таких условиях неудивительно, если вся тяжесть милитаристической системы с ее бесконечными войнами направлена, главным образом, против деревни и основной массы ее крестьянского населения.

Пользуясь бесправием народа, являясь агентами милитаризма или выступая в блоке с ним, деревенские кулаки и джентри не только перекладывают всю тяжесть китайского милитаризма на плечи обездоленных китайских масс, но и использовывают его в собственных интересах.

В деле эксплоатации китайской деревни от них не отстает и городская, главным образом, торговая буржуазия.

Калькулируя цены товаров с известным запасом, на случай непредвиденных поборов и контрибуции местных милитаристов, включая в цены уплаченные уже контрибуции и поборы и притом с процентами на капитал, и, кроме того, еще и некоторую страховочную премию от бандитизма, в случае переброски товара на места и с мест в крупные торгово-промышленные центры, торговая буржуазия тоже перекладывает всю тяжесть существующей в Китае «системы» на трудовые массы населения, главным образом, на то же крестьянство.

В результате всей этой военно-административной и хозяйственной системы крестьянство разоряется, оно бросает земли, бежит из деревень, образует бандитские шайки, которыми кишмя кишит Китай. Оно становится

поставщиком громадной армии безработных и нищенствующих в городах и пушечного мяса для бесчисленных наемных армий милитаристов. Чтобы понять весь ужас создавшегося на этой почве положения, достаточно указать, что, по приблизительным лишь подсчетам, наемные армии милитаристов насчитывают от 1,5 до 2 миллионов солдат, а бандитские отряды и шайки — до 12—15 миллионов человек.

Другим своим концом система милитаризма обрушивается на рабочее и на малоимущие и мелко-буржуазные слои населения городов. Она способствует росту дороговизны жизни, она приводит к ухудшению экономического положения всех малоимущих слоев, групп и классов населения.

Между тем громадная армия безработных затрудняет рабочему классу его борьбу за улучшение условий труда. Таким образом, милитаристическая система не только разлагает китайское государство, но приводит и к об'единению основных масс китайского народа, к ослаблению его платежеспособности, к уменьшению потребления, к сужению емкости рынка, к постоянным экономическим кризисам и к общей неустойчивости хозяйства в стране. Торговая буржуазия так или иначе приспособилась к милитарной системе в стране. Зато молодая китайская промышленная буржуазия, заинтересованная в известном правопорядке и в нормальном развитии внутренних рынков сбыта товаров, в емкости и устойчивости их, больно ощущает все последствия этой системы.

Милитаризм разлагает страну, разрыхляет и без того слабые связи китайской государственности, уменьшает силу сопротивляемости китайского народа, льет воду на мельницу мирового империализма...

Действуя по старой формуле «разделяй и властвуй», империализм прекрасно использовывает китайский милитаризм в собственных интересах. Заигрывая с одним, поддерживая других, сталкивая третьих, ставя в зависимость от себя четвертых, империализм облегчает себе возможность дальнейшего проникновения в Китай.

Пользуясь экстерриториальностью, захватив порты и концессии, контролируя железнодорожный, морской и речной транспорт и орудия связи страны, регулируя ее внешнюю торговлю и валютные расчеты, использовывая денежное обращение и кредит в собственных интересах, эксплоатируя природные богатства страны, наложив руки на ее таможни, таможенные доходы и соляной налог, держа наготове дула заряженных пушек морских гигантов в наиболее крупных морских центрах страны и диктуя свою волю слабому, никем не поддерживаемому в стране китайскому правительству, империализм мог до самого последнего времени, может, в известной мере, и ныне совершенно беззастенчиво грабить и расхищать китайское национальное добро.

Опутав Китай мощной сетью собственных банковских учреждений, подчинив себе одни и контролируя другие китайские банки, мобилизуя сотни миллионов мексиканских долларов из китайского оборота, сосредотачивая у себя миллионные поступления по таможенным пошлинам и соляному налогу, извлекая из китайского народно-хозяйственного оборота громадные

средства, при помощи банковской эмиссии, мировой империализм получил возможность с минимальными собственными затратами организовать эксплоатацию Китая исключительно за счет его же громадных фондов, сосредоточенных в руках иностранных или подчиненных им китайских кредитных учреждений.

При помощи всевозможных контрибуций империализм навязал Китаю миллиардный государственный долг. Он превратил эту страну в постоянного своего должника. Он постоянно держит ее на грани финансового банкротства.

Добившись контроля над основными источниками государственных доходов и вырвав у Китая, в обеспечение аккуратного платежа процентов и долей погашения по займам, его таможенные доходы, он постепенно отнял у него и его таможенную автономию.

Контролируя таможенное дело этой страны, он навязал ей такие низкие ставки таможенных пошлин, которые не только препятствуют развитию, но убивают туземную промышленность и, наоборот, благоприятствуют иностранной внешней торговле.

«Аппетит приходит во время еды», — говорит французская поговорка. Стремясь сохранить в Китае свои позиции и сверх того получить еще новые сверхприбыли, империалисты стали во время европейской войны насаждать в Китае крупную капиталистическую промышленность. Близость источников сырья и дешевых рабочих рук, наличие постоянной громадной армии безработных, освобождение от платежа налогов и масса других привилегий, вытекающих из неравноправных договоров, навязанных Китаю, манили их к тому, чтобы максимально использовать свое положение в конкурентной борьбе и с туземным и со своим национальным капиталом в метрополии. Кроме того, империалисты должно быть полагали, что в Китае они образуют цитадель против наступлений более требовательного, революционно-настроенного рабочего класса собственной страны. Как бы то ни было, Китай стал быстро индустриализироваться.

«Десять лет тому назад, — пишет Томак Боуэн Партингтон [1]), — в Китае имелось только 558 фабрик, теперь в Китае имеется 1.400 фабрик, не считая нескольких тысяч мастерских, по своему оборудованию приближающихся более или менее к требованиям современной техники. Среди современных фабрик насчитывается 83 прядильни и ткацких фабрик, 208 шелкопрядилен, 95 мельниц, 82 электрических станции, 58 типографий, 54 мыловаренных и свечных завода, 51 телефонная компания. Вся эта промышленная революция ярче всего проявилась в текстильной промышленности в Шанхае. В 1903 году в Китае было только две хлопчато-бумажные ткацкие фабрики с 65.000 веретен. В 1916 году их было уже 42 с 1.154.000 веретен, теперь их имеется 83 с 2.000.000 веретен. К этому надо еще добавить 1.000.000 веретен, которые начнут работать в ближайшее время». Таким образом, 20 лет тому назад в Китае было только 2 хлопчато-бумажные фа-

---

[1]) «Фортнайтли Ревью», август 1925 г. Статья о китайской промышленной революции.

брики с 65.000 веретен, в настоящее время их уже 102 с 3.165.566 веретенами. Даже Япония с ее 3.813.680 веретенами не на много опередила Китай в этой отрасли труда.

Две трети всех этих предприятий принадлежали китайцам и около половины их числа появилось за последние 4 года.

Если к этому прибавить еще, что с 1919 г. по 1923 г. число прядильно-ткацких машин в крупной текстильной промышленности увеличилось в три раза — с 2.650 до 8.581, что добыча угля увеличилась с 1912 г. по 1923 г. по одним источникам в 2 раза — с 13 милл. тонн до 23 милл. тонн, а по другим — в 3 раза — с 13 милл. тонн до 40 милл. тонн, при чем в первом случае 13 милл. тонн, а во втором 20 милл. тонн добывается современным способом, что производство железа увеличилось с 1916 г. по 1923 г. почти в полтора раза — с 801.000 до 1.352.000 тонн, что железнодорожная сеть расширилась с 1915 г. по 1923 г. с 6.664,5 до 9.260,3 километров, т.-е. на 2.596 километров, и что в Китае в настоящее время имеются и такие фабрично-заводские гиганты, которые об'единяют в процессе своего производства по десяти и более тысяч рабочих, то получим вполне ясную картину промышленного развития Китая за последние годы.

Но большинство отраслей промышленности в Китае находятся еще на очень низкой ступени развития. Крайне неблагоприятным фактором для развития китайской туземной промышленности является неравенство в правах иностранных и китайских предпринимателей. Иностранцы из'яты из китайской юрисдикции и «отвечают» или перед законами своих стран, или перед своими консульскими судами. Китайцы же отвечают перед китайскими законами, если только они не устроились на какой-либо иностранной концессии. Неравенство предпринимателей перед законом, и, в частности, в области налогового обложения, оказывает непосредственное влияние на издержки производства и ставит иностранные и китайские отрасли промышленности в неравные условия конкуренции.

Очень немногие отрасли китайской промышленности прибыльны. Многие бумагопрядильни, основанные китайцами, обанкротились, не выдержав конкуренции с теми же отраслями иностранной промышленности в Китае. Пользуясь и экстерриториальностью, и установленными империалистами системой внешней торговли и таможенным режимом, будучи ограждены от налетов и поборов милитаристов, будучи свободны от налогов и пользуясь сверх того поддержкой могущественных в Китае иностранных банков, сосредоточивших в своих руках колоссальные средства китайского народно-хозяйственного оборота, иностранные предприниматели «скушали» своих китайских собратьев.

Многие бумагопрядильни или совсем перешли к иностранцам, или прикрылись их национальным флагом, чтобы избавиться от платежа налогов и пользоваться привилегиями, вытекающими из навязанных империалистами Китаю неравноправных договоров. Часть этих предприятий совсем закрылась и лишь часть их осталась еще у их прежних собственников.

Такое положение вещей не может, конечно, не восстанавливать молодой китайской промышленной буржуазии против создавшегося для нее тяжелого положения в собственной стране.

Развитие промышленности в Китае вызвало к жизни новый класс — рабочий класс, насчитывающий в своих рядах около 2,5 миллионов человек. По численности своей рабочий класс тонет, конечно, в 430-милл. массе населения Китая. Но социальный удельный вес его, поскольку он об'единен процессом производства и «варится» в фабрично-заводском котле, значительно больше его численности.

По данным китайского правительственного бюро экономической информации общее число лиц, имеющих определенное занятие, исчисляется в Китае кругло в 259 миллионов человек. Свыше 80% этого населения занимается земледелием, 2,5 милл. работает на фабриках и заводах, а остальные в области торговли, домашней промышленности и других.

По утверждению профессора Тейлора и мисс Цупс из Шанхая «максимальная ежедневная заработная плата для мужчин в 29 главнейших отраслях промышленности, имеющих 300.000 рабочих, колеблется в пределах от 20,5 до 51,5 центов [1]) золотом, составляя в среднем 37 центов в день, тогда как минимальная средняя составляет 4,5 цента в день. Для 221.000 женщин максимум составляет от 2,5 до 42,5 центов, при средней в 18 центов и минимуме от 1 до 18,5 центов, при средней в 4,75 центов в день. Во многих шелкопрядильных и хлопчато-бумажных фабриках работают дети от 6 до 12 лет. Заработная плата этих детей колеблется от 3 до 12 золотых центов в день. Несколько сот тысяч фабрично-заводских учеников получают вознаграждение только продовольствием, стоимость которого оценивается в среднем в 6 золотых центов в день. Минимум средств, необходимых для жизни одинокому рабочему в портовых городах, определяется в 12,5 центов в день, а для рабочего с семьей среднего размера в 28,5 центов. Тщательный анализ стоимости жизни в Шанхае дает цифру в 5,93 мекс. долл. в месяц для одинокого и 10,67 м. д. для небольшой рабочей семьи». Если эти данные верны, то около 40% рабочих в материальном отношении стоят ниже линии бедноты.

В большинстве предприятий в Китае рабочие работают всю неделю, не имея ни одного дня отдыха. Рабочий год, если не считать времени остановок в работе, вызванных чисто техническими причинами, равняется 350 дням. Двойные смены, там, где они имеются, работают поочереди один день 8 часов, а другой — 16 часов.

На Шуйкоушаньских копях до 1922 г. применялся 12-часовой рабочий день, без единого дня отдыха в неделю и 100 тунзеровая поденная заработная плата, на предпринимательском «столе» и «квартире». Рабочие были связаны с предпринимателем только через подрядчиков. Об их экономическом и правовом положении можно судить по требованиям, выдвинутым во время забастовки. Первое из них — отмена подрядной системы работы, второе — отмена телесных наказаний, третье — 10-часовой рабочий день для

---

[1]) Один цент равен, примерно, одной копейке.

наземных и 8-часовой рабочий день для подземных работ, четвертое — повышение заработной платы до 9 мекс. долларов в месяц при предпринимательских харчах, пятое — два дня отдыха в месяц и отпуск один раз в году.

Ужасное впечатление производят описания рабочих жилищ, которые могут быть сопоставлены только с незабываемыми картинами ужасающей нищеты английского рабочего класса, нарисованными Ф. Энгельсом.

В двух'этажных домах, которые разделены на ряд небольших комнат, представляющих как бы мрачные дыры с полатями, живут 40 человек, составляющих 4 семейства с их многочисленными родственниками. Шервуд Эдди рассказывает, что он видел комнату в 10 кв. футов, в которой жило 10 человек, при чем половина спала днем и половина ночью. Здесь не было печи, не было труб, чтобы выводить дым от огня, пылавшего под железным горшком, в котором варилась пища для всех. В доме не было ни умывальника, ни уборной. День и ночь 10 человек мужчин, женщин и детей стряпают, едят, спят и живут. О ужас, живут в этой комнате.

Нестерпимо тяжелое положение рабочего класса неминуемо должно было привести не только к его пробуждению, но и к его выступлению в защиту собственных интересов.

В период мировой войны, в Шанхае впервые началось развитие профессионального движения. В 1916 г., после организации по образцу западноевропейских профсоюзов первого рабочего союза в Шанхае, там же была заложена организация для агитации и пропаганды среди рабочих. Осуждая существовавшие до сих пор рабочие гильдии, эта организация призывала рабочих к организации своих профессиональных союзов. Уже в период промышленного под'ема 1922 г. в Китае быстро стали возникать локальные стачки. В течение 6 месяцев, с февраля по июль, в одном только Шанхае возникло не менее 31 стачки, в большинстве своем на экономической почве.

В течение последних лет в Китае народилось народно-революционное движение.

После шанхайских событий в стране сложилось два резко враждебных друг другу лагеря: лагерь империалистов, милитаристов, компрадорской и некоторых слоев зависимой от иностранного капитала крупной китайской буржуазии, которые пустили в ход против движения все свои аппараты и средства эксплоатации и угнетения; и второй — лагерь рабочих, ремесленников, мелкой буржуазии, студенчества, интеллигенции и некоторых групп национально настроенной средней и крупной буржуазии, менее связанных с иностранным капиталом и более заинтересованных в ослаблении его экономической мощи в Китае для улучшения условий своей конкуренции с ним.

Стойкость рабочих масс, сразу осознавших себя как класс, общенациональный характер движения, явочным порядком легализованные рабочие и национально-революционные организации, а главное международная обстановка и противоречивость интересов империалистов в Китае, создали трещину в едином вначале фронте мировых хищников.

Америка как бы отстранилась от непосредственной борьбы с национально-революционным движением в Китае и заняла в лагере мирового импе-

риализма свою особую позицию. Япония, эта главная виновница последней вспышки движения, поспешила войти в соглашение с рабочими организациями, найти компромисс и ликвидировать на своих предприятиях стачку рабочих. Франция вообще осталась как бы в стороне. А Англия... Англия, загнавшая гонгконгскую стачку в тупик, Англия более всех упорствовавшая в борьбе с народно-революционным движением, оказалась изолированной в роли жандарма, сторожащего незащитимые больше позиции империализма в Китае.

Таким образом, глубокие противоречия мировых империалистов Америки и Японии, Америки, Англии и Японии, Америки и Англии нашли свое отражение и в борьбе империализма против национально-революционного движения.

Окрыленные первыми успехами национально-революционного движения, массы уверовали в силу своих организаций. В Китае стали уже понимать, что в интересах освобождения страны от эксплоатации и угнетения надо уметь раздвигать щели в лагере империалистов в глубокие трещины, что только таким образом можно будет рано или поздно обеспечить успех национально-революционной борьбы китайских масс за свое освобождение от ига эксплоатации и угнетения.

Поскольку национально-революционное движение в Китае началось в обстановке мировой социальной революции, когда «красный призрак бродит по всему миру», поскольку некоторые группы китайской буржуазии определенно связаны с интересами мирового империализма в Китае, а другие заинтересованы в очищении экономического поля в Китае от финансово-экономической эксплоатации империализма, дабы самим занять его позиции — постольку буржуазия, как класс, не могла выступить единым фронтом, не могла стать вождем революционного движения и, наоборот, все время являла народу и свою прострацию, и свои колебания в отношении движения. Это особенно резко выявилось после шанхайских событий, когда рабочий класс, улучшив свое экономическое положение на иностранных предприятиях, перенес свою борьбу на китайские предприятия.

Поднявшаяся волна революционного движения не могла пройти мимо наемных армий милитаристов и не задеть их. Она начала подымать и устои милитаризма в стране. Одни милитаристы сразу же выступили в роли охранителей интересов империализма, они стали громить рабочие организации и национально-революционное движение в стране. Другие, которые борются еще за свое влияние, занялись мимикрией. Открещиваясь от всякой «красноты» (в Китае так называют революцию), они об'явили себя «друзьями народа» и хранителями интересов нации...

Висевшая в воздухе, в течение многих месяцев, очередная милитаристическая драка стала стихийно приближаться к развязке. Все милитаристические группировки зашевелились. Те милитаристы, которые об'явили себя «сторонниками» борющегося народа, старались использовать в своих интересах развертывавшееся в стране движение, другие, наоборот, хотели согнуть его в «бараний рог». Однако политические факторы продолжали действовать — у милитаристов «друзей народа», в силу ряда причин, силы

стали нарастать, у других началась полоса измен, характерных для китайских наемных армий. Началась очередная всекитайская военная свалка. Вначале «военное счастье» улыбнулось так называемым народным армиям. Соотношение милитаристических группировок изменилось, и правительство — этот показатель в каждое данное время соотношения борющихся милитаристических сил — распалось. Возникла борьба за то, кому и как организовать центральное правительство. В военную драку негласно вмешался империализм, главным образом японский, и соотношение военных сил на фронтах сразу изменилось. Наступило временное затишье.

Напряжение военных сил милитаристов привело к ослаблению их диктатуры в стране. «Почва» под их ногами стала мало-по-малу разрыхляться. Национально-революционное движение могло распространиться и вширь, и вглубь. Профессиональные союзы, китайская коммунистическая партия и Гоминдан стали кое-как организационно закреплять свое влияние на рабочие и крестьянские, интеллигентские и мелкобуржуазные массы. Кое-где явочным порядком появилась революционно-демократическая пресса, кое-где проводились собрания, митинги и демонстрации, против империализма и в некоторых случаях и против милитаризма. Профессиональные союзы и партии кое-где вышли из подполья и стали работать полулегально. Движение стало мало-по-малу просачиваться и в китайскую деревню. В отдельных местах оно стало привлекать на свою сторону и крестьянские тайные организации и общества. Кое-где крестьянское движение стало оформляться в крестьянские союзы.

Развертываясь в некоторых местах под лозунгами снижения арендной платы на земли, облегчения налогового бремени, легализации крестьянских союзов, вооружения крестьян для борьбы против бандитизма и военных отрядов помещиков и джентри, организовываясь под руководством рабочих организаций, — крестьянское движение мало-по-малу становится могучим союзником рабочего класса в его борьбе против империализма и милитаризма и за об'единение и демократизацию страны.

Выйдя на арену политической борьбы, молодой рабочий класс в Китае сразу же стал во главе национально-революционного движения и потряс основы империализма и милитаризма в стране. Получив боевое крещение, он стал лихорадочно строить свои классовые организации и в то же время, не замыкаясь в себя, начал искать и кое-где находить и организовывать вокруг себя своего будущего могучего союзника в борьбе — китайское многомиллионное мелкое и бедное крестьянство.

В настоящее время национальное революционное движение безусловно стихийно развертывается, углубляется, растет и закрепляется, а милитаризм и империализм, раздираемый каждый своими внутренними противоречиями, разоблачается и дряхлеет в Китае.

Однако реальная власть и сила, пока еще, находятся в руках милитаристов и стоящих за их спиной империалистов.

Центральное правительство, какой бы милитаристической группировки оно ни было, в тот или иной момент организовано, может быть, и то только

на словах, несколько менее консервативным или более прогрессивным, но нутро и значение его при системе милитаризма будет оставаться прежним. Ни одно из них не будет в состоянии ни об'единить страны, ни ликвидировать гнойного нароста на теле китайского народа — все расхищающего и все разрушающего милитаризма, — ни вышвырнуть вон из страны хищного империализма. В руках правительства не окажется ни реальной силы, ни власти, чтобы преодолеть центробежные силы китайской государственности. Ни один милитарист, как бы заинтересован он ни был в существовании данного правительства, не предоставит ни себя, ни своей армии в его распоряжение. Он не смог бы этого сделать, если бы он даже этого захотел. Несогласные на это части армии не подчинились бы своему сегодняшнему хозяину. Они или откололись бы, чтобы самостоятельно грабить население на той части территории, где они расположены, или перешли бы под «высокую руку» своего вчерашнего противника, или просто «расправились» бы, по обычаю китайских милитаристов, со своей «предательской» командной верхушкой...

Только до конца доведенная китайская демократическая рабоче-крестьянская революция, собирающая в настоящее время свои силы и зреющая ныне в недрах китайского народа, сможет уничтожить милитаризм, об'единить страну, изгнать империалистических хищников и восстановить национальное хозяйство родной страны, и добиться для Китая достойного положения в семье народов всего мира.

В единственном пока уголке Китая — Гуандунской провинции — положение уже несколько иное. Здесь имеется уже сформированное Гоминданом национальное правительство, которое поддерживается не только рабоче-крестьянскими, но, в известной мере, и купеческими организациями. Создав совершенно новую армию и заняв резко враждебную позицию против империализма, оно повело беспощадную борьбу не только с неподчиняющимися ему местными милитаристами, но и со всеми теми, кто так или иначе связан с империализмом. «Мирно» разоружая одних, кровью и железом подчиняя себе других местных милитаристов, оно все более и более закрепляет за собой Кантонскую армию. Консолидируя в своих руках власть в провинции, оно получило уже возможность приступить к организации новой, достаточно близкой к населению, власти на местах. Не будучи еще полным и беспредельным хозяином всех своих вооруженных сил, оно, тем не менее, создало уже некоторые довольно серьезные предпосылки для полной централизации армии, для финансово-хозяйственного строительства в провинции и для проведения в интересах населения ряда насущнейших реформ. Если это правительство устоит, если оно не окажется вовлеченным в какие-либо милитаристические авантюры, то, воспользовавшись дарованной ему в настоящее время историей передышкой, оно сможет приступить к органическому военному, хозяйственному, административному и финансовому строительству в своей провинции.

Подводя этим строительством твердую базу под все завоевания южнокитайской революции, оно, тем самым, одновременно создаст и громадную

силу, на которую сможет в дальнейшем опереться и все народно-революционное движение в Китае.

Не сворачивая борьбы против навязанных империалистами Китаю неравных договоров, наоборот, конкретизируя эту борьбу требованиями: 1) таможенной автономии, 2) урегулирования вопросов, связанных с государственным долгом Китая, вытекающим из военных контрибуций и всевозможных вознаграждений «за ущерб, нанесенный иностранцами китайской революции», 3) отнятия у иностранных банков присвоенной ими китайской государственной регалии — права эмиссии денежных знаков, 4) ликвидации экстерриториальности для иностранцев в области банковского, торгово-промышленного и налогового дела, ставящей их в особо благоприятные условия конкурентной борьбы с туземным капиталом, 5) невмешательства в так называемые внутренние дела, необходимо в то же время выявить цели национально-революционной борьбы в области внутреннего государственного, и народно-хозяйственного, и финансового строительства страны.

Опыт южно-китайской революции определенно показал, что национальное возрождение Китая и правильное решение всех внешних и внутренних его проблем возможно только после уничтожения или, по крайней мере, ослабления туземного милитаризма.

Если на юге Китая, в Кантоне, имеются уже некоторые достижения, если там можно уже ставить вопрос о строительстве новой жизни, то на севере — основной задачей времени является еще развертывание, расширение и оформление самого процесса движения.

Картинки с натуры.

Р. Акульшин.

I. «Советское стадо».

Родное Поволжье, обделяемое небом в предыдущие годы, в последнее лето захлебнулось дождями.

Прошел август, проходит сентябрь, а дожди льют и льют, и конца им не видно.

Гниет необмолоченный хлеб, позеленели ометы снопов, зерно прорастает в колосе, в сплошную неразделимую массу превращаются хлебные башни.

Всем ли понятен ужас, когда во время молотьбы стремительно надвигается туча?

Нужно скорее убрать то, что находится на току, или получится тюря, обмолоченное смешается с мякиной, сушить негде, зерно набухнет, прорастет, погибнет двадцать-тридцать пудов.

Страшен какой-нибудь единственный за все время молотьбы ливень, а что же переживают крестьяне теперь, когда солнце почти не показывается?

Сноп не отдернешь от снопа. Работа стоит. Хлеб гибнет...

— Обезживотели, — жалуются мужики и бабы, — только кой-как растащишь колос от колоса, не успеет просохнуть, а он, проливной, тут как тут... Эх ты, чортово небо, когда ты будешь по указке человечьей работать?

Закрома пусты. Нет ни муки, ни зерна. Если кто-либо умудряется высушить снопов десять на печке, обмолотить и смолоть на муку, к нему идут со всех дворов:

— Дай хоть ведерко, голодные сидим...

И в несколько минут весь помол по чашке, по ведерку по соседям бывает роздан.

Урожай не реализован. А налоговым комиссиям до этого нет дела. Центр дает директивы губернии, губерния — уезду, последний — волости. Примерны и аккуратны работники виков. Видят, что хлеб не убран, но раз свыше приказывают, — умри, а плати, плати, чем хочешь, хоть собственной шкурой.

Крестьян предупреждают:

— К такому-то сроку должна быть ликвидирована задолженность по семссуде, по голодному году и все прочие недоимки.

Срок наступает. Дожди льют. Закрома пусты. Платить нечем. Выход? Подождать. Но ждать не разрешается. И в права вступает излюбленный во все времена способ: описать имущество, а после вторичного предупреждения отобрать описанное. В опись прежде всего попадает скот — коровы, телята, овцы, свиньи.

Скотина описана, скотина уведена с хозяйского двора. Куда ее девать? Местные прасолы не покупают.

Ждет начальство ярмарок осенних, а до тех пор милиционер или очередной гражданин по предписанию Совета пасут отобранную скотину, всю вместе — коз, овец, коров, телят и свиней.

«Советское стадо»... Жалости достойно это необычайное сборище всевозможных скотов под наблюдением милиционера.

Разве для этого на нем фуражка с красным околышем? За людскими порядками впору углядеть...

Льет дождь, сечет бесприютных...

Визгом, мычаньем, блеяньем оглашается пастбище... Неподалеку поезда пробегают. Плачут паровозные свистки... Не слышно их за воплями скотов бессловесных... Как тут водворишь дисциплину, как внушишь четвероногим не проявлять шумной тревоги, а мирно щипать мокрый, зеленый корм? Верно чувствуют скоты необычность своего положения и, задрав хвосты, удирают от блюстителя тишины и спокойствия.

Вырвались из коллективного стада, к прежним дворам бегут, где родились и провели детство и юность, лелеемые любящей хозяйской рукой...

Юзжат свиньи у калиток, просятся на двор печальные коровы.

Но строго-престрого воспрещается давать приют беглецам...

Мычи, визжи, — не раскроет калитку хозяйка, не напоит теплым пойлом, не подстелет свежей соломки...

— Отобрали, а не смотрят, ведь жалко глядеть на них, на беспризорных... Ванька, отгони на «советский двор»...

И Ванька или Гришка гонит буренку в «концентрационный» скотский лагерь... У хозяйки рука не поднимается взять хворостину и этой хворостиной указать от ворот поворот той, которая несколько лет встречалась с кусочком хлебца и доилась в чистый подойник.

Паршивеют овцы и свиньи. Перегорает молоко у коров.

Волк зарезал двадцать молодых уток — хозяйке все равно. Напуганные овцы убежали за село, — хозяйка нейдет их искать...

— Все равно отберут, пусть лучше волки с'едят, все не так досадно будет.

На ночь «советское стадо» загоняется на «советский двор». Понимают скоты, что арест на них, неповинных, наложен, стонут на разные голоса. Нельзя спокойно мимо пройти. Хоть бы ярмарки скорей. За много верст с'езжаются на них покупатели. Купят они по дешевке скот, наживут барыши, и крестьяне урок получат.

— Много нам не нужно, — вздыхают мужики, — а хоть чуть-чуть... Когда не было соли, немножко посолишь, и совсем другой вкус...

Бегут крестьяне из деревни, бегут от «крестьянской должности» в город, надеясь там найти себе покой...

Гибельно успокаивать себя несуществующим благодушием крестьян. Недостаточно повернуться «лицом к деревне». Можно и повернувшись ничег› не видеть. Пора громко возгласить новый лозунг:

«С открытыми глазами к деревне».

К ее нуждам, к ее возможностям, к ее пожеланиям. Местные власти дисциплинированы. Это хорошо. Но одной дисциплины недостаточно. Должно быть сознание... Нужно оставить излюбленные меры воздействий на крестьян.

Центральные власти, давая предписания, должны оговариваться на случай местных затруднений, запозданий по тем или иным причинам.

II. Шестьдесят ведер сорокаградусной.

Каждую весну размывает половодьем плотину, каждое лето возятся над мостом сотни людей, тратят время, силы, средства. Сделают мост к осени, а немного погодя совсем в нем надобности нет... Лед всяких мостов прочнее...

В этом году с мостом недолго возились, технические ухищрения в ход пустили... Да здравствует техника! — к середине лета загремели по мосту бесконечные телеги на базар и с базара...

Но не прошло недели, обнаружились дефекты в сооружении, стал мост ходуном ходить, стали доски пешеходов по лбу угощать, а лошади и люди — в «трещинки» до колен проваливаться...

Вышел приказ от начальства:

— Не пропускать через мост, в упреждение несчастья, возов с видимой тяжестью, не позволять пешеходам пляски на мосту разводить, а, будучи в спокойном виде, по сторонам озираться старательно.

Поставлен был милиционер за исполнением приказа наблюдать и ослушников штрафовать нещадно.

И вот настал базарный день. И нужно было (почему именно в этот день?) везти для недавно открывшегося отделения Центроспирта № 351 шестьдесят ведер «хлебного вина», что то же — русской горькой (в отличие от «крестьянской горькой» — самогона) через «живой» мост...

Эпитет «живой» был приложен к мосту крестьянами и указывал скорее не на жизнеспособность сооружения, а на постоянные вибрации свай, балок, перекладин, досок и перил...

Другой эпитет моста более понятен:

— Трясучий.

Рыдван, запряженный парой лошадей, под'ехал к мосту. Возница был остановлен, но стоянка почему-то продолжалась недолго... Лошади тронулись, колеса покатились, и докатились до середины... Дальше им не пришлось катиться. Мост не выдержал тяжести и обрушился, а пара лошадей, возница

и шестьдесят ведер горькой, разлитой в бутылки, полбутылки и шкалики, ухнули в шумящую пучину плотины...

Возница, не умевший плавать, вероятно, был уверен, что его, конечно, спасут... И на том и на другом берегу были сотни людей всякого возраста...

О несчастьи долетел слух до базара, и тысячи людей хлынули к мосту спасать погибавшее... Погибал человек, погибала пара лошадей, погибали шестьдесят ведер горькой...

Парни и мужики второпях раздевали штаны и рубахи, подвигом спасения заразились бабы...

— Там, там ныряйте!.. Туда теченьем должно отнести!..

И люди ныряли. И доставали. И тут же, в воде, сворачивали головки и выливали в себя...

Слишком велик соблазн — только нырни, и пей, сколько душе угодно...

Послышались песни спасителей. Подростки и дети не могли оставаться равнодушными и прыгали вниз головами, а, доставая бутылки, вырывали друг у друга, роняя в свалке добытое.

Потрясающие кадры можно было заснять кино-глазу.

Базар опустел. Торговцы закрыли лавочки и тоже побежали спасать.

К полдню (подвода с грузом переезжала мост утром) все бутылки, полбутылки и шкалики были спасены.

Из упавшего в воду не досчитались лишь возницы и пары лошадей.

Задрожали избы от песен тысячной армии спасителей. Пролетавшие над селом вороны вздрагивали от испуга и, неловко хлопая крыльями, летя зигзагами, торопились подальше от неожиданно развеселившихся.

III. Каменотесы.

Окончили ребятишки трехлетку. Охота еще поучиться, а четвертого учителя не дают, четвертой группы не открывают. Как быть? Собрались ребята все вместе, пошли в соседнее село, за десять верст, разыскали заведующего второй ступенью, просят, умоляют:

— Примите нас, до смерти охота учиться!

Какая жажда знания в глазах, в умоляющем голосе, в тревожно бьющихся сердчишках!

Не новость для заведующего небывалая тяга к ученью, не всесильный он человек.

Погладил ребят по русым и черным волосам (радуются, — «значит, примет»). А потом руками развел, тихо, со вздохом сказал:

— Не могу вам помочь, ребятки, своим сельским приходится отказывать, мест нет, поймите меня, мои хорошие.

Не повернулся язык упрашивать; по глазам заведующего поняли, что правду говорит, молча обратно пошли — полями и лесом, лугами и тропинкой вдоль речки. Идут, а листья с деревьев падают, журавли под небесами курлычут... Улетают журавли. Все дальше и дальше уплывает треугольник

в осеннем небе. Птицы увидят море, теплые страны, пролетят над городами и селами, над полями и лесами. Летят мысли ребят за журавлями. А небо ясное, тишина... Сороки на осинах стрекочут... Туда с песнями шли, обратно—молча, думают про себя и никак не могут понять: почему нельзя больше школ настроить, всякого, кто хочет, разным наукам обучать.

К речке подошли. Бросил кто-то камешек в воду, поплыли в разные стороны круги... Словно в кругах в этих мысли хорошие:

— Постойте, постойте, что я придумал.

Заблестели у всех глаза.

— Что?

— Составим прошение нашим учителям, они с нами позанимаются. Первых, вторых и третьих отучат, а потом нас, во вторую смену. Каждый по одному уроку, и хватит.

— Ну, давайте прошение составлять.

Уселись на обрыв берега, свесили ноги, у Ваньки в руках карандаш и бумага, у всех остальных слова на языке.

— Самое главное, чтобы начин хороший.

— Вот как давайте: «Дорогие наши, добрые, учитель и учительницы».

— Мишка, как по-твоему дальше?

— По-моему вот как: «Вот вы нас учили три года — чево это? Разве в три года все науки узнаешь? Вы, наверно, лет по десять учились? Нам хошь не десять, нам и восемь хватит»...

— На восемь не согласятся.

— Не перебивайте... «И вот просим мы вас все — позанимайтесь с нами еще годик один, а тогда, может быть, новую школу откроют поближности. Не беспокойтесь, дорогие наши учителя, мы не будем озоровать и хулиганить. Будем слушать вас, что ни скажете, и никогда не рассердим, не придется вам стукать руками по столу, а ногами по полу. Даем слово».

— Хорошо. Снова начинай, пореже, а Ванька будет записывать.

— А я позабыл, что сказал.

Немножко не так, как сказал Мишка, написали прошение, двадцать три подписи вывели старательно. На другой день в сельсовет пришли для заверения. А там прикрикнули:

— Кто вам разрешил?

Нашлись ребята:

— Просить без разрешения можно. Нищий просит, ему не говорят: «как ты смеешь милостыню просить?». Не хочешь — не давай... Не согласятся учителя, ничего не поделаешь, а согласятся — спасибо скажем...

Согласились учителя. Окончат ребята четвертую группу, разгорится желание еще сильней, захочется во второй ступени учиться. А что после второй ступени?

Много-много сейчас молодежи со второступенским образованием. Несчастные это люди.

Получив обрывки знаний, они (главным образом, девицы) прежде всего изменяют покрой своего платья, ботинок, форму прически. Они заботятся

о том, чтобы не истощался запас косметических снадобий, они считают себя вправе не заниматься крестьянской работой, не пылиться на гумне, вечерами долго гулять, спать по-благородному до двенадцати часов. Они воротят нос от похлебки и затирухи. Их культурные желудки требуют сметаны и прочих деликатных кушаний. Родители перед ними ходят на цыпочках. Необразованные сверстники боятся с ними водиться. — «Где уж нам с «калитурными» якшаться. Может быть, дальнейшее образование и вытравило бы ложно понятую культуру, но нет возможности у родителей определить выбитых из колеи детей в городскую школу, в техникум, на какие-нибудь курсы... Учились во второй ступени, потому что школа в своем селе, лишних расходов не требовалось, а в город без денег не прыгнешь, а деньги на дороге не валяются.

Изнывают «образованные» от деревенской скуки. Тоска смертная глядеть на них: ни рыба, ни мясо, ни вороны, ни павы. Матерям непонятно, почему дети стали другими.

— Ну, хошь бы в иные земли ездили, диковин каких нагляделись, а то ведь дальше выгона да лугов носа не казали... Неужто от школы вреда неизлечимая?

Идут образованные девки гулять на дамбу, дырявится шоссе от каблуков праздношатающихся.

Так и говорят местные граждане:

— Вон каменотесы на разгул пошли, последние камни на шоссе каблуками обтесывать.

IV. Огненный змей.

Стали слухи по селу ходить — змей по ночам летает, безбожников хватает, в колодец запихивает... Все боялись, а комсомольцы не верили.

— Никаких змеев не признаем.

На словах-то храбры, а как до факта дошло, не выдержала кишка. Наш брат, беспартийный, как смеркнется, домой скорей, а комсомолы храбрятся, секретарь выхваляется:

— В полночь на улицу выйти не забоюсь.

— Выходи, коли много штанов сухих, а мы не согласны.

Вот собрание комсомольское кончилось, у наших собрания короткие:

— Считаю открытым. У кого есть вопросы?.. Ни у кого? Ну, считаю собрание закрытым.

Другие комсомольцы, которые с головой, после собрания по домам, а секретарь нарочно ходит, змея дожидается. Вот в полночь шум по небесам и сияние... Секретарь бежать, а голос с неба: «ни с места». Сидеть бы в колодце храбрецу, да во-время перекреститься догадался, рассыпался змей огненным дождем, а секретарь свету не взвидел.. Бежит, как чумовой, калитки не видит, земли не чует, с разбегу не в дверь, а в окно угодил, два больших звена высадил (расход не маленький).

Дома перепужались:

— Что ты, что с тобой? Да воскреснет бог.

А секретарь знай одно твердит:

— Есть великая сила природы.

Твердый все-таки секретарь. Душа в пятки ушла, а бога не помянул,— ›ирода,—говорит. А дня через три весь народ узнал квартиру змееву. Сын ›пов каждый вечер в гнилушки наряжался: натычет гнилушек в голову, за уши, и за ворот, как жар гнилушки в темноте горят. Подбежит к дев-ым и парням, стряхнет гнилушки, а дураки думают — змей. Только Семка ›утасов не забоялся, огрел змея железным прутом, теперь лежит змей, ‹ает, умрет, наверно, дня через три. Попадья всем жалуется. А по-нашему — › озоруй. Ей сына жалко, а секретарю комсомольскому денег на стекло › жалко? И опять же конфуз перед нами, беспартийными. Природа при-идой, а струсил зачем? А на войну возьмут, а бомбардировка зачнется? ›да таким зайцам?.. То-то...

Сентябрь 1926 г.

V. На подножном корму.

Во время сева лошадей нужно кормить усиленно, а в нынешний сев их чти не кормили. Вместо сена, овса, отрубей, их угощали подножным кор-м, тем, что успело вылезти из земли в нынешнюю позднюю весну. Но дножный корм не там, где пашут и сеют, а в шести — семи верстах, на рáх...

Как же ухитрялись наши землеробы? На ночь они уезжали с лошадьми пар, ночным потреблением тощей травки лошади должны были держаться лый день... Но голод не перехитришь: несколько лошадей пало в полевой ряжке.

Сейчас на подножном корму не только крестьянские лошади и коровы, и около половины всех жителей: с утра до вечера цедят бреднями холод-о воду озер и болот, в надежде поймать на варево мелкой рыбешки, бродят лугам, разыскивая щавель; ребятишки просят милостыню; курящие люди, неимением средств на махорку, выдергивают мох из пазов.

Остановили меня недавно в одном переулке бабы.

— Развесели нас, вдов горьких...

Говорят с улыбкой, а чувствую, как слезы в глазах накипают... Тут же ›ятишки — грязные, рваные... Стали вдовы о жизни своей рассказывать. ‹а уж два дня крошки в рот не брала, у другой еще на день хватит, альше не знай как, у третьей, у четвертой не лучше.

— А как же ребятишки?

— Все так же... Даст кто — поедят, не даст — натощак ложатся... ›еня вон их четверо... Зимой босиком по снегу бегали. Думала — просту-ся, захворают, уберет бог, а они хоть бы один разочек кашлянули, ничего не берет, ни холод, ни голод...

Слушая бабьи жалобы на своих крепких детей, бегающих босыми по су-бам, словно по июньской зелени, переношусь мыслями к своим московским комым... Как бывают огорчены папы и мамы, если их детки не поедят кури-о бульона, если детки попадают под струю воздуха из оконной форточки...

Городские папы и мамы любят своих детей, они дрожат за их жизнь, а разве деревенские не любят, разве мать, посылая своего босого ребенка побегать по снегу, не рвет на себе волосы, не обжигает свою душу безысходным страданием?..

Есть у нас комитет взаимопомощи, но в его распоряжении ни копейки, и голодного председателя комитета качает ветром... А ветры у нас не затихают. Дуют и дуют вдоль села, растянувшегося на семь верст в длину... Ужалит шальная искра, взлетит на воздух все село, все семьсот пятьдесят дворов. Нет у нас ни пожарного насоса, ни бочек, ни лошадей, и пожарный сарай на топливо растащен.

Невесело в селе, когда бедность из каждой щели ползет. Избы крестьянские тогда, как живые... Посмотришь на них, и видишь, что творится за их стенами, так же, как по выражению человеческого лица видишь все изгибы душевного настроения...

С детства казались мне живыми деревенские избы, и теперь эта фантазия детства не померкла... Против нас — хороший, крашеный дом под жестью... Но в резьбе и фестонах оконных наличников, и во всем фасаде какая-то затаенная грусть... Как не грустить этому дому: в голодный 1921 год умерли с голоду почти все его обитатели, а оставшиеся в живых продали его за два пуда хлеба... Рядом с этим — покосившаяся изба... Соломенная крыша снята... Глиняная обмазка стен местами облупилась. Как живет хозяин избы? Бьется. Всячески старается поправить свое хозяйство, принимался варить самогон, но от самогона еще больше разорился... Все летит прахом, дохнет скотина, с каждым годом все больше кренится на сторону изба. Вон — третья. Во всем облике — заносчивость, неприветливость... В украшениях — топорность... Хозяева скряги. Скопили много пудов хлеба, родственники умирают с голоду, хозяевам жалко поделиться пылинкой муки.

Много у нас изб. Все не опишешь... Каждая имеет свою историю, свое лицо, свою душу, истерзанную переживаниями... В непогоду, в осенние дожди скорбь деревенских изб выражается молчаливыми слезами окон и грустными стонами печных труб.

VI. Где бы найти клад?

Восьмилетний голодающий Санька, ложась спать, мечтает:

— Мама, что бы мы завтра проснулись, а у нас в избе сто пудов хлеба, да лошадь, да сахару пять фунтов, да сапоги бы мне и Сережке... Это бы все с неба упало, а? Хорошо бы, мама?

Старший брат Сережка говорит:

— Как же упадет, в трубу, что ли? В трубу не влезет, а в другом месте крыша и потолок...

И маленький восьмилетний Санька не прочь проделать отверстие в крыше и потолке, чтобы небесным гостинцам удобнее было попасть в избу... Мальчик живет своей мечтой, мечтают и взрослые о кладах. Но все клады извлечены из земли, и уж не цветет папоротник в ночь на Ивана-Купалу...

А мужики ищут, настойчиво ищут кладов, ищут облегчений для себя, утешения, надежды... Полтора года назад их поиски происходили в темноте, и не было никакой уверенности, что лопата, ищущая клад, встретит под темными пластами какие-нибудь сокровища. Так было полтора года назад, когда на семьсот пятьдесят дворов не было ни одной газеты, ни одного журнала, а вот их сколько в настоящее время: «Крестьянская Газета» — 23 экз., «Беднота» — 3 экз., «Деревня» (губернск. крестьянск. газета)—7, «Коммуна» (губернск. газета) — 1, «Землероб» (уездн. газета) — 2, «Правда» — 1, «Кустарь и артель» — 3, «Сам себе агроном» — 3, «Безбожник» — 1, «Сеятель правды» (губернск. крестьянск. журнал) — 1, «Журнал крестьянской молодежи» — 1, «Изба-читальня» — 1. Сорок семь экземпляров. Из них двадцать три «Крестьянской Газеты» потому, что она дешевле всех, и главным образом потому, что она устраивает два раза в год лотерею...

В лотерею наши мужики не верили до тех пор, пока крестьянин соседнего села не выиграл кабана. После этого на газету стали усиленно подписываться, и уже есть счастливцы в нашем селе: один выиграл косу, другой — билет, освобождающий от уплаты страховых сборов в течение десяти лет.

Но тот, кому достался этот билет, не имеет никакого хозяйства и никакой живности, ему от выигрыша мало толку... Загорюнился мужик, а ему говорят:

— А ты продай его...

— А можно?

Справился — можно, и продал за двадцать пять рублей. Большие это деньги там, где копейка редко за душой бывает.

Недавно один мужик спрашивает меня:

— Какая самая подходящая газета для крестьянина?

— А вы какую-нибудь выписываете?

— Выписываю «Бедноту»... Газета хорошая, понятная, только розыгрышей не устраивает...

— Тогда «Крестьянскую» выпишите...

— А нет такой газеты, которая три или четыре раза в году устраивает розыгрыши?..

— Такой газеты пока нет..

— Жалко... Такую газету каждый бы человек выписывал...

Курящие убедились, что когда не выписывали газету, больше тратилось денег на бумагу, а теперь бумага даже остается, и новости всякие узнают, и на выигрыш надеются, и себя просвещают, и стены оклеивают. Многие говорят:

— Сначала выписывал на пробу, а теперь всегда буду выписывать, в чем другом себе откажу, а без газеты теперь не стану жить.

Так как в газете ищут утешения в бедности, ищут ответов на волнующие вопросы, то и читают ее главным образом те, кто уже на своих плечах испытал трудность ведения крестьянского хозяйства, — читают домохозяева, семейные крестьяне. Молодежь по-прежнему веселит себя песнями и самодельными балалайками.

Май 1926 г.

О М. М. Пришвине [1].

М. Горький.

Писать о Вас, Михаил Михайлович, не легко, потому что надобно писать так же мастерски, как пишете Вы, а это, я знаю, не удастся мне.

И есть какая-то неловкость в том, что М. Горький пишет нечто вроде пояснительной статьи к сочинениям М. Пришвина, оригинальнейшего художника, который почти уже двадцать пять лет, отлично работает в русской литературе. Как будто я подозреваю читателей в невежестве, в неуменьи понимать.

Неловко мне писать еще потому, что хотя работать я начал раньше Вас, но, внимательный читатель, я многому учился по Вашим книгам. Не думайте, что я сказал это из любезности или из «ложной скромности». Нет, это правда, — учился. Учусь и по сей день и не только у Вас, законченного мастера, но даже у литераторов моложе меня лет на тридцать пять, у тех, которые только что начали работать, чьи дарования еще не в ладах с уменьем, но голоса звучат по-новому сильно и свежо.

Учусь же я не потому только, что «учиться никогда не поздно», но и потому, что человеку учиться естественно и приятно. А прежде всего, конечно, потому, что художник может научиться мастерству только у художника.

Учиться я начал у Вас, М. М., со времен «Черного араба», «Колобка», «Края непуганных птиц» и т. д. Вы привлекли меня к себе целомудренным и чистейшим русским языком Ваших книг и совершенным уменьем придавать гибкими сочетаниями простых слов почти физическую ощутимость всему, что Вы изображаете. Не многие наши писатели обладают этим уменьем в такой полноте и силе, как Вы.

---

[1]) Алексей Максимович написал это для собрания моих сочинений, которое скоро я думаю выпустить в свет. Письмо Горького вышло из целого ряда писем, которые писал он мне по поводу моих книг. Известно, что Горький не мне одному пишет письма о книгах, он самый внимательный читатель и пишет их не по-дурному, а по-хорошему, так что всегда от них остается: не по милу хорош, а по хорошу мил. „Статья“ эта так искусно написана, что восторженно-преувеличенное отношение автора к моим писаниям как-то совсем не стесняет, вероятно потому, что преувеличение идет в сторону правды, где нет ни больших, ни маленьких писателей, а только поток общечеловеческих творческих сил.

Михаил Пришвин.

Но, вчитываясь в книги Ваши, я нашел в них еще одно более значительное достоинство и уже исключительно Ваше: ни у кого из других художников русских я его не вижу.

Писать пейзаж словами у нас многие очаровательно умели и умеют. Стоит вспомнить И. С. Тургенева, аксаковские «Записки ружейного охотника», превосходные картины Льва Толстого. А. П. Чехов «Степь» свою точно цветным бисером вышил. Сергеев-Ценский, изображая пейзаж Крыма, как будто Шопена на свирели играет. Есть и еще много искусного, трогательного и даже мощного в изображении пейзажа нашими мастерами слова.

Я очень долго восхищался лирическими песнопениями природе, но с годами эти гимны стали возбуждать у меня чувство недоумения и даже протеста. Стало казаться, что в обаятельном языке, которым говорят о «красоте природы», скрыта бессознательная попытка заговорить зубы страшному и глупому зверю Левиафану-рыбе, которая бессмысленно мечет неисчислимые массы живых икринок и так же бессмысленно пожирает их. Есть тут что-то похожее на унижение человеком самого себя перед лицом некоторых загадок, еще неразрешенных им. Есть нечто «первобытное и атавистическое» в преклонении человека пред красотой природы, красотой, которую он сам, силою воображения своего внес и вносит в нее.

Ведь нет красоты в пустыне, красоты в душе араба, — и в угрюмом пейзаже Финляндии нет красоты, — это финн ее вообразил и наделил ею суровую страну свою. Кто-то сказал: «Левитан открыл в русском пейзаже красоту, которую до него никто не видел» И никто не мог видеть, потому что красоты этой не было и Левитан не «открыл» ее, а внес от себя, как свой человеческий дар Земле. Раньше его Землю щедро одаряли красотою Рюйсдаль, Клод Лоррен и еще десятки великолепнейших мастеров кисти. Великолепно украшали ее и ученые, такие, как Гумбольдт, автор «Космоса». Материалисту Геккелю угодно было найти «красоту форм» в безобразнейшем сплетении морских водорослей и в медузах, он нашел и почти убедил нас: да, красиво. А древние эллины, тончайшие знатоки красоты, находили, что — медуза отвратительна до ужаса. Человек научился говорить прекрасными, певучими словами о диком вое и реве метелей зимних, о стихийной пляске губительных волн моря, о землетрясениях, ураганах. Человеку и слава за это, пред ним и восторг, ибо это сила его воли, его воображения неутомимо претворяет бесплодный кусок Космоса в обиталище свое, устроя Землю все более удобно для себя и стремясь вовлечь в разум свой все тайные силы ее.

Так вот, М. М., в Ваших книгах я не вижу человека коленопреклоненным перед природой. Да, на мой взгляд и не о природе пишете Вы, а о большем, чем она, — о Земле, Великой Матери нашей. Ни у одного из русских писателей я не встречал, не чувствовал такого гармонического сочетания любви к Земле и знания о ней, как вижу и чувствую это у Вас.

Отлично знаете Вы леса и болота, рыбу и птицу, травы, зверей, собак и насекомых, — удивительно богат и широк мир, познанный Вами. И еще удивительней обилие простейших и светлых слов, в которые Вы воплощаете любовь Вашу к Земле и ко всему живому ее, ко всей «биосфере». В «Башма-

ках» сказано Вами: «хочется довести силу слова до очевидности физической силы».

Читая «Родники Берендея», я вижу Вас каким-то «лепообразным отроком» и женихом, а Ваши слова о «тайнах земли» звучат для меня словами будущего человека, полновластного владыки и Мужа Земли, творца чудес и радостей ее. Вот это и есть то, совершенно оригинальное, что я нахожу у Вас и что мне кажется и новым, и бесконечно важным.

Обычно люди говорят Земле:

— Мы — твои.

Вы говорите ей:

— Ты — моя.

А это так и есть: Земля больше наша, чем мы привыкли думать. Замечательный русский ученый Вернадский талантливо и твердо устанавливает новую гипотезу, доказывая, что плодородная почва на каменной и металлической планете нашей создана из элементов органических, из живого вещества. Это вещество на протяжении неисчислимого времени раз'едало и разрушало твердую, бесплотную поверхность планеты, вот так же, как до сего дня лишаи «камнеломки» и некоторые другие растения разрушают горные породы. Растения и бактерии не только разрыхлили твердую кору земли, но ими создана и атмосфера, в которой мы живем, которой дышим. Кислород— продукт деятельности бактериорастений. Плодородная почва, из которой мы добываем хлеб, образована неисчислимым количеством плоти насекомых, птиц, животных, листвою деревьев и лепестками цветов. Миллиарды людей удобрили Землю своей плотью — поистине, это — наша Земля.

И вот это ощущение Земли, как своей плоти, удивительно внятно звучит для меня в книгах Ваших, Муж и Сын Великой Матери.

Я договорился до кровосмешения? Но ведь это так: рожденный Землею человек оплодотворяет ее своим трудом и обогащает красотою воображения своего.

Вселенная? Благоустройством вселенной искусно и усердно занимаются космологи, астрономы, астрофизики. Уму и сердцу художника ближе и важнее благоустройство его Земли. Космические катастрофы не так значительны, как социальные. От того, что где-то в недрах Млечного пути угаснет чужое нам солнце, наше небо не станет беднее и темней. Солнце вспыхнет снова, но вот уже прошло девяносто лет, а новый Пушкин не родился.

Тайны Космоса не столь интересны и важны, как изумительная загадка: каким чудом неорганическое вещество превращается в живое, а живое, развившись до человека, даст нам Ломоносовых и Пушкиных, Менделеевых и Толстых, Пастера, Маркони и сотни великих мыслителей, поэтов, работников по созданию второй природы, творимой нашей человеческой мыслью, нашей волею?

По вашим книгам, М. М., очень хорошо видишь, что Вы человеку — друг. Не о многих художниках можно это сказать так легко и без оговорок, как говоришь о Вас. Ваше чувство дружбы к человеку так логически просто исходит из Вашей любви к земле, из «Геофилии» Вашей, из геооптимизма.

Иногда кажется, что Вы стоите на какую-то одну ступень выше человека, но это отнюдь не унижает его. Это вполне оправдано Вашей сердечно зоркой дружбой к нему, каков бы он ни был: злой по нужде или добрый по слабости мучитель из ненависти к мукам или жертва из привычки покорствовать фактам. Ваш человек очень земной и в хорошем ладу с Землею. У вас он более «гео- и биологичен», чем у других изобразителей его, он у Вас — наизаконнейший сын Великой Матери и подлинная живая частица «Священного тела человечества». Вы как-то особенно глубоко и всегда помните, насколько мучителен и чудесен был путь его от эпохи кремневого топора до аэроплана.

А главное, что восхищает меня, это то, что Вы умеете измерять и ценить человека не по дурному, а по хорошему в нем. Эта простая мудрость уcваивается людьми с трудом, да и усваивается ли? Мы не хотим помнить, что хорошее в человеке — самое удивительное из всех чудес, созданных и создаваемых им... Ведь в сущности-то у человека нет никаких оснований быть «хорошим», доброе человеческое не поощряется в нем ни законами природы, ни условиями социального бытия. И все-таки мы с Вами знаем не мало воистину хороших людей. Что делает их такими? Только желание. Иных мотивов я не вижу: человек хочет быть лучше, чем он есть, и это ему удается. Что на Земле нашей более великолепно и удивительно, чем это сложнейшее существо, хотя исполненное противоречий, но воспитавшее в себе страшную силу воображения и дьявольскую способность всесторонне осмеивать себя самого?

Любоваться человеком, думать о нем я учился у многих, и мне кажется, что знакомство с Вами, художником, тоже научило меня думать о человеке — не умею сказать как именно, но лучше, чем я думал.

И особенно русский человек после того, что пережито, и притом, что переживается им, заслуживает какого-то иного более повышенного отношения к нему, более внимательного и почтительного. Разумеется, я очень хорошо вижу, что он все еще не ангел, но мне и не хочется, чтобы он был ангелом, я хотел бы только видеть его работником, влюбленным в свою работу и понимающим ее огромное значение.

Для всех нас, встающих на ноги к творчеству новой жизни, глубоко важно, чтобы мы почувствовали себя родными и близкими друг другу. — Этого требует суровое время, в котором мы живем, и грандиозная работа, за которую взялись.

«Еже писах — писах».

Вероятно — в чем-то ошибся и что-то преувеличил. Но, может быть, я и ошибся и преувеличил, зная, что делаю, ибо, как известно, я человек умствующий и в некотором отношении заносчивый. Я думаю, что ошибаться в ту сторону, куда ошибаюсь я — не вредно, ибо я делаю это не потому, что я намерен утешить себя или ближних «возвышающим обманом», а по предчувствию, что ошибаюсь в сторону той правды, которая неизбежно осуществится, которая одна только и необходима людям, которой они и должны воодушевить самих себя, Мужей Земли.

В поисках темы.

Д. Горбов.

Наша литература переживает период поисков темы. На первый взгляд может показаться странным, в чем здесь затруднение для писателей, вышедших из тех слоев или опирающихся на те слои, которые были и продолжают быть главными действующими силами развертывающегося строительства нашей страны.

Спору нет, у современного писателя в России материала хоть отбавляй. Но и богатство приносит затруднения. Не всякий материал является художественной темой, а лишь тот, который обработан художественной мыслью, уточнен, индивидуализирован и обобщен пристальным взглядом художника. Художественная тема есть одновременно и материал и мастерство, притом об'единенные не в простую сумму, но в творческий, активный синтез.

Огромность стоящих перед современным писателем задач, обусловленная безмерным богатством и сложностью жизненного материала, настоятельно требующего своего разрешения, колоссально усложняет задачу художника: задачу уточнения, индивидуализации и обобщения этого материала. Подавленный огромностью последнего, художник зачастую недорабатывает его. Хроника, как литературный жанр, отвоевала себе право на бытие, бесспорно. Покойный Фурманов своим «Чапаевым» показал, что в этой форме таятся не малые художественные возможности. Однако и он хорошо чувствовал опасность ее, поскольку она освобождает писателя от доброй доли его творческих усилий, возлагая значительную часть ответственности за глубину и силу впечатления на материал, который призван говорить в этом случае как бы сам за себя. Портфель покойного Фурманова показывает, что смену эпохи он встретил поисками новых тем — психологических и детальных.

Эту чуткость, однако, проявляют далеко не все наши писатели. Подача материала сырого или во всяком случае внутренне-недоработанного практикуется у нас довольно широко. И — шила в мешке не утаишь! — особенно широкое применение прием этот находит у писателей пролетарских. Свидетельствует ли это об отсутствии у этой группы дарования? Конечно, нет. Это об'ясняется, во-первых, ее молодостью, — физической молодостью

подавляющего числа ее представителей, с одной стороны, и молодостью самого общественного явления, еще не создавшего своей традиции на основе усвоения художественных ценностей предшествующей художественной культуры, с другой. А во-вторых, как нам кажется, тут есть и другая, более глубокая причина, сводящаяся в конечном счете к дистанции между художником и предметом изображения. Ведь не может быть, кажется, сомнения, в том, что расстояние между художником попутнических слоев, с одной стороны, и современным строящимся бытом — с другой, значительней, чем расстояние между этим бытом и художником, вышедшим из тех самых масс, которые его строят. В первом случае расстояние это дано так сказать «по природе», самым существом обоих общественных явлений; во втором оно, как предпосылка, отсутствует, вследствие чего необходимая для обобщения перспектива может быть обретена лишь в результате работы над собой, более длительной и самоуглубленной, чем в первом случае. Конечно, мы не касаемся здесь вопроса о том, в каком случае мы вправе ожидать наиболее ценного и правильного обобщения, — об этом ниже. Здесь мы имеем в виду исключительно легкость подступа к обобщению.

Каждый причастный к редакционной работе в наши дни знает, какое огромное число тянущихся к художественному слову рассеяно по огромным пространствам Союза, во всех его социальных этажах, но, главным образом, среди рабочих и крестьян. Как во все времена и во всех классах общества, избранных здесь значительно меньше чем званых. Из всего присылаемого печать видит, разумеется, лишь незначительную часть. Но для познания пути литературы, для учета трудностей, встречаемых на этом пути, и отвергаемое далеко не бесценно. Редакционная корзина — немаловажный социальный показатель. Как суд разоблачает перед нами изнанку быта, так редакционная корзина разоблачает изнанку литературы. О чем же говорит эта масса «отреченных», извергнутых из литературного оборота писаний? Она говорит о том, что современный начинающий писатель в своих литературных исканиях то-и-дело упирается в стену: он — в плену у действительности, в темнице быта. Он переживает период своего рода «наивного реализма». Все окружающее мнится ему достойным литературного изображения, а единственной возможной формой последнего является прямое описание, не требующее ни комментарий, ни обобщения. Индивидуальное явление, — будет ли это эпизод из эпохи гражданской войны, унылое прозябание того или иного представителя классов, обойденных революцией, ошибка или преступление партийца — господствующая здесь тема. Она пребывает здесь индивидуализированной (так как общее понятие быта складывается из массы индивидуальных явлений), но совершенно не обобщенной и не уточненной.

Читая такое произведение, мы чувствуем, что перед нами, вероятно, реальный случай. Но изображенный в таком неуточненном, неоживленном подробностями, игрою жизненных деталей виде и лишенный в то же время какого бы то ни было социального углубления, он превращается в голое и далекое от художественности констатирование т о г о, ч т о б ы л о. Пафос того, что есть — в наши дни удел подавляющего большинства начи-

нающих авторов, плененных действительностью. Материал индивидуализированный, но не уточненный существенными подробностями и не обобщенный художественной идеей, истолковывающей изображаемое — это их писания.

Однако можно ли говорить об этом уклоне, как о чем-то характерном для известной части нашей литературы? Не имеем ли мы здесь дело с чисто технической литературной беспомощностью, а подчас просто-на-просто с бездарностью, по самой своей природе стоящей вне литературы? О графоманах распространяться не приходится, их во все времена — достаточно. Но что касается начинающих, то показательно направление, в котором ими ведутся поиски в наши дни. Ведь в эпоху господства символистов, напр., новичков в литературе было не меньше, чем у нас; однако их поправимые ошибки и безысходные тупики были другие: преобладали грошовый изыск, плакатный вампиризм и сатурналии половой проблемы. Но одно дело быть в плену у действительности, и другое — предаваться эстетизированному словесному распутству...

Как бы то ни было, однако, хотя из этих двух зол пленение действительностью — порок менее страшный, менее угрожающий цельности художника, он все же остается пороком. И говорить о нем приходится в особенности потому, что признаком простого неумения делать вещь он является далеко не всегда. У нас есть целый ряд молодых писателей, уже преодолевших первые шаги литературной грамоты, уже вышедших в литературу и, тем не менее, упорно продолжающих и там бесплодное занятие бытового натуралистического пенкоснимательства. Но у них оно уже перестало быть порождением наивного преклонения перед фактом. На этот раз перед нами — смакование факта, некий натуралистический снобизм, своего рода эстетизм наизнанку. Мы имеем в виду такие произведения, как роман П. Карпова «Карбуш», повести Грабаря («Лахудрин переулок», «Харкотина») и М. Козакова («Абрам Нашатырь, содержатель гостиницы», а также те, из которых составился его сборник «Человечья Закута»). Это не единственные авторы, культивирующие указанное направление, но у них оно нашло наиболее яркое выражение. Для этого направления характерен интерес не к быту вообще, а к задворкам быта, не к психологии, а к тому, что можно было бы назвать отбросами ее. Думают ли эти авторы, предаваясь утомительно длинным описаниям отталкивающего, фрондировать против трафаретного понятия красоты, наподобие того, как в свое время романтики эпатировали рутинера-буржуа, застывшего в оковах отживших понятий о литературных приличиях? Если это так, то они бьют мимо цели. Эстетика грязного и отвратительного не перестает быть эстетикой, условной красивостью, являясь в то же время худшим видом ее. Ведь и буржуазный фрак не становится рабочей блузой от того, что он надет наизнанку и вымазан в грязи.

Что перед нами именно старый эстетический фрак, тщательно разукрашенный свежими пятнами натуралистической грязи, об этом говорит одна особенность. Мусор быта подается этими авторами не с наивной простотой людей, искренно полагающих, что детальность описания и убедительности изображения — одно и то же, а со своеобразным циническим щегольством.

Образы отобраны ими со вниманием, заслуживающим лучшего применения. Стиль кокетливо заботится об единстве впечатления, доводя эстетику отвратительного до мелочей. Таким образом мы имеем дело с довольно тщательно продуманной программой, доводящей наивный бытовой натурализм до степени осознанного литературного направления. О чем говорит этот факт? Он достаточно убедительно говорит о том, что из плена действительности, в котором находится не малая часть молодых пролетарских писателей, поневоле предающихся самодовлеющему бытоописательству, требуется выход. Выход к теме, т.-е. к материалу уточненному, индивидуализированному и обобщенному. Отсутствие достаточной внутренней работы над собой толкает часть этих писателей по линии наименьшего сопротивления: по линии индивидуализации материала. Все внимание направляется на точность описания виденного, того, что было или есть в данном конкретном случае. Мастерство уточнения темы, т.-е. отбора нужных деталей, и мастерство обобщения ее, т.-е. выбора точки зрения, устанавливающей, какие именно детали нужны, — обе эти стороны художественной работы остаются в забросе, как дело наиболее сложное, требующее наибольшего труда над внутренним миром художника. Но, войдя в литературу с одним умением индивидуализировать свой материал, с одной способностью возможно точного описания, писатель чувствует, что руки у него попрежнему связаны, — он попрежнему в плену у действительности. Между тем, он ощущает острую потребность сказать что-то свое, чем-то отличить свой индивидуализированный материал от такого же индивидуализированного материала соседа. Не в силах сам создать характерное за неумением производить активную работу уточнения и обобщения, он требует, чтобы материал облегчил ему дело, создавая характерное за него. Не умея очаровать нас своей собственной работой над материалом по его внутреннему оформлению, он стремится ошеломлять причудливостью, странностью, даже отвратительностью (он готов даже на это, лишь бы дать что-нибудь западающее в память), заложенными в самом материале. Но это не путь искусства, и результат поневоле плачевен.

Выход из этого тупика только в одном: в поднятии своей внутренней культуры на основе тесной увязки своей художественной работы с общим строительством страны. Это — с одной стороны. А с другой — здесь требуется усиление внимания к художественному слову, безответственно насилуемому в угоду факту. Ибо в художественном слове заложены особые законы отражения действительности, в нем заключена соразмерность возможных и нужных взаимоотношений между художником и материалом, которую нельзя нарушать, если хочешь притти к созданию подлинно художественного произведения. Культ художественного слова,—не внешних эффектных его возможностей, а внутренней социальной его полновесности, — вот чего нехватает известной части нашей пролетарской литературы.

Другое направление, также культивируемое, главным образом, пролетарскими писателями, грешит таким же насилием над художественной темой, но уже с другого конца. Если в разобранном выше случае индивидуализирован-

ный материал подается в неуточненном и необобщенном виде, то на этот раз все требования зачеркиваются в угоду одному: именно обобщению. Величайшее пренебрежение материалом, его индивидуальностью, его уточненным построением характеризует это направление, к несчастью, соблазняющее большое количество авторов, только иногда, как бы невзначай обнаруживающих, что пристальное внимание художника-реалиста к действительности, в сущности, им не чуждо. В их произведениях, среди которых есть значительные по замыслу и размерам, голое обобщение-идеология торжественно попирает жизненный материал, третирует его, как что-то третьестепенное и даже не вполне достойное того, чтобы им стоило пристально заниматься.

Между тем, едва ли может быть сомнение в том, что реализм есть именно то единственное направление, в котором художнику подымающихся классов возможно осуществить свою основную задачу, задачу познания действительности и содействия ее перестройке через познание трансформирующих тенденций, заложенных в ней самой. Но именно реализм, если только он хочет оставаться самим собой, не вырождаясь в художественный догматизм и доктринерство, не может подойти к идеологическому обобщению иначе, как только путем непринужденного, ненасильственного выведения его из деталей и мелочей психологии и быта, наблюденных с любовной пристальностью. Конечно, это относится не только к идеологии художественного произведения, но к идеологии вообще. В самом деле, чего стоила бы идеология партии, если бы она не была выведена из действительности именно этим путем — путем пристального изучения всей суммы сложных конкретностей развертывающегося жизненного процесса и выделения из нее характерных для каждого данного момента тенденций? Но истина, очевидная для теоретической мысли, странным образом остается неясной для целого ряда наших художников, позволяющих себе роскошь пренебрежительного дальтонизма к краскам и звукам действительности, которую они намерены изображать. Это тем более странно, что художественная мысль по самому своему темпераменту более всех других видов мышления склонна чутко реагировать на подробности бытия, и если ей грозит какая-либо опасность, то больше всего опасность затеряться в чаще жизненных явлений, опасность утерять нить обобщения, которая одна может вывести из лабиринта их.

Неспособность из-за деревьев видеть лес — большая ошибка, большой недостаток, бесспорно. Но что сказать о художнике, который, изображая лес, оставил нас в недоумении, состоит ли он из живых деревьев с листвой и корнями, или из специально для данного случая натыканных в землю голых жердей? Между тем, с целым рядом наших писателей дело обстоит именно так. Такие произведения авторов, не плохо себя зарекомендовавших, как роман Тверяка «Трактор», поэма Доронина «Тракторный Пахарь» [1]), Дорогойченко «Большая Каменка» (опубликованная в отрывках) и мн. др.

[1]) В этой статье мы, как правило, стихов не касаемся, т. к. тема о путях нашей поэзии требует, по нашему мнению, особого разбора. Поэмы Доронина мы касаемся здесь лишь в той мере, в какой она построена на определенном повествовательном сюжете, этим совпадая с прозаическим произведением.

(этот список можно было бы, по крайней мере, утроить) сплошь и рядом изображают нам такой лес из жердей, — лес, заранее распланированный и посаженный писателем со специальной целью дать его зарисовку. Из большинства произведений этого рода совершенно очевидно явствует, что автор и не ставил себе задачей подойти к действительности вплотную, заинтересоваться ею в том виде, как она существует сама по себе. Автору не до того. На протяжении всей вещи он спешно готовит некое помпезное торжество по случаю именин той или иной солидной особы, вроде «смычки», «тракторизации», «кооперирования», «строительства» и т. д. и т. п.

Вопреки доброй воли авторов, получается благонамеренная советская вампука, способная только вызвать недоверие даже к тем случайно подмеченным верным штрихам, которые туда западают. Так что и с точки зрения идеологической эти произведения не достигают цели. Что же касается художественного их эффекта, то, читая их, переживаешь поистине тяжелые минуты, вероятно, знакомые тем, кому случалось делать продолжительные переходы в пустыне. Если в случае натуралистической установки мы тяготимся множеством никчемных деталей, штрихов и положений, назойливо стремящихся ошеломить нас и сбить наше восприятие с прямого пути, то здесь мы подвергаемся воздействию обратного приема, попадая тем самым в полымя из огня. Автор идеологически-насыщенного творения ведет нас терпеливой и неколеблющейся рукой в унылый и долгий путь по камням и пескам, лишенным растительности и какого-либо признака жизни. Перед нами нет ни одной жизненной детали, ни живого существа, на котором глаз мог бы остановиться. Мы вообще неспособны отличить эту пустыню от множества других подобных же пустынь, куда могли быть занесены капризом автора. И нами овладевает понятная злость, когда автор уверяет нас, что мы идем прохладным и тенистым лесом, полным шума листвы и шороха притаившейся жизни. Он поглощен одной заботой: действительность, как она *должна быть*, — вот предмет его неустанных помыслов, бессонных ночей и художественных вожделений. Ради этой любви к дальнему он решительно зачеркивает все ближнее, или пользуется им для принесения в жертву своему ненасытному божеству. При этом он искренне мнит себя реалистом. Но писатель, тема которого не индивидуализирована (поскольку свои обобщения он мог провести на любом материале, и выбор каждого данного материала случаен) и не уточнена (ибо к чему уточняющие, характерные детали там, где требуется только доказать правильность общего положения), — такой писатель не может быть назван реалистом. Это утопист в искусстве, творчество которого так же похоже на реализм, как утопический социализм на социализм Маркса и Ленина.

Нет сомнения в том, что утопизм в нашей пролетарской литературе будет изжит, как неминуемо изживается всякий утопизм. В сущности и теперь это уже наполовину пройденная ступень. Однако, именно в силу того, что она уже наполовину пройдена, и самое это явление — не что иное, как признак отсталости части нашей пролетарской литературы, разрешающей в целом уже иные задачи, явление это требует разоблачающей оценки.

При всей своей отсталости, оно сильнее, чем кажется на первый взгляд, так как питается довольно глубокими социальными корнями. Революционность подымающихся классов есть явление, глубоко коренящееся в их природе. Но там, где есть определенное жизненное явление, рядом неизбежно имеется узкое, неправильное понимание этого явления. Революционность пролетариата находит полное и широкое выражение в его политическом и хозяйственном строительстве. В художественном творчестве оно отразилось до сих пор гораздо слабее. Это факт общеизвестный. Причины его, в конечном счете сводящиеся к трудностям овладения наиболее сложными надстройками, также достаточно обсуждены. Все это пройденный этап. В настоящее время выдвигается задача изжития этих трудностей. Целый ряд здоровых и полноценных произведений пролетарской литературы говорит о том, что период постепенного изжития наступил. Но было бы наивно полагать, что тем самым все это позади. Явление, о котором мы только что говорили, опровергает этот поспешный оптимизм как нельзя более убедительно. Поглощенность узкопонятой революционной идеей, гипноз обобщения при отрыве от живой действительности, — все эти явления, чуждые марксистскому мышлению и революционной пролетарской практике, в литературе у нас налицо, это—факт.

Революционный космизм в нашей литературе давно оставлен, но методы его отчасти перенесены в область земных измерений, в изображение быта и психологии рабочих и крестьян. У нас нет революционного космизма, но есть революционный геометризм. Ибо тема обобщения, но не индивидуализированная и не уточненная, есть тема, разработанная геометрически, поскольку в разработке ее обобщенные, лишенные конкретной индивидуальности жизненные формы, расставленные в определенном порядке, призваны дать определенное сочетание об'емов, поверхностей и линий, слагающихся в нужное автору единство. От этого геометризма не всегда свободны и те произведения пролетарской литературы, которые мы справедливо считаем крупными ее достижениями. В сокращенном, смягченном и значительно обезвреженном виде геометризм подчас пробивается и там. Изжитие его является очередной задачей, которая будет разрешена не сразу, а лишь по мере того, как внутренняя несвобода в подходе к действительности, продиктованная недооценкой исторических путей класса и общечеловеческого значения его грандиозного строительства, будет заменяться все большей полнотой охвата этих явлений.

На худой конец мы скорей готовы помириться с плоским подходом к действительности натурализма, чем с грубой, иссушающей искусство тенденциозностью. Натурализм у пролетарского писателя есть извращение, в основе которого все же заложен здоровый интерес к действительности. Представитель подымающихся классов не может не найти отсюда, в конце концов, жизненно-правильного выхода. От натурализма к реализму, от темы индивидуализированной к теме уточненной и обобщенной в условиях строящегося быта путь короче, чем к тому же реализму, к той же уточненной и жизненно-обобщенной теме от грубой, иссушающей все живое, благонамеренной тенденции и от обобщения, услужливо-забегающего вперед, чтобы

освободить художника от необходимости совершать художественную работу. В конце концов, автор натуралистической зарисовки находится в поисках темы, он только собирает материал, он не сказал еще последнего слова. Догматик сказал его, сказал слово негодное, чуждое искусству, по-своему разгадал действительность (нет нужды, что дурно разгадал) и успокоился. Но догматическая успокоенность, художественный квиетизм, что́ может быть ненавистней для нашей творимой действительности, для нашей молодой, страстно-ищущей и жадно-познающей литературы?

На другом крыле нашей, в общем, единой по своим художественным и общественным устремлениям литературы, которая вся в целом прочным и жизненным своим стволом тянется к яркому солнцу действенного, жизнеутверждающего реализма, ее подстерегает опасность другого рода, равным образом подлежащая изжитию. Художники этого крыла не страдают сдавшимся на милость факта натурализмом. Они сохраняют необходимую дистанцию, позволяющую им охватывать действительность в нужном единстве, не ослепляясь пестротой ее многообразных подробностей. От чрезмерной, однобокой индивидуализации материала они, таким образом, свободны. Выцветание жизненных красок и разрушение жизненных форм под действием иссушающих лучей предвзятой концепции, слепая диктатура обобщения точно так же им не грозит. Мастерство уточнения темы, искусство жизненно-правдивой, художествено-осмысленной психологической и бытовой детали осуществляется ими, в общем, без помех. Этому обстоятельству, сводящемуся к внутренней художнической свободе равно перед лицом материала и перед лицом априорной идеи, мы должны приписать тот факт, что здесь наша литература пока что насчитывает наибольшее количество подлинно-художественных произведений. Это преимущество литературы попутнической (мы говорим именно о ней), как все в искусстве, имеет свое отчетливое социальное об'яснение. Не углубляясь в неуместный здесь социологический анализ всей цепи общественных явлений, определяющей это обстоятельство и в конечном счете уходящей в глубины классового бытия этой литературной группы, мы можем ограничиться здесь последним звеном ее, вплотную подводящим нас к самому факту этого литературного преимущества. Писатели попутнической группы, в общем и целом уступая пролетарским писателям в общественной культуре, все еще имеют перед ними большое преимущество в отношении культуры художественной. При этом под словами «художественная культура» мы отнюдь не подразумеваем так наз. чистого искусства, ни словесного мастерства в узком смысле слова, сводящегося к уменью соединять звуки и образы в ласкающее чувства формальное единство. Дело совсем не в этом поверхностном мастерстве. Дело в искусстве внутреннего подхода к теме, который, чтобы быть подходом подлинно-художественным, должен быть лишен в одно и то же время робости художника перед материалом, заставляющей его цепляться за путеводную нить предвзятого обобщения, и безответственной сдачи позиций перед материалом, безоглядной отдачи себя последнему. Именно в таком подходе к теме, именно в этой с т р а т е г и и художника по отношению к материалу весь смысл понятия

«художественная культура». Рядом с этим внешнее литературное уменье — вещь хоть и очень не маловажная, все же второстепенная. Разве не за «искусство внутренней стратегии» прощаем мы великим мастерам их и для школьника порой очевидные литературные неловкости?

Но, утверждая за попутнической литературой преимущественное уменье свободно уточнять свою тему (преимущество, надо сказать, временное и относительное, поскольку мы уже теперь имеем ряд произведений пролетарской литературы, показывающих, что «искусство внутренней стратегии» постепенно становится достоянием последней), мы и здесь должны отметить наличие уклона в сторону от реализма. Именно в области индивидуализации темы, под которой мы понимаем прикрепление художественного внимания к конкретной исторической данности, заострение мастерства внутренней трактовки в сторону творимой современности, базирование своего художественного кругозора вплотную на центральном для эпохи материале, истолкованном с ответственной продуманностью, — эта группа грешит чаще всего. Отвлеченный психологический проблематизм при условном использовании недоработанного материала современности (Пильняк), чистая психологическая занимательность (Триоле) или занимательность действенно-приключенческая и бытовая, для которой конкретный жизненный материал служит лишь хорошо отбрасывающим трамплином («Гиперболоид» А. Толстого, «Мощи» Каллиникова), самодовлеющая занятость фольклорных «петушков» («Чертухинский балакирь» Клычкова) и т. д. и т. п. — все перечисленное ярко обнаруживает, что хотя в лице этой группы наша литература таит поистине огромные резервуары полноценной художественной энергии, но изрядная доля этой энергии расходуется в пустом пространстве. Мастерство уточнения темы, глубоко впечатлительного ее истолкования далеко не всегда уравновешивается здесь способностью ее индивидуализировать (в смысле прикрепления этого мастерства к насущным задачам истолкования конкретного общественного материала), а следовательно и правильно ее обобщать.



В настоящем очерке мы ставили себе задачей, минуя разбор отдельных произведений, наметить направление движения всей массы нашей литературы — от редакционной корзины до верхов — со специальной целью вскрыть те уклоны, которые в этом сложном движении обнаруживаются. В нашем представлении, основная линия этого движения — реализм. Конечная цель его — овладение художественной темой. Страховка от намечающихся в данный момент уклонов с прямого пути — индивидуализация, уточнение и обобщение материала в пропорциональном их сочетании. Это задача литературного момента, которая подлежит разрешению, и будет разрешена.

Право на песню.

(О лириках) [1].

Валентина Дынник.

1. Заживо погребенные.

Это началось еще два-три года назад. Лирики на плохом счету. Не знаю, кто начал первый — издатель, критик или читатель, — но поэта перестали читать, о поэте перестали писать, поэта перестали печатать. Кой-кого, впрочем, читают, вернее — почитывают, по настоящему же в эти годы следили за одним Есениным (да и то не потому ли, что основная тема его стихов — тема эпическая, что отдельные его стихотворения складывались в один большой роман, рассказанный поэтом о себе?).

После пышного, — пожалуй, даже махрового, — расцвета поэтических группировок в первые годы революции, после вакхического буйства литературных деклараций, после эстрадно-кофейных бурь — наступило затишье, мертвая зыбь. Быть поэтом стало почти неприлично. Издатель перестал обращаться к поэту, и, увы, даже поэт, безнадежно махнув рукой, перестал обращаться к издателю. При первом вашем появлении в редакции большого журнала редактор тревожно вскидывает на вас глаза — не стихи ли? — и, увидев рецензию, облегченно кладет ее в портфель. Кажется, давно судьба не была так сурова к лирическому поэту, давно лирик не чувствовал себя до такой степени литературным парией. Даже маститые футуристы, вместо стихов, печатают лишь статьи о том, как делать стихи и как распродавать залежавшиеся по магазинам стихотворные сборники. И если критик в оче-

[1] «Новые стихи», 1. «Всеросс. Союз Поэтов». М. 1926. 72 стр. Ц. 90 к.; «Собрание стихотворений». Ленингр. Союз поэтов. Л. 1926. 80 стр. Цена не обозначена; Виссарион Саянов. «Фартовые года». Стихотворения Гиз. М.—Л. 1926. 36 стр. Ц. 30 к.; Николай Полетаев. «Резкий свет». Стихи. Гиз. М.—Л. 1926. 76 стр. Ц. 60 к.; М. Зенкевич. «Под пароходным носом». Стихи. Изд. «Узел». М. 1926. 32 стр. Ц. 80 к.; Николай Минаев. «Прохлада». Изд. «Современная Россия». М. 1926. 62 стр. Ц. 50 к.; Тарас Мачтет. «Коркин Луг». Стихи. Изд. «Современная Россия». М. 1926. 30 стр. Ц. 30 к.; Петр Скосырев. «Бедный Хасан». Изд. «Всеросс. Союза Поэтов». М.—Л. 1926. 64 стр. Ц. 1 р.; Иван Приблудный. «Тополь на камне». Стихи (1923—1925). Изд. «Никитинские Субботники». М. 1926. Стр. 62. Ц. 75 к.

редном отчете помянет вскользь кого-нибудь из поэтов, — редакторский карандаш, по техническим соображениям сокращая отчет, роковым образом вычеркнет именно это место...

Так создается впечатление, что лирики у нас нет, что внимания заслуживает только проза. Пренебрежение к лирике стало общим местом — и, как всякое общее место, подлежит пересмотру. И пересмотр убеждает, что в современной лирике глухо, подспудно, замедленно (потому что на отлете) продолжается жизненный процесс, отмирают старые, прорастают новые темы, высветляются образы, откристаллизовывается стиль, у каждого поэта поразному и разной ценности, — но, во всяком случае, даже те несколько книжечек, которым посчастливилось, наперекор, стихиям, попасть на витрины книжных магазинов, вопиют о том, что лирические поэты погребены заживо.

2. На кооперативных началах.

Но что нам делать с нашими стихами,
Не поддающимися смерти ни за что?

Леонид Борисов. Собрание стихотвор. Ленингр. Союз Поэтов.

В этих трепетных твоих ресницах
Жизнь моя, судьба моя дрожит.

Василий Казин. Новые стихи. Всеросс. Союз Поэтов.

Трудно судить о романе по одной или двум случайным страницам. Лирическое стихотворение более завершено в себе и уединено, и журналы приучили нас читать стихи вразброс. Но таким уединенным восприятием достигается, все же, лишь минимум лирического сопереживания, — недаром память вносит от себя поправки в эти журнальные нравы, и чем любимее, чем знакомей поэт, тем больше при звуке новых его стихов встает со дна сознания прежних строчек, иногда полузабытых, но всегда дополняющих основной звук целым рядом обертонов, от которых восприятие сложней и глубже; недаром сами поэты об'единяли стихи свои в циклы (так было с Блоком и Ахматовой. Так было и с Есениным).

Ленинградский сборник Союза поэтов включает в себя около полусотни имен — от А до Э; московский в том же алфавитном порядке разместил их больше тридцати. Кой-какие из этих имен хорошо знакомы прилежному читателю. — И вот, в этом, лучшем случае немногие строчки, отведенные такому поэту по скупой разверстке, еще могут, воскрешая прежний читательский опыт, отпечатлеть в сознании, пускай и смутный, но целостный образ поэта.

Среди ленинградцев — лукавый суевер и мифотворец Николай Клюев по-своему, по-прежнему, по-знакомому сочетает в длинных строчках народно-эпического стиха восточную роскошь с русскою скудостью, удалой размах с богомольным смирением — багдадские шелка с тулупом, акафисты

казацкими бунчуками; Николай Тихонов, запрятав по обыкновению ли-ическую эмоцию в эпический сюжет, в отрывистый ритм (трансформиро-інный при помощи пауз из традиционных «балладных» размеров), — рассказывает о Гулливере, большом и простодушном, которого обыгрывают ершковые человечки в манжетах, — рассказывает так, как откровенный ирик рассказал бы о себе («Гулливер играет в карты»). Михаил Кузьмин, умевший и здесь подать живой свой голос сквозь ограду литературных еминисценций и стилизаторских реконструкций:

Сердца же помнят, что в часы ночные
Они стучали о горячий меч. («Олень Изольды»);

еисправимый полемист Илья Садофьев, витийственный Б. Лифшиц, Елизаета Полонская, Всеволод Рождественский — такие разные, трудно сочетающиеся имена, такие разорванные, вырванные из целого стихи... В книжке ного и едва знакомых, даже совсем незнакомых поэтов, и чувствуешь ебя как в толпе: мелькнет молодая улыбка Евгения Панфилова, прозвенит немножко по-казински) его песня веселого подмастерья — о стружках-еребружках, о девченках ли, — не разберешь, о чем больше, о чем вос-орженней; взволнованные слова (то короткие, как выстрел, то вырастающие о многострочный период) выбросит на скаку Николай Браун.

Он доскачет и ляжет в изорванном мыле,
Конь мой, стих мой, изгнанник земли;

роскользнет несколько женских, все больше тоскующих теней... Трудно авать характеристики, оценки поэтов: здесь можно говорить лишь об тдельных стихах, отдельных удачах и неудачах; так, например, можно бы тметить излишний педантизм образа у Сергея Нельдихен: его «развернутая» метафора в «Весеннем ситце» напоминает развернутый тюк коробейника, — тут, в двадцати строчках, и ситец, и пуговицы, и обметка, и прошивки, и пахучее мыло, и зеленые нитки, и воротники, и рубашки-разлегайки, — одним словом, как в детской игре:

Ленты, кружево, ботинки,
Что угодно для души;

можно бы отметить мрачный и выразительный лаконизм И. Афанасьева-Соловьева (стих. «Нас черный день под сердце косит»), особенно неожиданный сдвиг концовки:

И вдруг отгаданною тайной
Так чудно полыхнут слова,
И запрокинется нечаянно
Ртом почернелым голова.

Но все это будут случайные замечания, быть может даже мало характерные для отдельных поэтов. Общее, и значит — неслучайное, — поворот от декларативной поэзии первых лет революции к более органическому,

более эмоциональному творчеству, отказ от демонстративно-современных тем и от ультра-революционной формы, и еще — это лишь историко-литературная деталь, но деталь характерная — значительное влияние Есенина (у одних — поверхностное, внешне взятое, как у Брауна, у других — внутренне оправданное, как у Всеволода Рождественского).

Во многом аналогичен ленинградскому московский сборник Всероссийского Союза Поэтов. Здесь другие имена, но та же общая черта — «лиричность» всех этих стихов. Характерно предисловие, жадно подхватывающее сочувственные слова, оброненные Л. Троцким по адресу современных лирических поэтов, живущих в нашу нелирическую эпоху, и его утешительное обещание о наступлении лирического будущего, — уже по предисловию чувствуется, как тягостно сейчас поэтам-лирикам их вынужденное молчание. Лирика прорывается и у Асеева, победно заглушая (особенно в стих. «Не за силу, не за качество») трели пресловутого асеевского «Стального соловья» и воскрешая в памяти оголенный лиризм его первоначальных стихов, чувственно трогательный голос его «Ночной Флейты»; романтически лиричен П. Антокольский, не столько даже в составе своих образов, сколько в мелодике, в системе смелых, но художественно упорядоченных и, следовательно, обязательных для читателя интонаций:

А там, в трильонах верст мороза,
На каждой из планет —
Все та же рифма? Та же роза?
Смеешься? Смерти нет?

Самое же симптоматичное в сборнике — два стихотворения: одно казинское («Чу, как сердце бьет горячим током»), другое — Георгия Шенгели («Кто изваял ей каблучок»). Именно потому они так и показательны для читателя, что можно их воспринимать на фоне достаточно знакомого предшествующего творчества этих поэтов. И вот, Василий Казин, столько лет молодо и весело шагавший «рабочей мостовой», Казин, стих которого «вливался в камень зданий», не убоялся тематики любви, поет искусительные ресницы, вторит стихами горячему грому сердца, — и лишний раз неоспоримо доказывает, что поэзия подлинно-современного лирика не нуждается в обязательном пропускании своем сквозь фильтры отменно-современных тем, — в этих новых строчках мы узнаем все тот же казинский, хорошо знакомый голос, чуть приглушенный, сдержанно страстный, но по-юношески трезвый даже в лирическом порыве. Образ поэта, всегда ухитрявшегося — сквозь стук молотка по кровле, сквозь шумящий хаос природы — проносить свое, человеческое, — не искажается этими стихами, а. делается еще более, по человечеству, близким. Здесь не отказ от прежней позиции, а лишь расширение поэтического диапазона.

Для нашего представления о Г. Шенгели то, что мы находим в сборнике, не только ново, а даже совершенно неожиданно (ст. «Айсигена»): его умелый, но всегда несколько подсушенный стих, как бы затянутый в мундир ритмико-эвфонического задания, — неузнаваемо свободен и течет, как

песня, преодолевая и хитрую инструментовку, и обдуманную сложность ритмических ускорений:

Кем ключевой расплескан смех
Над бедной жизнью той,
Где в стране распластался грех
Под легкою пятой?

— Поэт, «презирающий насквозь» — и тот поддался мощной лирической волне, захлестнувшей современную поэзию.

Поворот к «личной» лирике — явление общее и, в качестве такового, требует какой-то общей оценки. В какой мере этот массовый отход от об'ективно-современных тем есть уход от современности? Или, быть может, эта новая, «личная» лирика есть лишь новое преломление современности? — Ведь попрежнему, — в наши головокружительные дни больше прежнего, — настоящий, живой писатель «не может быть не возмущен, когда возмущена стихия», ведь «лирический» поэт Есенин, говоря, казалось, почти об одном только себе, о личной судьбе своей, — в каждой строчке, в каждом вскрике запечатлел свою эпоху, и личная драма его — знаменательнейший памятник нашего времени.

Московский и ленинградский сборники Союза Поэтов всем материалом своим выдвигают проблему о том, насколько в современной личной лирике чувствуется эта взволнованность стихией. Но подойти поближе к решению этой проблемы вряд ли удастся на основании собранных в них стихов, разрозненных, вырванных из живого целого. Здесь скорее понадобится анализ нескольких вышедших за последнее время отдельных книжек, хотя и не многочисленных, хотя и случайным капризом издателя — судьбы извлеченных из литературного небытия, но все же дающих более целостное представление о каждом отдельном поэте, а значит, и более верное понимание каждой отдельной темы.

3. Знакомая дорога.

Дорога ближняя знакома,
Вот поворот,
И вот райком,
И выбегает из райкома
Девченка с кимовским значком.

Виссарион Саянов. Фартовые года.

Виссарион Саянов близок молодому читателю (а, ведь, молодежь, кажется, только и читает еще стихи) не только, как современник, — он близок ему, как сверстник, как однокашник. Это чувствуется и в тематике, и в образах, и в языке. Саянов большею частью и подает голос не от своего имени, а от имени многих. Но излюбленное им местоимение «Мы» — не отвлеченное, а с большой буквы «Мы» — первых лет революции («Мы несметные, грозные Легионы Труда») — под ним кроется более живой, потому

что более конкретный, смысл: Саянов говорит о своих товарищах, выросших, работавших и сражавшихся с ним плечо о плечо:

Мы выросли в крутые годы,
Когда, стряхнувши груз неволынй,
Сталелитейные заводы
Уже равнялися на Смольный,

и, воскрешая в памяти эти крутые годы, вспоминает он не «Легионы Труда», а полки, тонувшие в махорке, в густом пороховом чаду. «Пафос Интернационала» осложняется у него местным, со своего завода, восприятием, — не случайно, в ст. «7 сент. 1924 года».

Ветер в Гамбурге,
В Эсене,
В Руре
И на рельсопрокатном пост.

Саянова роднит с молодым читателем общность воспоминаний, незабываемые впечатления юности, расцветавшей вместе с революцией, — сила его воздействия в том, что читатель не только воспринимает эмоцию поэта, но и сам от себя, от личного опыта, вкладывает живое чувство в восторженные строки:

О, если бы такую юность
Еще однажды перенесть!

Ненапыщен и близок читателю и язык саяновских стихов, однако именно в языке острей и досаднее всего ощущается тяготение Саянова к кой-каким комсомольским шаблонам. Хорошо, что стиль его прост, но порой он бывает уж слишком, до неприятного, нарочито-развязен, перегружен всяческими «словечками», и не раз сбивается на жаргон: «Ишь ты зюзя». «Нам сегодня не шлындать с тобою», «Шеманают кругом вахлаки» и пр. Злоупотребляет он и обращениями за панибрата вроде: «Ах, сердце, ты не хорохорься», «Эй, Нарвская застава, здравствуй» и т. п. Саянов совершенно свободен от шаблонного «высокого стиля», но один шаблон заменяет другим. Если современную шаблонную речь и приходится допускать в собраниях, в общественной жизни, потому что речевой, как и всякий, шаблон есть, с известной точки зрения, экономия общественной энергии, то в искусстве шаблону нет оправдания, здесь шаблон не экономит энергию, а лишь растрачивает ее впустую.

Шаблонность языка лишь отображает нередкую у Саянова шаблонность лирических ситуаций, каких-то отвлеченных, без личного призвука, — так сказать, обще-комсомольских настроений:

Каждое утро гудок зовет:
- Степа, на работу нонче.
Степка подымается, тоже поет,
Вровень с гудком,

Но звонче... (?!).
Степа
Не шибздик какой-нибудь.
Где там молиться богу?
Знает он свой комсомольский путь,
Знает свою дорогу.

И суровый героизм этих лет, своеобразный революционный аскетизм молодежи, умевшей вычеркивать в себе то личное, что не совпадало с общим, что оттягивало от одного, от главного, от революции, — слишком упрощенно, а потому безжизненно, холодно отображено Саяновым.

Ах, томик помятый,
Ах, старый наган,
Огни левобережных станций...

Вспоминает поэт у могилы, где огонек от спички нащупал знакомое и милое имя «Наталия Горбатова», — и тут слишком уж легко и прямо линейно спешит проявить, несмотря ни на что, свой неослабевающий что-то чересчур уж «здоровый» оптимизм, заглушить жалобу любви грохотом моторов:

Но жизнь принимаю,
Люблю, как тогда,
Крутые ее перебранки.
Грохочут моторы,
Летят поезда,
Огни на походной стоянке.

Жизнь требует иногда поступков, простых, как отраженный удар — в этом красота жизни; искусство только там и начинается, где под простым показано сложное...

4. Подвальный воздух.

И бледные, больные лица
В тумане городского дня
Вдруг стали бешено носиться
Как привиденья близ меня.

Николай Полетаев. «Резкий свет».

На полетаевской книжке стоит подзаголовок—«стихи 1918—1925 г.г.», в ней много стихов о революции, о наших днях; поэт откликается на всякий звук своей эпохи — на треск пропеллера, на шум «красного половодья», на имя свердловки с прозрачными глазами, на веселое «всегда готов!» четырехлетнего пионера. И все-таки поэт — не сверстник революции. Слишком долго дышал он сырым воздухом подвала для того, чтобы вдохнуть в себя полной грудью, до самого дна, веселящий воздух революционной бури. Подвал навсегда заполонил его, приковал к себе его память. Из подвала в те,

прошлые годы не один уходил в мечту, — и вот эта подвальная мечта до сих пор еще питает творчество Полетаева:

Как дорога мне, как цветиста плесень
На потолке и по углам дыры,
Я, помню, здесь мальчишкой куралесил;
Вон самовар — он пел мне про миры.

Подвал наложил свой сырой отпечаток не только на воспоминания поэта о прошлом, но, что еще хуже, и на восприятие настоящего. Поэт приветствует новую, строющуюся жизнь, но слишком еще живет своей тоской, для того, чтобы непосредственно, цельно и молодо это новое воспринять. Отсюда реторичность Н. Полетаева, его навязчивые антитезы, сопоставляющие прошлое с настоящим, его дидактизм.

Детская колония, ее питомцы — «с ясными и смелыми глазами, маяками радостных веков» — пробуждают в нем воспоминание о собственном, подвальном детстве, и поэт не может преодолеть в себе желания противопоставить одно другому:

Не как мы, не в стоптанных ботинках,
Вырастут, и край родной
Не по спутанным пойдет тропинкам,
А дорогой верной и прямой.

Нецельность мировосприятия ведет к тому, что и полетаевская художественная речь как-то нецельна, дуалистична, — мало чувствуется в его стихах та радость творчества, то любование словесной плотью, которое сопутствует, обычно, работе большого поэта. Нередко Н. Полетаев бывает небрежен к ритму, к элементарным требованиям стихотворной эвфонии: «Сказал, что н и к а к и х з и м н е т у», «А я к ручьям, на двор, н а г р я з ь в ц в е т а х» (что сказал бы Брюсов об этом «з ь в ц в»!!) и т. п.

А между тем, есть в этом сборнике несколько стихотворений, показывающих, как художественно-действенна может быть речь Н. Полетаева, когда он освобождает ее от реторической тенденциозности. В этих немногих своих стихах он доказывает сам себе, что революционный пафос переживается поэтом не в рассуждениях типа «прежде и теперь», а в каком-нибудь одном, схваченном на лету образе, в каком-нибудь одном солнечном блике на красном знамени (стих. «Знамен кровавых колыханье»); что заставить дойти до сердца безысходную тоску мещанского существования можно только тогда, когда, как художник, станешь выше этой тоски (стих. «В Дорогомилове»). И (вот закон удельного веса в художестве!) больше, чем в целой груде полетаевских размышлений, читатель почувствует живого поэта, его усталость — в какой-нибудь одной строфе, где поэт даже почти и не говорит о себе, где местоимение «я» — лишь подлежащее придаточного предложения:

И только облачко, как я,
Томится в синеве слепящей,
И в этой тишине гремящей
Оглохла самая земля.

5. Стихи троюродного брата.

В помещичьем доме, в залужье лоскутном
Осталась моя троюродная сестра.

Тарас Мачтет. «Коркин Луг».

Первые же строки Тараса Мачтета обескураживают читателя своим совершенно незаурядным косноязычием. В дальнейшем, если читатель не кроток по природе, мачтетовское косноязычие может привести его в ярость. Строка следует за строкою, одно слово за другим, а смысл разве-разве забрезжит кое-где, и опять — почти сплошная смысловая темень. Ни логической связи, ни синтактической связности:

На смену тебе, за кутафьей басманной,
О, эта тяга в Усмань и Сипулицы!
Степка-растрепка! Пыр-растопыр!
Сюда! Праздник и на нашей улице!

Тут уже с остервенением вчитываешься дальше — и начинаешь находить какой-то порядок в этой словесной кутерьме, какие-то общие черты, формальные нормы — восклицательные тенденции интонаций, почти полное отсутствие сказуемых (так называемые бессказуемостные конструкции), обилие собственных имен... А стихотворение «Памяти Герцена» может сыграть некоторую путеводную роль в осмыслении этих отдельных приемов. Литературная манера Т. Мачтета оказывается здесь построенной на методе называния, иллюзии, апеллирующей к тому, что должно уже заранее быть известно. Так как жизнь и среда Герцена, действительно, более или менее известны читателю, то прием этот в данном случае достигает цели: называя какую-нибудь деталь, поэт воскрешает целое событие, полагаясь лишь на читательскую память. Воля поэта сказывается в выборе поэтически-многозначительных деталей и в регулировании, при помощи этих деталей, работы нашего воспроизводящего воображения:

Любимый Ник и клятва над рекой.
Наташа Герцен, переписка, дружба,
Его былого дум хмель радостный, живой,
Этапы будней: Вятка и Владимир,
Случайной встречи пылкий черствый взор.

Однако большинство мачтетовских тем — темы семейные, связанные обычно с русской провинцией и, через провинцию, часто со стариною. Здесь уже исчезает общеобязательная значимость его речи: семейные стихи Мачтета семейны не только по своей тематике, но и потому, что в полной мере доступны они только для тех, кто связан с поэтом общими воспоминаниями:

Движенье улиц, изморозь газа!
Отголоски жизни! Восемнадцать лет!
Первая Брестская! Плавающие и путешествующие!
Куранты и маятник! Минутные встречи!
Туга Кончаковны!.. Воскресенье!

Но Мачтет интересен и формально, и тематически, особенно же своим интимным, через захолустье («По краеведенью распутица шальная!») восприятием старины, органическим для поэта сплетением личной и исторической тематики. Эта черта спасает «Коркин Луг» от судьбы литературного курьеза, она же заставляет жалеть, что поэту не всегда удается придать художественную целеустремленность своему лирическому косноязычию.

6. «Литер А».

Она плачет, милая невеста,
А в бумажнике у меня «литер А».

Петр Скосырев. «Бедный Хасан».

Что непременно уже отметит всякий, раскрыв книжку П. Скосырева, — это влияние Востока. Поэт во многом обязан Востоку певучестью своей речи, своих стиховых интонаций, протяжных, как восточная песня; своей небоязнью повторений; звуками восточных имен, странных русскому слуху:

Асхабад — любовь!
Асхабад — весна!
Асхабада знойный день!
Город любви — Асхабад!
Жемчужина гор — Фирюза!

В стихах поэта цветет Бухара шелками своих базаров, тюльпанами своих степей, весенними садами урюка и белыми чалмами на черных лицах баев; на фоне дневной лазури вырисовываются силуэты мохнатых верблюдов, на закатном красном небе — тонкие пальцы минаретов... Восток сказался и в сравнениях поэта: его любовь красна, как кукнар, тоска его — тоска шакала. То же в метафорах: «скорпион тоски», «тюбетейка-солнце», луна, разрезающая дыню кривым ножом.

Иногда, впрочем, позабывши злую пародию Владимира Соловьева, с его «гиеной подозрения» и «мышами тоски», впадает он в наивный символизм наших девяностых годов:

И мне любовь моя представилась пустыней,
Где медленно бредут верблюды скучных дум.

Иногда случается ему сбиться с «восточных» ритмов своих, и не будет ничего удивительного, если кто по наивности вздумал бы под стихотворение «с персидского» сплясать нашего камаринского:

Синим, синим полыхай в степи огнем,
Красный, розовый, лазоревый цветок.

И все же, первое, что вдыхаешь со страниц скосыревской книги — это горячий воздух восточного пейзажа, не обманывающий, как не обманет запах. Потом уже, после первых впечатлений, вчитавшись в книгу, находишь в ней отзвуки другой стихии и начинаешь не верить поэту, вос-

кличающему: «Азия, я твой сын!» — сквозь красивую напевность восточных стихов вслушиваешься в хорошо знакомую хрипотцу недавнего теплушечного прошлого, незабываемых времен, когда ездили не по билетам, а по «литерам». В «Убитых солнцем» чувствуется собственный, живой, животный опыт:

И одному, украдкой,
Дрожа от радости, украденное жадно жрать.
Что честь,
Когда с утра,
До синих зорь, раскиданных над степью,
Короткое и злое
Слово
В сердце:
Есть!

И даже там, где П. Скосырев тематически наиболее суб'ективен, где спертый воздух палаты для туберкулезных начинает угрожать и его стихам, мы, все же, не перестаем чувствовать в нем человека с «литерой А» в кармане френча:

Меня сразит бездарная болезнь,
Которую схватил я на веселом фронте
Гражданских битв.

Общий с поэтом опыт эпохи помогает нам крепче почувствовать и его поэтическую индивидуальность. Его восточные стихи мы начинаем воспринимать лишь как одну из страниц его лирики, в садах урюка мы вместе с ним чуем

...ветер над полями
Заснеженной, заслеженной земли,
Родной, родной, безудержной России.

7. Утренняя радость.

И бегут мои телята,
Распустив хвосты.

Иван Приблудный. Тополь на камне.

Если многие из современных поэтов нередко напоминают Есенина целым рядом родственных тем, мотивов, настроений, образов, слов, то Иван Приблудный похож на него всем обликом, всем складом своим, как младший брат может быть похож на старшего — та же любовь к полям, к лугам, к пастбищам, та же почти животная любовь к земле. В городе его томит, как тоска по утерянной безмятежности, воспоминание о тихой речке за хутором, о приветственном звоне лягушек, о сонно-шуршащей осоке. Не раз обращается он памятью к детству, так же, как и Есенин, чуть идиллически его воспроизводя:

А в сумерки мать за столом
Нам теплую сказку расскажет,
Накормит лапшой с молоком
И медом пампушки намажет.

Как и Есенин, поэт недоверчив к неласковому городу:

Так-то ты взяла меня, столица,
И не спросишь, и не хочешь знать,
Как мне снится, что мне ночью снится,
Где я буду завтра ночевать.

Недаром стихи, где говорится о каменном саде города, о зеленом тополе, выросшем на камне, среди стооконных домов, — носит посвящение: «Любимому учителю моему Сергею Есенину»: песни Есенина и песни И. Приблудного звучат в лад друг с другом и в лад с шелестящею песней зеленых крыльев-ветвей.

Повторяется в И. Приблудном и особая есенинская черточка — его любовь к животным: поэт хранит трогательную нежность к полосатому коту, бегавшему за ним «собачкой» по дедовской пасеке, находит доходчивые до сердца слова, чтобы рассказать о гибели серенького перепела.

Но в И. Приблудном больше мальчишеского задора. Он звучит и в строчках поэта о себе:

И как встарь, забыв тревоги,
Счастлив, глуп и рад,
Перепутал все дороги,
Растерял телят...

и даже в печальной повести о перепеле, попавшем на фарфоровое блюдо:

Перепел, серенький перепел,
Вечная память тебе!

И по-молодому не сдается поэт в схватке своей с кирпичным городом, он пытается даже подвести в стихах теоретическое обоснование под органическую свою привязанность к тульско-калужской Руси, под страх перед нью-иоркизмом. Такая оборонительная поза — новый и существенный момент в сравнении с поэтическим обликом Есенина, лишь пассивно неприемлющего машинизм нашей эпохи, уходящего (ушедшего) от него «к неведомым пределам». Есенинское творчество, при отчужденном суб'ективизме некоторых настроений, в основном сюжете своем вызывает трагически-углубленное ощущение эпохи, — в книжке И. Приблудного можно уже проследить завязку нового варианта есенинского сюжета. Углубление наметившейся коллизии, ее эмоциональный и общественный захват — будут зависеть от дальнейшего художественного роста И. Приблудного: выпуская «Тополь на камне», поэт сделал большую ставку — не на техническую умелость стиха, даже не на лирическую заразительность эмоции, а на всю свою, целиком взятую поэтическую личность.

8. Щит акмеизма.

Душа укрылась, как щитом,
Акмеистической прохладой.
Николай Минаев. «Прохлада».

Всякого акмеиста, в силу самого звания его, принято рассматривать прежде всего с точки зрения его художественного мастерства. Это обыкновение подкрепляется и историко-литературными нашими воспоминаниями, и давними теоретическими высказываниями самих акмеистов («Аполлон» 1913)—совершенно отчетливой их тенденцией творить прекрасное «из тяжести недоброй». Акмеиста как-то невольно представляешь себе в позе укротителя — укротителя словесной стихии. Поэтому, подымая щит акмеизма, всякий поэт, тем самым, накладывает на себя обязанность особого формального совершенства. С этой точки зрения и хочется в первую очередь поговорить о Н. Минаеве.

Минуя редкую форму — рондо «Тебе одной восторги и печали» (кто не сумел бы написать рондо в наши дни?), спускаемся в более глубокие слои поэтического стиля, труднее поддающиеся быстрой обработке, в ритмическую структуру строчки, в художественную семантику, в искусство композиции.

По части ритма Минаев не безупречен. Литературный педант мог бы выискать у него две-три покоробленных строчки, вроде: «Уже четвертый час, но еще сыро тут», зато литературный гурман может посмаковать смелые ускорения пятистопных ямбов: «Девятнадцатилетняя она», «Полууспокоительно хрустела» и проч. Просто-читатель, если он даст себе в этом отчет, отметит, как общее явление, ненавязчивое разнообразие, иногда же — энергическую выразительность ритма:

И гонит жадной крови ток
По расширяющимся венам.

Владеет Н. Минаев и искусством сравнения, достигая порою не только отчетливого рисунка, но и лирического внушения одним только подбором вторых членов:

И в густой, как любовь, и в тягучей, как ревность воде,
Золотым пауком осторожно звезда шевелилась.

Столь распространенный прием композиции, как «кольцо», использован им одновременно и в живописном, и в эмоциональном плане, — передает на фоне меняющегося пейзажа, подчеркнутую неизменность эмоции:

Первая строфа:

Твой профиль, я знаю, казался бы нежно-сиренев
На фоне заката, который не в меру оранжев!!.

Последняя строфа:

Теперь бы твой профиль казался почти фиолетов
На этом закате, что так изумительно палев.

Целый ряд поэтических приемов Н. Минаев может быть обобщенно сведен к одной основной его манере — к отраженной, непрямой передаче эмоции, к показыванию внутреннего через внешнее:

Ревнивое сердце досаду таит, —
Недаром сегодня так пальцы хрустели...

эта основная манера, разработанная многосложно, не элементарно, позволяет говорить о художественной зрелости Н. Минаева, несмотря на отдельные несамостоятельные строчки, заимствованные у Брюсова, Анненского и — особенно неоспоримо — у Тютчева.

Но культурой стиха, щитом акмеизма поэту не удается прикрыть слабое место своей лирики — какую-то отвлеченность всех эмоций, слишком обособленно возводимых в «перл создания»: в любви поэта, в его раздумьях, в его тоске, в его взволнованности природой чувствуется больше всего «человек вообще», а не отдельная живая личность и уж отнюдь не современник. Каждый метод художественного воздействия имеет право на существование, но для восприятия такого вневременного — sub speciae aeternitatis — искусства требуется от читателя чересчур большая восприимчивость, от поэта — чересчур титаническая глубина...

9. Трансокеанская тоска.

Тоска трансокеанская! А здесь,
Как исполинской боли разрешитель, —
Стихов сгоранье, взрывчатая смесь
И наглухо завинченный глушитель. —

М. Зенкевич. Под пароходным носом.

У М. Зенкевича, в последней его книге, есть замечательные по силе лирического опьянения строки — о Верлене, читающем «отходную из стихов» над умирающим, отрекшимся от поэзии Рембо. Образ грозного и лысого Верлена вырастает в символ поэтической стихии, неотвратимой, как сама судьба:

В бреду, с больничных белых стен
Опухший пьяница Силен.
Встает старик Верлен.

Хотя в этой балладе о стихах так много подлинно-французского и в сюжетных деталях, и в лексических оборотах (М. Зенкевич показал себя здесь большим мастером слова), — строки автора о себе, замыкающие основную тему композиционным кольцом, сливают в одно «стильный» сюжет и лирическую исповедь, подчеркивают суб'ективный тон всего целого: стихи о Верлене и Рембо воспринимаются как стихи о современности, как отклик на то противопоставление эпохи и поэтического творчества, которыми отмечен жребий лирического поэта в наши дни.

М. Зенкевич не хочет и не может уступить эпохе свое поэтическое творчество. Но в том, как он его не уступает, именно и сказывается сы-

своей эпохи. Он защищает свое лирическое волнение, но лирическое волнение это направлено на эпоху, человечество, землю, художественно наглядно преодолевая противоречие между нелирически-об'ективной эпохой и суб'ективно-лирическим творчеством. Эмоция М. Зенкевича отливается в трагедийный, космический образ, — то гибнущего в океане Титаника, от которого только и остается, что

Молящий о помощи молнийный излом
В приемниках земных радиостанций,

то — летящего на гибель авиатора:

Зато
В твердь ввинтим спиралей бурав,
Пронзим полета алмазною вышкой,
Воздушных струй голубой затор,
Мотора и сердца последнею вспышкой,
Смертию смерть поправ.

Личное и неличное сливаются в одно, в предельно суб'ективный пейзаж:

И теперь, как тогда в июле,
Грозовые тучи не мне ль
Отливают из града пули,
И облаком рвется шрапнель.

Имя М. Зенкевича связано со славным прошлым русского акмеизма. Тем показательней судьба его творчества: углубившись в стихию слова, в мастерство образа, он, вместе с тем, углубился в свою эпоху и тем доказал, что там, на какой-то глубине, суб'ективное и об'ективное слиты. Недаром поэзия переживается им, «как исполинский болеразрешитель», недаром сказал он и о Пушкине:

Мы в ярости, мы и в разладе,
Мы и в хаосе дышим им.

Поэт, вбирающий одним дыханием воздух эпохи и веяние этического творчества, не может оказаться чужим даже для самых «об'ективно-мыслящих» современников.

10. Резюме.

Даже эта случайная рекогносцировка в область современной лирики, поневоле идущая бросками — и в силу общеиздательских условий, и в силу местного нашего, редакторского распорядка, и в силу, быть может, моих личных, авторских предилекций, — приводит, все же, к кой-каким выводам, имеющим общее, неслучайное значение.

Лирика должна быть нужна самому поэту и лирика должна быть нужна его читателю — вот два необходимых и достаточных условия, утверждающих ее право на существование. Первому из этих условий разобранные нами книжки удовлетворяют с несомненностью: воля поэта сказывается в них не по линии одной только технической изобретательности или обобщенно-

отвлеченного развития той или иной мысли, а по линии конкретно-художественного оформления своего внутреннего мира. Со страниц этих книг глядят на нас не маски литературных направлений, а живые человеческие лица. Такого рода лирическое творчество органически вырастает из настоятельной потребности каждого поэта — потребности самовысказывания. Наличие подлинной, неслучайной лирики неоспоримо.

Нужна ли эта лирика современному читателю? Тоска по лирике в писательской среде—лишь частичное проявление той тяги к оформлению своего внутреннего мира, какая наблюдается в новом, растущем вместе с революцией поколении, той перестройки всего мировосприятия, какая явочным порядком, не дожидаясь своей очереди, настойчивой проблемою встала перед нашей эпохой. Поэт для своих эмоций, раздумий, желаний ищет оформления в собственном творчестве, читатель, в процессе подобного оформления, находит поддержку в творчестве поэта. Вот почему, не ради отдаленного лирического будущего (по Троцкому), а ради насущного настоящего, пора прекратить ничем не оправданный молчаливый бойкот лирики, как таковой. В наше ли время, когда так болезненно и трудно растет новый человек, говорить о несвоевременности лирики?

Но именно эта функция лирики, оформляющая мировосприятие современного читателя, и выдвигает на первый план основный недочет только что разобранных книжек. Правда, у некоторых из упомянутых поэтов (В. Саянов, Н. Полетаев) мы встречаем отображение целого ряда социальных мотивов, отображение не всегда лирически-углубленное, но, во всяком случае, более конкретное, менее реторическое, чем мы привыкли его видеть в пролетарской поэзии первоначальных лет; правда, у других, которых официально, с отдаленного литературного поста, можно бы обвинить в игнорировании современности, неискушенный в официальных рубриках читатель увидит сквозь суб'ективизм судьбу современника (П. Скосырев, И. Приблудный), сквозь космический образ — переживание эпохи (М. Зенкевич); правда, у некоторых сквозь личное настойчиво звучит тема Россия (Т. Мачтет, И. Приблудный), так по-новому остро воспринимается сейчас, в образе древней Руси, и в образе современной деревни. Правда, у большинства можно усмотреть серьезную работу над формой, — все это подтверждает за помянутыми книгами их право на существование. Но читатель ждет большего от современной лирики. Он может, даже помимо воли самого поэта, почувствовать в нем современника, но справедливо требует, чтобы и поэт осуществил себе эту связь со своим поколением не только в плане социально-бытовых условий, а во всем своем жизнеощущении. Ведь было же так в эпоху Пушкина, ведь и у рядовых поэтов пушкинской поры встречаемся мы с непревзойденной поэтикой дружбы, дающей ощутить жизнь целого поколения.

Однако, если современная «личная» лирика не осознает себя как голос поколения, это не только вина поэта. Трудно поэту почувствовать и, тем более, художественно воплотить связь со своим поколением, если нарушена конвекция между ним и читателем, если поэта, попросту говоря, почти и не печатают, если поэту нет отзвука. «Не входя в воду, не научишься плавать», сказал философ.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

«Версты». Журнал под редакцией кн. Д. П. Святополк-Мирского, П. П. Сувчинского, С. Я. Эфрона и при ближайшем участии Алексея Ремизова, Марины Цветаевой и Льва Шестова. № 1. Париж.

Из эмиграции, где «свободнее» и где «деревья не заслоняют леса», старается маленькая группа писателей, объединенная общностью — не идей, а настроений, увидеть, «понять» Россию и «русское» («в настоящее время — русское больше самой России») «с точки зрения национально-исторической предначертанности».

«Если отрезать Брику ноги, то он станет доказывать, что так лучше», — пишет В. Шкловский в «3-й фабрике». Редакция «Верст» поступает по этому принципу. Свою беду, вынужденную оторванность от России, она старается изобразить как какое-то преимущество. Но отрезанные ноги всего лишь несчастье, а не добродетель.

Только теперь у наиболее чутких писателей-эмигрантов открываются глаза на то, что уже давно было ясно людям, которым будто бы «деревья заслоняют лес». Только теперь они убедились, что Советская Россия не находится в состоянии культурной прострации, а переживает подъем, хотя и нарастающий медленно. П. Сувчинский идет даже дальше и говорит о ренессансе: «В каких-то новых большевицких людях тяга к социальному делу и жизненной подвижности проснулась с необычайной силой и, конечно, только на этих началах и будет основываться — и уже основывается — новый русский ренессанс 920-х годов». Правда, параллель с «ренессансом» 90—900-х годов придает этому утверждению специфический привкус, который еще усиливается мистико-националистическим жаргоном, отличающим большинство статей журнал- («национально-историческая предначертанность» и т. д.). Но, конечно, не то удивительно, что писатели-эмигранты облекают свои мысли в привычную для них литературную форму, в старый свой литературный мундир. Ново то чувство уважения и даже симпатии, с которым они говорят о культуре, выросшей на советской почве. Признание хотя бы и запоздалое — все же признание, — и оно выгодно отличается от неистовой брани Мережковских и Гиппиус.

Писатели, группирующиеся вокруг «Верст», испытывают сильнейшее отвращение к большевизму и Советской власти, но они вынуждены признать огромную притягательную силу, идущую из страны Советов. «Версты» не прочь бы даже стать посредником между эмиграцией и культурой Советской России. Для этого они помещают на своих страницах, на-ряду с Цветаевой и Ремизовым, Есенина, Пастернака, Сельвинского, Бабеля, Артема Веселого. Художественный их отдел составлен на $^3/_4$ из перепечаток из советских изданий. При чем, надо заметить, советские писатели перевешивают не только количественно, но и качественно.

Очень близко к тому, что говорит Сувчинский, подходит в своих статьях Д. Святополк-Мирский, наиболее видный критик эмиграции: «В младшей, после-револю, ционной поэзии господствует мажорная. восходящая «державинская» тональность и Державинское начало воскресло в поэзи - Гумилева, Маяковского, Пастернака, Марины Цветаевой». Святополк-Мирский поясняет, что он понимает под «державинским началом»: «У Державина рамки личного раздвинуты настолько, что включают высокие и обширные переживания торжествующей России... Общее слито

с личным, и поэт — чувствилище общества». Отсюда... гиперболичность... отсутствие чувства меры, столь резко отделяющее его от великого гуманиста и личника «Пушкина». В новой русской поэзии воскресает пророческое начало, со-чувственность общей жизни, столь сильные у Державина. Она снова становится «сверхчеловечной» (очевидно, надо понимать: над-индивидуальной). Узкие границы человеческой меры, предписанные нам Пушкиным и укрепленные великими реалистами — пройдены. Мир возвращается в поэзию. Северное сияние Ломоносова перекликается с солнцем Маяковского, и золотые стерляди Державина — с красными быками Гумилева... Вся народная поэзия становится нам ближе».

Все это довольно спорно, хотя доля истины здесь и имеется. Если можно согласиться с тем, что державинское начало воскресло в поэзии Маяковского, то нельзя этого утверждать относительно Пастернака, который является в гораздо большей степени «личником», чем Пушкин. Нет также оснований противопоставлять Державина, как «чувствилище общества», Пушкину (конечно, уж Пушкина можно назвать с большим правом «чувствилищем общества») и приписывать его поэзии пророческий характер. Все это или недостаточно определенно, или, в меру своей определенности, неверно. Если мы соглашаемся с аналогией Маяковский — Державин, то только в том смысле, что у Маяковского возрождается декламационно-реторическая установка (а это совсем не то, что пророческий дух), со свойственным ей гиперболизмом, отсутствием чувства меры и т. д. Но дело здесь опять-таки не в правоте или неправоте Святополк-Мирского, а в той высокой оценке, которую он дает новой русской (а это значит на $^9/_{10}$ советской) поэзии. Соответственно эмигрантская литература подвергается жестокому пересмотру. Характеристики Святополк-Мирского не лишены остроумия и красочности (некоторые убийственны). Мережковский — «если когда-нибудь и существовал — перестал существовать двадцать два года тому назад». Зайцев «когда-то был близок к тому, чтобы засуществовать, но не осуществился: не нашлось той силы, которая могла бы сжать до плотности бытия его расплывчатую газообразность». Ходасевич — «маленький Боратынский из Подполья, любимый поэт всех тех, кто не любит поэзии». Бунин — «краса и гордость русской эмиграции, столп консерватизма, высоко держащий знамя Великого, Могучего, Свободного и т. д. над мерзостью советских сокращений и футуристических искажений — чистая традиция — «Сна Обломова» — и дальше: «принципиальная (и природная) уездность Бунина».

Собственно статьями Сувчинского и Святополк-Мирского и ограничивается все то, что может представлять для нас какой-нибудь интерес. Все остальное — рассуждения Л. Шестова об экстазах Плотина, «Три столицы» Е. Богданова, ученический разбор Н. Трубецким «Хождения за три моря», запоздалая полемика с конструктивистами и производственниками Р. Пикельного и проч. — раздражает своим юродством, манерничанием, претенциозностью. Прохаживания насчет инородцев (в частности, евреев), заполнивших русские города, выяснение причин этого прискорбного явления, вечные разговоры насчет национального духа, воздыхания о старине, ниспровержение разума, держащего в оковах человеческую душу (истина узнается мгновенным постижением, не поддающимся проверке, контролю), щеголянье философской терминологией без нужды и видимого смысла (у Стравинского в «Весне» — ритм «скорее ноуменальный, чем музыкальный») и красноречие, красноречие без конца — как это, в конце концов, убого и жалко. Оглушенному читателю остается только воскликнуть словами Фауста:

Mich dünkt, ich hör ein ganzes Chor
Von hunderttaussend Narren sprechen.

Жалок юродивый, но еще хуже тот, что притворяется юродивым.

А. Лежнев.

Конст. Федин. Наровчатская хроника. Изд. «Пролетарий».

Русская литература никогда не была веселой. Даже смех ее был сквозь

слезы. Наш писатель чаще занимался анализом отрицательных сторон жизни, чем любованием ее достижениями. Революция частично покончила с этими традициями и дала художнику много новых, бодрых тем. Но прошлые навыки далеко не иссякли. И не без оснований. Если в одном уголке обновленной России устанавливаются столбы электрификации, в другом — сохранился пока косный быт провинциального захолустья, носящий на себе следы средневековья.

Полка сорных трав не менее полезна доставки «цемента» на новые постройки.

Нужно и то, и другое.

Когда «Наровчатская хроника» впервые появилась в одном из альманахов «Ковш», она произвела впечатление мастерски стилизованной вещи, своеобразно отображающей один из ранних (19-й год) периодов революции.

Помещенная же в рецензируемой книге рядом с повестью «Трансвааль», она получает новый смысл, углубляющий ее первоначальное значение. —

Темой для «Наровчатской хроники» послужил городской быт, для «Трансвааля» — деревенский.

Не ограниченная хронологической датой, вторая вещь невольно расширяет пределы «Хроники», обобщения напрашиваются сами собой. —

И книга в целом оказалась одним из самых «пессимистических» художественных документов за время революции.

«Ой, тоска, тоска! Целый город людей, и ни единой живой души! Куда ни глянь — все рыла. Может, один человек, один единственный на весь Наровчат, да и тому нет места, затравили», — так говорит в отчаянии один из персонажей «Хроники», литератор Симфориан Бесполезный.

Характеристика, как видим, не далеко ушла от гоголевских времен:

«В нашем городе один хороший человек — прокурор. Да и тот свинья».

Но по фабульному материалу не к Гоголю, а к Горькому восходит «Наровчатская хроника».

Тот же город Окуров, те же пьянствующие, тоскующие бездельники, потерявшие человеческий облик.

Революция будто мимо Наровчата пронеслась и все идет по старинке.

Правда, женский монастырь отчужден под лазарет и ясли, чья-то дельная и трезвая рука подбирается и к мужскому монастырю, чтобы занять его под нужные советские учреждения. Но как-то мельком, сторонкой проходит по повести безымянный секретарь совета. А в центре анекдотических событий — граждане города Окурова. —

Графоман — поэт Антип Грустный, растрепанный и буйный Симфориан Бесполезный, вечно восседающий за одеколонной бутылью земельный комиссар Рокотов.

И тот «единственный человек», для которого делает исключение в характеристике Наровчата Симфориан, — не кто иной, как безумный железнодорожный служащий, гримирующийся под Пушкина и трогательно влюбленный в память о великом поэте на посмешище обитателям провинциального болота.

На безрадостном уровне «Хроники» находится и «Трансвааль», повесть о современной деревне.

По свидетельству Федина, мужик и до сих пор темен, суеверен и жалок в своей беспомощности, как сотни лет назад. Нужна посторонняя воля, чтобы вывести его из состояния дремотного оцепенения. Но и тогда в нем просыпается не инициатива, а слепая покорность чужому велению. Любой проходимец может им командовать по своему усмотрению, если проявляет достаточно хитрости и такта.

Целому крестьянскому «миру» писатель противопоставил ловкого дельца, иностранца Свекора. И победа оказалась на стороне последнего. И самое ужасное в поединке то обстоятельство, что мужик не только с покорностью, но и с оттенком добродушия лезет в приготовленную для него петлю. Свекор захотел мельницу — и без всякого труда он прибрал ее к рукам. Свекору нужен камень для производства мельничных жерновов — и мужик покорно тянет лямку вместе с тощей своей скотиной. Единственный человек, который почувствовал его коварство, парень Аким, и тот вынужден капитулировать перед железной волей

беспощадного иностранца, наделенного чертами всепоглощающего практицизма.

Жуткая фигура Свекора расширена автором до символических размеров нового варяга, пришедшего покорить Россию и цинично на всех косяках ставить свою мету.

На протяжении всей повести ни одного светлого блика, ни одной обуздывающей «Свекора» реплики!

Облапал, сгреб Россию. Дьявольски жует и ни одной костью не подавился.

Это уж слишком!

Здесь автор перешел дозволенную границу преувеличений и нарушил законы перспективы.

В своем пессимизме он хватил через край, проглядев революционную новь, которая заколосилась и на крестьянской ниве.

В смысле формальном обе вещи выше всяких похвал.

Церковный сказ «Наровчатской хроники» ведется в духе иронической серьезности, без излишнего орнаментализма. Чуткий художник — Федин ставит точку там, где увлеченный стилизацией «середняк» ставит двоеточие. Строгого стиля «церковности» он достигает простейшими средствами: вкраплением в лексику двух-трех торжественных, старомодных слов, осторожной инверсией.

Что касается «Трансвааля», то она выдерживает сравнение с лучшими страницами классической нашей литературы. Частично приближаясь к толстовским приемам. Те же — прозрачность и первичная неожиданность образа, плавное и неторопливое построение фразы, скульптурная лепка фигур и созерцательная философичность тона.

Федор Жиц.

Л. Иохвед. Пристань. Раб. из-во «Прибой». Л. Стр. 102. Тир. 6120.

Сила этой повести при многих срывах, оплошностях и недостатках заключается в том, что молодой автор одушевленно и гармонично сочетает линию биологическую и линию идеологическую в обрисовке отдельных людей и целого коллектива. Конкретного участника гражданской войны автор не поставил на котурны. Он с равной художественной страстью зарисовывает и общественную и животную сторону человека революции. Интерес повести в своеобразном сопоставлении двух людей из массы. Один — горячий, активный боец, другой случайный, но, по-своему, честный спутник революции. Глаза первого, Герда, устремлены вперед, к социализму. При всей горячности он остается трезвым, критически относящимся к событиям, контролирующим и свои шаги и шаги коллектива, с которым он связан. Второй, Кокурин — весь во власти прошлого. Под углом зрения прошлого он расценивает все события, всю борьбу. Он искатель правды, не конкретной, земной, гражданской (в нем «было примитивное понимание коммунизма, смешанное с евангельскими притчами»). Эти искания уводят его в конце концов от революции в загнившие воды евангельской пристани.

Другое дело Герд. Он уходит на завод, в индустриальную пристань, откуда должно пойти строительное возрождение страны. В столкновении, в художественном сопоставлении этих двух друзей-красноармейцев, из которых каждый воплощает разные общественные и индивидуальные категории массового человека—центральный интерес повести. Через посредство этих фигур автор освещает борьбу религиозного, христианского начала с началом антирелигиозным с коммунизмом, происходившую в душе людей, и активно и пассивно приблизившихся к революции.

Молодой автор не заготовитель штампов и трафаретов, а ищущий художник— он наметил борьбу этих идеологий в реальном столкновении двух реальных общественных животных, не вводя ни схем, ни тезисов.

Повесть не закончена. Только по второй части можно будет судить, оправдает ли Иохвед строительное одушевление, которым он заканчивает страницы первой части, сумеет ли также реально и убедительно развернуть самое трудное: правдивое освещение внутренней жизни своих массовых людей в сочетании с жестокими противоречиями строительной полосы революции.

С. Пакентрейгер.

И. Г. Горячев. Черные дни. Собачья повесть. Гиз. 1926 г. Стр. 136.

«Хмуро и жутко в избе. Чутко прислушиваются ледяные окна, серые и лохматые, как медведи». «Ночи спускаются темные и тяжелые».

«Я гляжу на небо, усеянное звездами, и мне чудится, будто это одноглазые страшные люди смотрят на нас из глубины темного океана небес».

«Зажав голову между коленей, он стегал меня долго и больно».

Отрывки взяты наугад из разных мест книги, — она вся целиком выполнена в этом мрачном, однообразном стиле «черных дней», и если бы не явная искренность автора, мы бы заподозрили литературное сочинительство. Сразу же становится ясным: «рабочую повесть» Горячева вовсе не следует судить за ее литературные достоинства или недостатки. Автор—человек горьковского типа, к сожалению, не имевший возможности до конца развить свое дарование. Автобиографический материал, положенный в основу книги, он не сумел довести до степени настоящего литературного произведения, да и можно ли это сделать на 136 стр., начав 80-ми годами и закончив эпизодом гражданской войны 1918 г.?

В этом основная ошибка автора — его жизненная линия начерчена слишком схематически: события, представляющие наибольший интерес, недостаточно выделены и развиты по сравнению с небольшими или второстепенными. Хуже всего ему удаются «литературные» образы, лучшие страницы в его книге — неиспорченные «литературой».

К. Локс.

Сегодня. Альманах первый. 1926 год. Кооперативное издательство писателей «Сегодня». М. 138 стр.

Нужно быть большими весельчаками, чтобы альманах, вся ценность которого в воспоминаниях, озаглавить — «Сегодня». Ибо действительный интерес представляет исключительно мемуарная часть сборника.

В. Гиляровский рассказывает о трех русских журналах конца восьмидесятых и начала девяностых годов прошлого столетия, промелькнувших на горизонте светлыми точками. Это — «Московский Телеграф», «Русский Курьер», в тот период, когда им руководил Гольцев; и, наконец,— «Зритель». Но напечатаны только фрагменты, может быть, всего одна глава из готовящегося сборника. Значительно больше—как по размерам, так и по ценности—воспоминания И. Белоусова. Белоусов рассказывает о Чехове и Гиляровском, Фофанове и пресловутом Пастухове, попутно рисуя нравы пишущей братии конца прошлого столетия. Некоторая неровность изложения портит общее впечатление. Мемуарист все время отвлекается, перепрыгивая от 1880 года к 1923 и обратно. Но, в общем, это наиболее ценная вещь во всем альманахе. Несколько претенциозны Грузиновские воспоминания об Есенине. Не чувствуется критического подхода к излагаемому и потому вместе с ценным материалом попадает мелочь, абсолютно неинтересная и для покойного поэта нехарактерная.

Беллетристическая часть сборника определенно слаба: «Пожар на мельнице»— Ф. Каманина,—являющийся отрывком из романа, ходулен и бледен. Современная деревня взята, как фон, на котором автор развертывает историю «страшно шикарной» демонической женщины и неудачной любви к ней героя, от имени которого и ведется повествование.

Несколько удачнее рассказ Вашенцева: «Черные цветы», хотя и здесь поражает герой Федор Лукич, не только ненавидящий настоящую Москву и не переваривающий революцию, но, хотя и живущий в пригороде, не посещающий эту Москву из-за ненависти к Октябрю. Фигура явно надумана и нежизненна.

Вера Инбер и Зозуля, представленные в сборнике, ничем не выделяются среди окружающего их материала. Рассказы эти не лучшие из принадлежащих упомянутым авторам. Ординарен отдел стихов.

Борис Киреев.

«Северный Альманах». Литературный сборник северных перевальцев. Книга первая. Вологда. Изд. «Спайка». 1926 г.

«Северный Альманах» дает образцы творчества северных рабоче-крестьянских пи-

сателей, объединившихся в группу «Северный Перевал». В альманахе стихи, шесть бытовых рассказов, два юмористических, один очерк о вологодской частушке и одна критическая статья.

Первый вопрос, который задаешь себе, просматривая альманах: что оригинального, характерного дает творчество северных писателей? Насколько оно отображает быт далекого, мало известного нам севера, что нового там в отличие от нашего быта? Надо сказать, что на эти вопросы «Северный Альманах» почти не отвечает. Рассказы написаны гладко, но ничего нового читателю не дают. Это не северная деревня, а деревня вообще, о которой так много пишется. Такие рассказы тонут в массе им подобных, не оставляя следа в восприятии читателя. Общий тон бытовых рассказов — пессимистический. Непроглядная картина крестьянской жизни: пьянство, побои, слезы, смерть, тяжелая нудная беспросветная жизнь. То же самое и в рабочей среде (рассказ «Нужда»). Спрашивается, где же новый быт? Неужели никакого сдвига не произвела революция? Так ли это? Хочется думать, что не так, особенно, если прочтешь помещенный в альманахе очерк «Частушки вологодской деревни», красноречиво свидетельствующие о вторжении революции в быт северных крестьян.

Лучшее в сборнике — «Мурманские стихи» Ан. Пестюхина. Здесь есть и свежесть темы, и не вымученные, а счастливо найденные образы.

Иван Розанов.

Д. Крутиков. Старый хмель. Рассказы. «Недра». М. 1926 г. 159 стр.

Первый рассказ сборника, самый большой по размерам, повествует о старике Капафенче, который возвращается к своей бабе и своей хате после восьмимесячной отсидки за кражу снопов с чужого поля. Украл это Капафенч с голоду, и автор очень сочувствует ему. Несомненно, и мы посочувствовали бы бедняге Капафенчу, если бы автор сам-то не слишком расстилался в слезоточивых соболезнованиях, если бы не был он так чрезмерно словоохотлив, так усыпляюще лиричен: «Домой Капафенч пришел со стесненным сердцем,— примет ли его общество, простит ли ему, не будет ли всю жизнь попрекать. А когда понял, что хоть и простили, но от попрека не воздержатся, снова ушел Капафенч с хутора и отправился работать на рудник». Нам очень хотелось бы пожалеть Капафенча, — но автор ни за что не даст, он сам жалеет его на тысячи ладов, и нам остается только пожалеть автора.

Остальные пять рассказов построены на анекдотических случаях гражданской войны на Украине. Здесь, кроме последнего рассказа, главный герой и рассказчик один и тот же «красный конник» Потатуев. Зощенковским языком он повествует нам о разных случаях своей жизни на войне с белыми и махновцами. О разных неприятностях из-за женского полу — из-за казацкой бабы и из-за поповских дочерей, о том, как шпоры Махно попали к нему, Потатуеву, и пр. Он — один из «незаметных героев» — но мы уже несколько знакомы с ним по Бабелю и по Лавреневскому «Василию Гулявину». Стилизует Крутиков не хуже Зощенки, но и у Зощенки стилизация эта лучше всего выглядит в юмористических, а не в «серьезных» рассказах. Впрочем, рассказы Потатуева все же местами читаются с бо́льшим интересом, чем история Капафенча, и к концу серии герой даже начинает склонять на свою сторону симпатии читателя. История Федьки Шуляка, тоже «красного конника», также способна была бы взволновать читателя, если бы сам автор не был слишком взволнован ею.

Н. Ю.

Даниил Фибих. Святыни. Изд. «Прибой». 1926. Стр. 129.

Небольшая повесть Д. Фибиха, изданная довольно изящно, не претендует, конечно, на «командные высоты» литературы, но ее следует отметить, как перелом путей молодых авторов в сторону упрощения языка и стиля.

Фибих — автор молодой, мало известный широкой публике, и это его первая серьезная повесть.

Главные положительные моменты повести: простой, свежий, русский язык, каким давно не говорили иные авторы,

и, несмотря на «архивность» сюжета (изъятие ценностей), от повести вовсе не веет архивом, ибо все проходящее в повести, за исключением одного-двух штампов, живо и действенно. Эти штампы — молодой партиец Илья Коган и комсомолка Таня; они играют роль «вестников» ложно-классической трагедии. Фигуры же о. Димитрия, о. Владимира, полу-шпиота, полу-политика Валевского, белогвардейца Семиколенова — все они живые, настоящие и, что главное, не вызывают раздражения читателя своей неправдоподобной нудью.

Групповые моменты являются в повести лучшими. Хороша глава «Утро», где сочными красками показан городской базар.

В повести, к сожалению, имеются крупные и мелкие провалы. Прежде всего само название повести ничего не говорит. Казалось бы, задание: «Святыни» потребует параллели: на-ряду со святынями мертвыми — святыни новые, живые. Здесь этого нет, здесь даны не «святыни», а церковные ценности. Второй провал — отрыжка «вычурного» стиля. К примеру: «Глава, несколько растрепанная», — заглавие ничего не говорит ни уму, ни сердцу. Глава «Металлисты» — совершенно не нужная и как бы нечаянно вклинившаяся в повесть. Мнения рабочих об изъятии церковных ценностей она абсолютно не выражает; связующим звеном между событиями она тоже не служит.

Но наибольший провал, непростительный молодому автору, чувствуется в главе «Под лысой гипсовой головой» (надо полагать, Ленина?), где описаны члены ревтрибунала.

... «Председатель развалился в кресле, уткнул круглый бабий подбородок в грудь и расспрашивает людей, окруженных солдатами, подробно, неторопливо, с ленивым и зорким добродушием. По бокам его молчаливые члены. Петр Петрович сидит, надув щеки и еще строже поблескивая очками. Иногда обронит вопрос. Смирнов посматривает уныло на часы и рисует — очень недурно — какие-то профили».

Или дальше:

... «За столом защиты шушукаются. Вскакивает вертлявый белозубый защитник и покорнейше просит председателя разрешить задать вопрос. Председатель ничего против не имеет. Защитник, налегая брюшком на стол в такт каждому своему слову, интересуется тем, где была свидетельница перед тем, как попасть в собор».

Конечно, хорошо и благотворно влияние Льва Толстого, но... (ах, это «но»!) в «Воскресеньи» такие мелкие детали имели основное, глубокое значение: смотрите, кто наши судьи.

Этот прием совершенно непростителен молодому автору, который использовал его, как прием побочный: ведь не хотел же тов. Фибих показать, что ревтрибунал — нудная обывательщина.

В остальном, повторяем, повесть дает цельное и ценное впечатление.

Виктор Якерин.

Библиографический указатель „Красной Нови“ за 1926 год.

(Цифры в скобках — №№ журнала)

Беллетристика.

Глеб Алексеев. Жилой дом — повесть (9).
И. Бабель. Беня Крик — кино-повесть (9).
М. Горький. Дело Артамоновых — роман (1, 2, 3).
Ив. Евдокимов. Колокола — хроника 900-х г.г. (2, 3, 4, 5, 6).
Борис Житков. Элчан-Кайя — повесть (11).
Леонид Завадовский. Полова — повесть (5).
Ал. Зуев. Цена вещей -- рассказ (10).
Вс. Иванов. Плодородие — расск. (1); Жизнь Тимофея Смокотинина — рассказ (3); Полынья — расск. (5); Ночь — расск. (6); Оазис Шехр-и-Себе — расск. (8); Правдивая история о проводнике... (10).
Валентин Катаев. Родион Жуков — расск. (7); Растратчики — повесть (10, 11, 12).
Леонид Леонов. Унтиловск — отрывок из пьесы (8).
Вл. Лидин. Растрата Глотова — повесть (7).
Н. Никитин. Любовь — расск. (3); Восстание мертвых — расск. (4).
Г. Никифоров. Сын ахуна — расск. (8).
Н. Огнев. Дневник Кости Рябцова — повесть (8, 10).
Бор. Пильняк. Рассказ о ключах и глине (1).
М. Пришвин. Рассказы (8).
Пант. Романов. Блаженные — расск. (2); Актриса — расск. (3); Вопросы пола — рассказ (4).
В. Ропшин (Борис Савинков). Из рассказов о войне (4).
О. Савич. Пансион фон-Оффенберг — повесть (8).
Б. Садовской. Дневник генерала (12).
Г. Смолянский. Обреченные — рассказ (12).
И. Соколов-Микитов. Морской ветер — рассказ (2).
А. Толстой и *П. Е. Щеголев.* Азеф — сцены из историч. пьесы (1).
А. Толстой. Гиперболоид инженера Гарина — роман (4, 5, 6, 7, 8, 9); Случай на Бассейной улице (12).
Дм. Фурманов. Писатели — глава из неоконченн. романа (9).
А. Хованская. Китайский болванчик — рассказ (11).
А. Чапыгин. Разин Степан — роман (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12).
Вяч. Шишков. Алые сугробы — повесть (10).
Георгий Шторм. Ироический сказ о походе на половцев кн. Новагорода Северского Игоря Святославича (3).
Илья Эренбург. Лето 1925 г. в Париже (5).
Алексей Югов. Повествование жизни Макара Мартецова — рассказ (2).

Стихи.

Э. Багрицкий. Дума про Опанаса — поэма (10); Тиль Уленшпигель (12).
Варв. Вольтман. Любила я многие страны... (7); Цыганка (8).
Мих. Герасимов. Возвращение (11).
С. Герзон. Не кровь моя... (1).
Мих. Голодный. Видения (4); Люби до смерти... (6).
С. Городецкий. Прабабка (6); Мой сад (12).
Н. Дементьев. На небе к рассвету... (5); Оркестр (9).
П. Дружинин. Гитара (3); Гоголь (7); Российское (12).
Як. Дубнов. Надежда Петровна (10).
И. Ерошин. На посадку тополя (2).
Сергей Есенин. Снежная замять крутит... Плачет мятель... (1); Не криви улыбку... Прощай, Баку... Собаке Качалова (2); Номах (3, 4); На небесном синем блюде... (5); В час, когда ночь воткнет... Вот такой, какой есть... В глазах пески... (6); Даль подернулась туманом... (7); 1 мая, Персидские мотивы (8); Моя жизнь, Что прошло — не вернуть (9); Цветы (11).
Ал. Жаров. Письмо любимой (1); Лазоревые глаза (5).
Н. Зарудин. Паровоз (2); Волжские этюды (5); Зеленый дождик (7).
В. Инбер. Конец года (2); Васька Свист в переплете (9); Песня (12).
Василий Казин. Памяти Есенина (1); Чу, как сердце бьет (4); Цыганская венгерка (6).
С. Клычков. Мы отошли с путей природы... (1); Лихо (10).
Вл. Кириллов. К жизни (7); Песня (11).
С. Кирсанов. Россия тогда (6).
Ал. Макаров. Из поэмы «Свадьба Рахили» (5).
С. Малахов. Песня о винтовке (8).
Вл. Маяковский. «Блэк энд уайт» (1); Кемп «Нит гедайге» (2).
В. Наседкин. Снег (3); К себе (6); Свежей и зеленей трава... (11).
Валентин Наумов. Из поэмы «Сквозь дым» (11).
С. Обрадович. Грузчики (4); Жатва (11).
Петр Орешин. На караул, Ответ (1); Земля родная, Бессонница (2); Поехали (3); Цыган (4); Родина (5); Тени (7); Родник (8); Черемуха (10); Москва-река (12).
Дм. Петровский. Песня гулевой феодосийской (6).
Ант. Пришелец. Коноплянники (10).
Мих. Рудерман. Человек (7); Мюнхгаузен (12).
М. Светлов. Рабфаковка (1).
Дм. Семеновский. Гуденье церковной меди... (6).
Н. Тихонов. Индийский сон (4); Финский праздник (5); За городом (9).
И. Уткин. Мудрость, Гостеприимство (7).
Н. Ушаков. Есть от полыни переход (7).
Ген. Фиш. Встреча с весной (8).
Вс. Цветнов. Памяти Есенина (7).
П. Чихачев. Татьяна (8).
Евс. Эркин. Цыганка (3); Весенняя ночь (6).

Отдел социально-экономический и мемуарный.

М. Абрамович. В Бутырках — из воспоминаний (4).
Л. И. Аксельрод (Ортодокс). Методологические вопросы искусства (6, 7, 12).
М. Балабанов. Народные массы и движение декабристов (3).
В. Вересаев. К художеств. оформлению быта (1); Об обрядах (11).
Л. Войтоловский. О красных обрядах (3); Разгром на Дунайце (9).
Ф. И. Вольфсон. К дискуссии о проекте семейного кодекса (1).
И. Ильинский. Бытовые пережитки перед лицом советского суда (7).

Э. Квиринг. Хозяйственные затруднения (5).
Мустафа Кемаль-паша. Воспоминания (11).
М. Косвен. Первобытное меновое хозяйство (4).
Е. Кривошеина. Пробный удар по совету (2).
Н. Осинский. По земледельческим штатам Сев. Америки (4).
В. Переверзев. Нигилизм Писарева в социолог. освещении (6).
К. Радек. Ноябрь (10).
Лариса Рейснер. Портреты декабристов (2).
М. Рейснер. Коран и его социальная идеология (8, 9).
Н. Ростов. Военно-полевые суды в Москве (8); Приключение с царской телеграммой (12).
Дм. Сверчков. Его памяти (о Дзержинском) (9).
В. Смирнов. К вопросу о наших хозяйств. затруднениях (5).
Л. Троцкий. Дело было в Испании (1).
Н. М. Федоровский (Степан). Свеаборгское восстание (3).
Л. Фотиева. Кабинет В. И. Ленина в Кремле (7).
Георгий Чулков. Павел I (10, 11).
Ф. Э. Дзержинский — некролог (9).

Отдел научно-популярный.

Проф. *О. И. Бронштейн.* Научные достижения в борьбе с туберкулезом (2, 3).
Проф. *Н. А. Иванцов.* Искусственный отбор и законы Менделя (8).

Художественный архив.

М. Е. Салтыков-Щедрин. Глупов и глуповцы — неизданная глава (5).
Н. Н. Толстой. Пластун — повесть (5, 7).

За рубежом.

М. Аксельрод. Мекка (10).
Альский. В Китае (12).
Брэйльсфорд. Закулисная сторона всеобщей забастовки (7).
А. Иоффе (В. Крымский). Япония в наши дни (6).
Борис Кушнер. Батист и Титаник (3).
Вл. Маяковский. Мексика (1); Америка (2).
П. Равич. 13 повешенных (11).
К. Юст. Письма из Турции (5); Женское движение в Турции (8); Кемализм (9).

От земли и городов.

Р. Акульшин. Люди и факты (2); Дневник печальных событий (3); Христопродавец (10); Картинки с натуры (12).
Б. Зильперт. Маленький двухэтажный домик (4); Путевые заметки (7).
М. Пришвин. Очерки (9); Радио (11).
Ал. Ракитников. В горах Азербайджана (1).
Пант. Романов. Непонятное явление (5).
Леонид Соловьев. Ленин в эпосе народов Востока (6).
Авг. Явич. Омутнинская сторона (9).

Литературные края.

Андрей Андреев. Из воспоминаний о Леониде Андрееве (9).
Д. Аранович. Современные художеств. группировки (10).
Д. Благой. Материалы к характеристике С. Есенина (2).
И. Вегер (отец). О воспоминаниях (10).

А. Воронский. Об отошедшем (1); Памяти Есенина (2); Худож. литература и рабкоры (3); О Горьком (4); Мистер Бритлинг пьет чашу до дна (5); В общем и целом — летний фельетон (8); Журавли над Гнилопятами (9); Лунные туманы (10).

М. Голодный. Эпиграмма (7).

Д. Горбов. Мертвая красота и живучее безобразие (7); Дневник обнаженного сердца (8); В поисках темы (12).

М. Горький. О М. М. Пришвине (12).

Валентина Дынник. Третий Алексей Толстой (2); Из литературы о Есенине (6); Право на песню (12).

Ив. Евдокимов. Д. А. Фурманов — некролог (4).

Федор Жиц. Почему мы любим Есенина (5).

Василий Казин. Эпиграммы (6, 7).

С. Клычков. Эпиграммы (6, 7).

Р. Куллэ. Художественная проза современной Германии (6).

А. Лежнев. Диалоги (1); Борис Пастернак (8).

В. И. Ленин. О пролетарской культуре — из неопубл. материалов (3).

Вл. Маяковский. Подождем обвинять поэтов (4); Как делать стихи (6).

Н. Никитин. Встречи (3).

С. Пакентрейгер. Разоружение человека (5).

Генн. Поспелов. К постановке проблемы жизни и смерти поэтических фактов (1).

Ф. Рогинская. Новый реализм в живописи (3); Обзор живописного сезона (7).

Ив. Розанов. Поэты-декабристы. Барятинский (3); Кюхельбекер-Ленский (6).

Илья Садофьев. Победители и побежденные (2).

Н. Семашко. О воспоминаниях и воспоминателях (11).

Н. Телешов. Все проходит — воспоминания (11).

Федоров-Давыдов. Новая теория искусств (5).

Лариса Рейснер — некролог (2).

Критика и библиография.

М. Адлер. И. Уткин «Повесть о рыжем Мотыле» (10).

Р. Акульшин. Я. Буров «Деревня на переломе» (9).

Н. Белинский. «Ковш» № 3 (2).

И. Браславский. Обзор литературы о 1905 г.: Н. Рожков, В. Невский, Р. Арский (2); Обзор литературы о декабристах: Е. В. Сказин, С. Малиновская, «Декабристы» сб. ред. С. Штрайха (4); Л. П. Меньщиков «Охрана и революция» (5); П. Виноградская «Ф. Лассаль» (8); «Историк-марксист» № 1 (9).

Л. Войтоловский. А. Луначарский «Театр и революция» (9).

Д. Горбов. И. Доронин «Тракторный пахарь» (6); Анна Караваева «Медвежатное», Ал. Дроздов «Человек шагает» (9); «Звезда» №№ 2, 3, 4 (10); В. Лидин «Корабли идут» (11).

Арк. Глаголев. Евгеньев-Максимов «Гончаров» (1); Переписка Чернышевского ред. Пиксанова (4); Письма Блока (5); Русск. и мир. классики «Н. Лесков» (8); Л. Войтоловский «История русск. лит. XIX и XX веков» (10); М. Яковлев «Плеханов».

Б. Губер. «Библиотека сатиры и юмора» Зиф (1); «Недра» № 9 (5); В. Бахметьев «Железная трава» (6); Л. Завадовский «Вражда» (8); Марич «Северное сияние» (11).

Валентина Дынник. Э. Триоле «На Таити» (2); «Перевал» IV (5).

Ив. Евдокимов. Вересаев «Пушкин в жизни» 1 и 2 (11).

Федор Жиц. В. Шкловский «Теория прозы» (1); «Спб. Огни», Н. Огнев (2); «Свиток» № 4 (3); Пильняк «Мать сыра-земля», Д. Четвериков «Бурьян» (4); Гатуев «Зелимхан» (7); «Лемех», Б. Губер «Шарашкина контора» (8); В. Шкловский «Третья фабрика» (11).

П. Журов. Ив. Новиков «Современные повести» (7).

Н. Зеленов. Собр. соч. Достоевского, т. I, ред. Б. Томашевского и К. Халабаева (5).
И. Ильинский. Оскудение белой юриспруденции — сб. посвящ. Струве (3); М. Исаев «Общая часть уголовн. права РСФСР» (4).
Б. Киреев. Гиляровский «Москва и москвичи» (10), Альманах «Сегодня« (12).
М. Косвен. Ильинский «Право и быт» (1); Фр. Боас «Ум первобытного человека» (6).
С. К. «Стык» (1); Айкуни «Красный дьявол» (2).
А. Лежнев. «Недра» (2); Малышкин «Падение Даира» (3); «Узел» (8); «Версты» (12).
К. Локс. М. Собреро «Знамена и люди» (10); А. Белый «Московский чудак», «Москва под ударом», И. Эренбург «Лето 1925 г. в Париже» (11); Горячев «Черные дни» (12).
О. Мочалова. А. Звягин «Хлебнуха» (5).
С. Обрадович. «Вьюжные дни» сборн. сибирских поэтов: К. Алтайский, Г. Ширман, В. Жак (6).
П. Орешин. Собрание соч. Есенина, т. I (5); Собр. соч. Есенина, т. II (6).
С. Пакентрейгер. Моск. альманах № 1 (4); С. Шпынарь «Коренной» (6); А. Окулов «Заметки Иванова» (7); «Ковш» № 4 (10).
Л. Повицкий. И. Уткин «Повесть о рыжем Мотеле» (10); «Новый Мариенгоф» (11).
М. Полякова. Деревня в современн. худ. литературе, сост. Столляр, «Сарынь» (6); Я. Коробов «Катя Долга» (7); А. Бибик «К широкой дороге» (8); М. Чернаков «Теплые росы» (9).
В. Правдухин. Юрезанский зной (4).
Генн. Поспелов. А. Лежнев «Вопросы литературы и критики», П. Сакулин «Синтетич. построение литературы» (3); И. А. Груздев «М. Горький» (5); В. Львов-Рогачевский «Тургенев» (6); Г. Лелевич «Брюсов» (7).
А. Прозоров. Психология и марксизм, ред. Корнилова (2).
Ф. Рогинская. Георг Гроссе и Виланд Герцфельде «Искусство в опасности» (5).
И. Розанов. Тынянов «Тля Кюхля» (3); Северн. альманах, (12).
И. Сергиевский. Пушкин «Статьи и материалы Одесск. Дома ученых» (2); Л. Гроссман «Пушкин в креслах» (10).
Г. Чулков. Казанович Тютчев (9).
Н. Юргин. Никитин «Полет» (1); Вс. Иванов «Гафир и Мариам» (4); Крептюков «Поджигатели» (4); Ветров «Кедровый дух» (7); Маяковский—Испания, океан..., О. Форш «Современники» (11).
Н. Ю. Крутиков «Старый хмель» (12).
В. Якерин. Хмара «Великий тряс», Яровой «Красное кольцо» (1); Ф. Березовский «В степных просторах» (2); Пант. Романов Рассказы, М. Алексеев «Большевики» (3); Нариманов «Пир» (5); Овидий Назон, Стефан Онушко (9); Д. Фибих «Святыни» (12).

Редакционная коллегия: А. Воронский. В. Сорин. Ем. Ярославский.
Издатель: Государственное Издательство.
Адрес редакции: Кривоколенный пер., 14; тел. 5-63-12.

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

А. Чапыгин. Разин Степан — роман (окончание). 3
А. Толстой. Случай на Бассейной улице (из хроники Ленинградского губсуда). 68
Валентин Катаев. Растратчики — повесть (окончание). 78
Борис Садовской. Дневник генерала. 109
Г. Смолянский. Обреченные — быль. 113

СТИХИ: *Эдуарда Багрицкого, Павла Дружинина, Сергея Городецкого, Веры Инбер, Мих. Рудермана, Петра Орешина.* 137

Л. И. Аксельрод (Ортодокс). Методологические проблемы искусства. 149
Н. Ростов. Приключения с царской телеграммой. 169
Ю. Стеклов. Существовал ли тайный Альянс? 183

За рубежом

Альский. В Китае. 207

От земли и городов

Родион Акульшин. Картинки с натуры. 221

Литературные края

М. Горький. О М. М. Пришвине. 230
Д. Горбов. В поисках темы. 234
Валентина Дынник. Право на песню (о лириках). 243

Критика и библиография

Рецензии: *А. Лежнева, Федора Жица, С. Пакентрейгера, К. Локса, Бориса Киреева, Ив. Розанова, Н. Ю., В. Якерина.* 259

Библиографический указатель «Красной Нови» за 1926 г. . 266